АРХИЕПИСКОП ИОАНН (ШАХОВСКОЙ)

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(РЕВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОГО)

IXΘYC

НЬЮ ИОРК

АРХИЕПИСКОП ИОАНН (ШАХОВСКОЙ)

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(РЕВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОГО)

ΙΧΘΥΣ

НЬЮ ИОРК

Library of Congress Catalog Card No. 75-10979

Printed in U.S.A.
by Waldon Press, Inc.
216 W. 18 St., N.Y.C. 10011

РЕВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОГО

Страницы эти есть история восстания Льва Толстого на веру Церкви в духовном климате России и русской интеллигенции конца 19-го, начала 20-го века. Духовные искания и нравственные борения Толстого требуют, прежде всего, духоведческого анализа, пневматологического исследования. Им и является данный труд.

Первое издание его вышло отдельной книгой, «Толстой и Церковь» (Берлин, 1939 г.). Я работал два года над нею и она была моим ответом на книгу Ив. Бунина «Освобождение Толстого» (Париж, 1937 г.).* Обстоятельства войны и последовавшая конфискация Гестапо моего книжного склада, воспрепятствовали распространению книги.

Второе издание ее я посвящаю новой интеллигенции России, бережно вникающей в евангельскую правду.

1975.

---

* Мне не известна реакция Бунина на эту книгу. В его Дневнике есть лишь такая отметка: ...Читаю Шаховского (о. Иоанна). «Толстой и Церковь». [«Из дневников и записей И. Бунина». 3. 2. 41 г. «Новый Журнал» № 113, стр. 135].

АРЗАМАССКІЙ ПЛѢННИКЪ

Лѣтомъ 1869 г. Толстой выѣхалъ, по земельнымъ дѣламъ, изъ Ясной Поляны. Съ дороги онъ пишетъ женѣ: «Третьяго дня въ ночь я ночевалъ въ Арзамасѣ и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 ч. ночи, я усталъ страшно, хотѣлось спать и ничего не болѣло. Но вдругъ на меня напала тоска, страхъ, ужасъ, какихъ я никогда не испытывалъ. Подробности этого чувства я тебѣ разскажу впослѣдствіи, но подобнаго мучительнаго чувства я никогда не испытывалъ и никому не дай Богъ испытать. Я вскочилъ, велѣлъ закладывать. Пока закладывали, я заснулъ и проснулся здоровымъ. Вчера это чувство возвратилось во время ѣзды, но я былъ приготовленъ и не поддался ему, тѣмъ болѣе, что оно было слабѣе... Я могу оставаться одинъ въ постоянныхъ занятіяхъ, но какъ только безъ дѣла, я рѣшительно чувствую, что не могу быть одинъ».

Черезъ 15 лѣтъ, былъ написанъ разсказъ: «Записки сумасшедшаго». «Этотъ разсказъ», говоритъ послѣдній изслѣдователь жизни Толстого, Ив. Бунинъ, *) — «по сути есть точное воспроизведеніе того, что написано въ письмѣ къ Софьѣ Андреевнѣ».

«Я легъ было», повѣствуетъ герой разсказа, — «но только улегся, вдругъ вскочилъ отъ ужаса. И тоска и тоска — такая же душевная тоска, какая бываетъ передъ рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно. Какъ то жизнь и смерть сливались въ одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще разъ прошелъ посмотрѣть на спящихъ, еще разъ пытался заснуть; все тотъ же ужасъ, — красный, бѣлый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучи-

---

*) «Освобожденіе Толстого». Парижъ 1937.

тельно и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты въ себѣ не чувствовалъ, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня сдѣлало»... Нельзя лучше описать феномена одержимости реальною, плѣняющей душу силой, о которой такъ значительно и конкретно говоритъ Евангеліе.

Это арзамасское свидѣтельство звучитъ, въ книгѣ Бунина, болѣе реалистически, чѣмъ самыя художественно вѣрныя страницы, повѣствующія о живомъ Толстомъ.

Бунинъ зналъ Льва Николаевича лично. Это его преимущество, какъ біографа, тѣмъ болѣе — художника; но это и мѣшаетъ ему, какъ историку и философу. Ни какъ философъ, ни какъ историкъ онъ не открываетъ читателю Толстого. И только нить художественнаго его повѣствованія пріоткрываетъ завѣсу надъ Хамовническимъ домомъ и Ясной Поляной.

Толстой не всегда былъ самимъ собой въ своихъ мысляхъ и переживаніяхъ. Мы говоримъ, конечно, не о посессіи, — полной потерѣ духовной свободы, — а о менѣе замѣтномъ состояніи обсессіи, при которомъ сохраняется въ человѣкѣ рефлектирующій (иногда очень обостренно) разумъ и свобода нравственной оцѣнки. Лишь учитывая этотъ реальный (и не рѣдкій, вообще, въ жизни человѣка и человѣчества, феноменъ), можно объяснить всѣ, непонятныя никакимъ біографамъ, столь внезапныя перемѣны въ характерѣ Толстого и столь удивительныя противорѣчія въ его настроеніяхъ и убѣжденіяхъ.

Толстой есть «часть» жизни. Возможно болѣе пневматологически понять Толстого, какъ явленіе человѣческое, надо не только изъ интереса къ его литературному творчеству. Чрезъ его жизнь, можно лучше понять самую жизнь.

Лишь въ категоріяхъ евангельской глубины, открываются тайны человѣческія. То, что выше логики и превышаетъ психологію, то открыто христіанской пневматологіи. И только въ ея категоріяхъ можно объяснить, почему Толстой, такъ много писавшій о любви, и дѣйствительно къ ней искренно стремившійся, былъ, временами (до самаго конца жизни своей) такъ сухъ и жестокъ; почему онъ, глубоко понимавшій красоту человѣческаго смиренія, былъ такъ, подчасъ, деспотиченъ, эгоцентриченъ, не только въ злѣ своемъ, но и въ своемъ добрѣ, въ своей добродѣтели; тонко чувствовавшій малѣйшія переживанія человѣка, былъ временами такъ поражающе нечутокъ; обладающій даромъ видѣть реальность и разумность въ мірѣ, — бывалъ такъ далекъ отъ реальности и разумности... Этимъ, такъ же, выясняется (хотя можетъ быть понята лишь вѣрующимъ человѣкомъ) причина быстраго развала, какъ отдѣльныхъ начи-

наній Толстого, такъ и всей его жизненной постройки, ради которой онъ оставилъ и свой художественный даръ и семью.

Богословское творчество Толстого не создало сколько-нибудь прочнаго движенія въ мірѣ. Отдѣльными положеніями и умозаключеніями его питаются и пользуются лишь разрушители Христовой вѣры и Церкви. Положительныхъ, цѣльныхъ, творческихъ послѣдователей и учениковъ у Толстого, въ этой сферѣ совсѣмъ нѣтъ. Русскій народъ не откликнулся на толстовство, ни какъ на соціальное явленіе, ни какъ на религіозный фактъ.

Но духовныя основы толстовства остались практически замолчанными и не опровергнутыми, въ сознаніи русскаго человѣка.

Отгородившись отъ толстовства, и всѣхъ его анархическихъ и метафизическихъ теорій (отчасти ироніей, отчасти умолчаніемъ), русское общество, незамѣтно для себя, какъ лодка проникается водой совсѣмъ незамѣтно, проникалось разлагающимъ и опустошающимъ духомъ толстовской религіозности. Ея правда, въ какой то мѣрѣ, казалась обезпеченной «золотымъ запасомъ» правдивой художественной интуиціи Толстого.

Представители Православія, связанные непосильной, для себя, связью съ государственнымъ аппаратомъ и съ его несовершенствами, во многихъ случаяхъ, оказывались безсольными и безсильными помочь русскому обществу познать подлинную сущность Христова ученія и истинный духъ Церкви, и даже затемняли предъ лицомъ міра этотъ духъ огненной истины, любви и нелицепріятія.

Пророчествующій голосъ яснополянскаго старца, возгремѣвшій надъ Россіей и надъ всѣмъ міромъ, сталъ слышаться, въ сознаніи русской и міровой интеллигенціи, какъ «духъ подлиннаго пророчества».

Если моралистическая догматика толстовства не принималась такъ легко, то яснополянское пророческое горѣніе, выражавшееся въ безчисленныхъ воззваніяхъ, письмахъ, брошюрахъ легальныхъ и нелегальныхъ, казалось горѣніемъ не только русской, но и міровой совѣсти.

Читатели профетической публицистики Льва Николаевича, и слушатели его яснополянской проповѣди «духовнаго христіанства», не сознавали, что, несмотря на все свое великое, земляное тяготѣніе къ конкретности, Толстой жилъ, въ сущности, соціально и религіозно отраженной жизнію, исчерпывая весь могучій реализмъ свой въ литературѣ. Только въ сферѣ чистаго

художества раскрывалась его подлинная интуиція. Здѣсь онъ видѣлъ жизнь и могъ религіозно служить людямъ, помогая имъ познавать и любить Богомъ данную жизнь, въ ея тайнахъ.

Но имъ, непрестанно, что-то овладѣвало, смѣшиваясь съ его волей, и отторгло отъ глубинъ художественнаго созерцанія на песокъ мелкихъ дидактическихъ выкладокъ. Это «нѣчто» заставляетъ его раціоналистическими выкладками обосновывать невѣроятныя истины. А онъ, тонко разбирающійся въ феноменахъ своей душевной реальности, продолжаетъ не понимать, что, временами, овладѣваетъ имъ, дѣлая его возбужденнымъ и холоднымъ для истиннаго творчества и для людей, для самыхъ близкихъ людей. . .

Здѣсь корень его несвободы.

«Соня разсказывала мнѣ», — вспоминаетъ Т. А. Кузминская, — «что она сидѣла наверху у себя въ комнатѣ, на полу у ящика комода и перебирала узлы съ лоскутьями. (Она была въ интересномъ положеніи). Левъ Николаевичъ войдя къ ней сказалъ:

— Зачѣмъ ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчасъ, только уберу все.

— Я тебѣ говорю, встань сейчасъ, — громко закричалъ онъ и вышелъ къ себѣ въ кабинетъ.

Соня не понимала, за что онъ такъ разсердился. Это обидѣло ее, и она пошла въ кабинетъ. Я слышала изъ своей комнаты ихъ раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не поняла. И вдругъ я услыхала паденіе чего-то, стукъ разбитаго стекла и возгласъ:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометръ, висѣвшій всегда на стѣнѣ. Левъ Николаевичъ стоялъ посреди комнаты блѣдный, съ трясущейся губой. Глаза его глядѣли въ одну точку. Мнѣ стало и жалко и страшно, — я никогда не видала его такимъ. Я ни слова не сказала ему и побѣжала къ Сонѣ. Она была очень жалка. Прямо какъ безумная все повторяла: «за что? что съ нимъ?» Она разсказала мнѣ уже немного погодя:

— Я пошла въ кабинетъ и спросила его: Левочка, что съ тобой?

— Уйди, уйди! — злобно закричалъ онъ. Я подошла къ нему, въ страхѣ и недоумѣніи, онъ рукою отвелъ меня, схватилъ подносъ съ кофе и чашкой и бросилъ все на полъ. Я схватила его

за руки. Онъ разсердился, сорвалъ со стѣны термометръ и бросилъ его на полъ». *)

Такъ мы съ Соней никогда не могли понять, что вызвало въ немъ такое бѣшенство».

Подобные случаи, въ жизни человѣка вообще, а въ жизни Толстого особенно, нельзя, конечно, объяснить ничѣмъ, кромѣ какъ одержимостью. Этого состоянія 99% человѣчества не понимаетъ совершенно. Толстой ни разу въ своей жизни не догадался о подлинной сущности этихъ феноменовъ.

Случай, описанный Т. А. Кузминской, произошелъ въ 1867 году, въ періодъ безоблачно-счастливой семейной жизни Толстого. А 15 января 1863 г. (первый годъ этого счастья) Толстой записалъ въ своемъ Дневникѣ: «Дома вдругъ зарычалъ на Соню за то, что она не ушла отъ меня. И стало стыдно и страшно»... Точная характеристика феномена обсессіи.

«... Да, сорокъ восемь лѣтъ прожила я со Львомъ Николаевичемъ, а такъ и не узнала, что онъ за человѣкъ», — сказала Софья Андреевна Полнеру въ Ясной Полянѣ въ 1918 г.

Почему Толстой, все таки, не исцѣлился и не освободился (вопреки Бунину) въ земной жизни, хотя и рвался къ духовной свободѣ и томился по ней, какъ мало кто изъ писателей? Автобіографія Толстого, его дневники, безъ словъ (хотя и многими словами) отвѣчаютъ на этотъ вопросъ: оттого, что всю жизнь каялся, но — не предъ Христомъ Спасителемъ, «вземлющимъ грѣхи міра». Онъ, какъ и о. Сергій въ его характерномъ разсказѣ, каялся лишь предъ самимъ собой, или предъ людьми, предъ міромъ. Отъ этого Толстой былъ столь раздираемъ ненасытнымъ самобичеваніемъ. Это самобичеваніе предъ міромъ и предъ собою не удовлетворяло его и не спасало; не разрѣшало отъ тяжести грѣха. Оно оставалось «холостымъ» и холоднымъ, при всей титанической напряженности самобичеванія и самоокаиванія. Его покаяніе не мѣняло его души, а лишь въ крайнемъ случаѣ мѣняло его убѣжденія, или — внѣшнія его одежды.

---

*) «Пьеръ почувствовалъ увлеченіе и прелесть бѣшенства. Онъ бросилъ доску, разбилъ ее и, съ раскрытыми руками подступая къ ней, закричалъ: «Вонъ!!» такимъ страшнымъ голосомъ, что во всемъ домѣ съ ужасомъ услыхали этотъ крикъ. Богъ знаетъ, что бы сдѣлалъ Пьеръ въ эту минуту, ежели бы Эленъ не выбѣжала изъ комнаты». («Война и миръ», т. II, ч. 1).

Въ этомъ сущность религіозности Толстого. Онъ не зналъ Личнаго Бога, не просвѣтлялся отъ Него, какъ сынъ, не стоялъ предъ Лицомъ Его и не хотѣлъ вѣрить, что во Христѣ открылась вся та полнота Божія, которую только можетъ вмѣстить немощное сознаніе человѣческое; и — лишь чрезъ эту открытую и открывшуюся Полноту Жизни, лежитъ истинный путь къ возсоединенію съ Богомъ для людей, среди которыхъ проповѣданъ и открытъ Сынъ Божій. Толстому не было хода «назадъ» въ Индію, въ Китай; къ Брамѣ или Буддѣ. Ибо, если браманистамъ и буддистамъ, не знающимъ Христа, и можетъ являться Христосъ въ «естественномъ» откровеніи (какъ учитъ Церковь), то ему, Толстому, стоящему вплотную предъ открытой Истиной Христовой, нѣтъ «хода назадъ». А Толстой искалъ этотъ задній ходъ къ Богу, помимо дверей Христа. Здѣсь было, какъ мы думаемъ (и какъ можно это видѣть изъ книги Бунина), лишь отчасти сознательное противленіе безконечному Свѣту святости Христовой; но была и безсознательная одержимость, всю жизнь мучившая Толстого страшными мученіями духа и, не пускавшая ко Христу, къ истинному Причастію Его. Прибѣгнуть, съ вѣрой, ко Христу и исцѣлиться отъ Него, Толстой не хотѣлъ, и не вѣровалъ, что это можетъ произойти, и что Христосъ — Единородный Сынъ Божій; не могъ разстаться со своей мнимой свободой ума и сердца, стать рабомъ Христовымъ. Лишь это бы насытило его и дало бы новое чувство свободы и уже святое алканіе безконечнаго совершенства.

Слѣдуя мудрости нехристіанскаго востока, Бунинъ построяетъ свою основную мысль такъ: Толстой, въ своемъ неудовлетвореніи собою и жизнью, въ непрестанной своей борьбѣ противъ себя и противъ окружающей жизни, — освобождался, ибо свобода — согласно до-христіанской мудрости — состоитъ въ томъ только, чтобы «не жить въ довольствѣ». «Совершенный, о монахи, не живетъ въ довольствѣ. Совершенный, о монахи, есть Святой Высочайшій Будда. Отверзите уши ваши: освобожденіе отъ смертнаго найдено» — начинаетъ Бунинъ свою книгу, и этотъ лейтъ-мотивъ буддійскаго «освобожденія» — святости — Толстого отпечатлѣвается во всѣхъ судорогахъ и противорѣчіяхъ его жизни. «Ключъ къ душѣ Толстого найденъ». Найденъ путь къ «оправданію» Толстого, къ совершенному пониманію всего въ немъ непонятнаго, мучительнаго и противорѣчиваго. Самый фактъ «неуспокоенности», буддійской мудростью трактуется какъ признакъ святости.

Если бы это было такъ! На самомъ же дѣлѣ, въ настоящей духовной реальности, это не такъ. Совсѣмъ не такъ!

Въ чемъ же здѣсь ошибка буддійской мудрости, несмотря на ея кажущуюся глубину? Въ томъ, что не всякое безпокойство и не всякое томленіе, даже духовное, не всякая неудовлетворенность, даже духовная, есть признакъ святости, вѣрности пути, жизненной правды; какъ и не всякая трудность и не всякое страданіе есть Крестъ. Не всякое недовольство (какъ собою, такъ и міромъ) есть знакъ совершенствованія... Есть недовольство, катящее человѣка внизъ. Индійская мудрость, не имѣющая богооткровеннаго стержня, въ своемъ теченіи къ Богу расплывчата, по большей части, и говоритъ лишь непредметными, общими, хотя иногда и очень влекущими поэтическими словами.

Истинное совершенствованіе есть столь же безпокойство, какъ и покой; столь же неудовлетвореніе, какъ и глубочайшее удовлетвореніе; столь же ненасытное простираніе впередъ, сколь и непрестанное вкушеніе и питіе Господа, причастіе Господу. Само по себѣ отрицательное дѣйствіе души, «алчущей и жаждущей правды» еще несовершенно и даже просто недѣйствительно, не существенно. Лишь отрицаніе подлинно несовершеннаго, происходящее въ духѣ Господнемъ, есть совершенствованіе. Есть множество въ мірѣ безплодныхъ и неблагодатныхъ терзаній человѣческихъ и томленій «по высокимъ идеаламъ». Здѣсь тайна жизни, тайна личности, ея глубокой волевой качественности и, прежде всего, тайна Благодати, чего еще не видитъ буддійская мистика, которая стремится лишь отринуть «міръ», оттолкнуться отъ призрачной Майи... Но въ Атманѣ еще не уразумѣваетъ Слова.

Всякое духовное безпокойство — по духу буддизма — блаженно, какъ свидѣтельство бодрственности человѣка, борьбы съ косной, усыпляющей духъ матеріей, которая, сама по себѣ, и есть грѣхъ, зло, со всѣми лживыми цѣнностями своими и миражами. Эта буддійская философія не похожа на христіанскую, евангельскую, свято-отеческую, всегда окрашивающую духовный міръ и всѣ его феномены, дѣля ихъ на темные и свѣтлые. И — далеко не всякое одухотвореніе считая преуспѣяніемъ и возвышеніемъ.

Истинное духовное горѣніе должно быть чистымъ, свѣтлымъ, не чадящимъ и не коптящимъ. Такого чистаго горѣнія, ангельски-свѣтлаго безпокойства, серафимовой взволнованности у Толстого было мало... Вся книга Бунина свидѣтельствуетъ объ этомъ. Толстой входилъ въ духовный міръ «не Дверью» (Ін. X, 1). Отъ этого, печать болѣзненности на всемъ духовномъ пути его;

характерное сочетаніе слащаво-слезной любовной умиленности и тутъ же возникающей въ душѣ мрачности и злобности...

Толстой повиновался всѣмъ своимъ внутреннимъ внушеніямъ, какъ художникъ повинуется интуиціи, но они творили въ жизни его ужасное дѣло, разлагая его жизнь и жизнь другихъ. Духъ-разлагатель являлся Толстому (какъ и всякому искреннему идеологическому работнику является) — въ видѣ «ангела свѣтла». Толстой хотѣлъ честно итти къ совершенствованію, но шелъ глубинно-самонадѣянно, и эту самонадѣянность въ немъ развивали тѣ «домашніе» его, которые, по слову Евангелія, бываютъ «враги человѣку»; въ данномъ случаѣ — Чертковъ (Софья Андреевна считала эту фамилію символической), дочь Александра Львовна, секретари Бирюковъ, Гусевъ, Булгаковъ и — другіе ослѣпители очей старца Льва.

Толстой, на своихъ путяхъ, не могъ освободиться и не освободился. Дѣтская, малодушная боязливость предъ женой; не царственно-свободный, а «воровской», болѣзненный уходъ изъ Ясной Поляны (столь мастерски описанный Бунинымъ), боязнь, что «будетъ погоня»...» — все это не освобожденіе, не благодатное томленіе духа, не святое алканіе Божьей Правды, но мучительное мытарство нераскаяннаго (несмотря на всѣ жизненно-литераурные покаянные дневники свои) человѣка. Не «освобожденіе», но крахъ, провалъ всей жизненной философіи, всѣхъ истинъ, ради которыхъ и для утвержденія которыхъ было испробовано, ввержено въ міръ столько издѣвательствъ надъ тысячелѣтней вѣрой русскаго народа... Каялся ли въ этомъ Толстой? Нѣтъ, его покаяніе было мучительнымъ дѣйствіемъ всей той же его самости.

Говоря много справедливаго о мірѣ, онъ, въ сущности, ничего не открывалъ. Никакой тайны міра не касался. И обличенія его не таятъ и не знаютъ утѣшеній.

Нѣтъ болѣе реальнаго чѣмъ Толстой, явленія въ русской художественной литературѣ, и нѣтъ болѣе нежизненнаго явленія, чѣмъ онъ, въ русской религіозной и философской мысли.

Слишкомъ большая перенапряженность творческаго потенціала души и отсутствіе ея подлинной «разрядки», въ горнемъ планѣ, отзывается у него неблагопріятно на жизни личной и на жизняхъ — окружающихъ. Иногда, кажется, что вмѣсто человѣческихъ чувствъ, онъ живетъ одними писательскими пріемами своими. Онъ все время воображаетъ, и такъ же довѣрчиво слѣдуетъ въ жизни за своей творческой интуиціей, какъ слѣдуетъ въ литературѣ за своимъ художественнымъ вкусомъ.

Все метаніе Толстого отъ одного «дѣла жизни» къ другому; его наивное новаторство въ религіи, въ исторіи, въ политической экономіи, все это — перенапряженіе могучаго эпическаго таланта.

На полюсѣ, какъ извѣстно, компасъ не дѣйствуетъ. Тамъ происходятъ «магнитныя бури». Эти бури и происходили все время въ полюсѣ могучей изобразительности Толстого. «Компасъ» реальной жизни переставалъ дѣйствовать, и въ Толстомъ открывались и били ключемъ всѣ противоположности жизни, а самъ онъ увлекался то однимъ, то другимъ ручьемъ своей творческой интуиціи. Жизнь не была гармонизирована Духомъ, даже въ своихъ бореніяхъ.

Но, конечно, и въ великой своей самости, не позволявшей и не позволившей ему до конца познать истинный духъ воли Отца, онъ временами молился Отцу... Познать Отца, не значитъ лишь «признать» Великое Его Имя, вѣровать въ Него, и, даже, — молиться Ему... Познать Отца, значитъ войти въ Его Духъ, и въ Немъ, въ этомъ Духѣ Истины Его, и вѣровать и молиться Ему.

Бунинъ считаетъ, что возгласъ умирающаго въ Астаповѣ Толстого: «Ахъ, какъ не думать; надо думать» есть признакъ его духовной освобожденности. Но, это — одно изъ выраженій его духовной плѣненности.

Заботясь о физическомъ состояніи своего отца, Александра Львовна посовѣтывала ему, умирающему, «не думать». Сама того не сознавая, она, въ сущности, высказала ангельскую мысль; Толстому надо было перестать думать. —

Надо было уйти отъ всѣхъ безконечныхъ рефлексій своего сознанія, и, разувѣрившись въ его божественности, отречься отъ постоянныхъ — и, слишкомъ часто, довѣрчивыхъ — конвульсивно-аналитическихъ оборачиваній на свои малѣйшія чувства и на непрестанно возникающія движенія своей неутоленной мысли.

Надо было забыть себя благодатнымъ забвеніемъ. И, устремивъ все свое сердце ко Христу Единому, облечься во Христа, умереть въ Немъ... Тогда настало бы освобожденіе.

Но душа Толстого не могла отречься отъ «божественности» своего сознанія. Она не могла, даже на смертномъ одрѣ, забыть свои мысли, свои дневники, давно уже переставшіе быть цѣлительной ея потребностью и ставшіе ея нравственнымъ наркозомъ и учительными подмостками.

Душа обремененная звучаніемъ своей «божественности» не можетъ войти въ тишину Святого Духа.

Толстой не былъ мыслителемъ, хотя непрестанно и жадно думалъ... Именно оттого онъ не былъ мыслителемъ.

Мыслителемъ — а тѣмъ болѣе пророкомъ — можетъ быть лишь тотъ, кто имѣетъ власть отходить отъ своихъ мыслей; кто можетъ быть свободнымъ отъ нихъ, въ глубинѣ своихъ духовныхъ постиженій...

СВѢТЛЫЙ АНГЕЛЪ

Самыя чистыя и религіозно-вѣрныя слова къ Толстому и о Толстомъ, были сказаны графиней Александрой Андреевной, дочерью Андрея Андреевича Толстого, брата Ильи Андреевича — дѣда Льва Николаевича.

Родственное чувство тетки, сестры — по возрасту, искреннее душевное влеченіе къ брату-племяннику, позволяли Александрѣ Андреевнѣ высказывать мысли удивительныя по своей мягкости и религіозной вѣрности. Александрѣ Андреевнѣ дано было быть ангеломъ Толстого въ полувѣковой ихъ дружбѣ. Она горѣла и свѣтила около Толстого чистой вѣрой во Христа. Изъ ихъ переписки, почти физически видно, какъ простирается это ея пламя къ душѣ ея друга.

Александра Андреевна была, кажется, единственнымъ православнымъ человѣкомъ, слово котораго приближалось къ сознанію Толстого, хотя и неизмѣнно отталкивалось этимъ сознаніемъ... Была на ней миссія исповѣдничества Церкви въ трудный періодъ церковно-исторической жизни.

Александра Андреевна — одна изъ замѣчательныхъ русскихъ женщинъ 19 вѣка. Рожденная въ 1817 году она дожила до начала 20 вѣка. Почти всю свою жизнь — съ 1846 г. до смерти (1904) — она провела при Дворѣ, въ званіи фрейлины, воспитывая царскихъ дѣтей. Многимъ она помогала (и часто по просьбѣ Льва) своими связями... У нея былъ въ Петербургѣ пріютъ помощи падшимъ женщинамъ, ея «магдалинамъ», какъ она ихъ называла. (Ея заботы простирались и на подростковъ, которыхъ она стремилась вывести въ жизнь).

Разносторонне образованная, культурная, она сохранила и взрастила въ своей душѣ всю чистоту вѣры и того просвѣщеннаго православія, которое должно было бы стать удѣломъ Толстого, но — не стало. П р а в о с л а в н о й с о в ѣ с т ь ю, свѣтлой

ангельской тѣнью она прожила свою жизнь гдѣ-то около Льва Николаевича. Онъ чувствовалъ ея свѣтлую любовь, и мучился ею, и возставалъ противъ этой любви, ему свѣтящей въ каждомъ письмѣ, въ каждомъ словѣ.

Толстой обжигается этой любовью... Жутко читать иногда его письма къ Александрѣ Андреевнѣ. Но ея письма достойны быть не только сохраненными, но и широко распространенными среди современныхъ русскихъ дѣвушекъ и женщинъ. Въ иныхъ формахъ и условіяхъ, но многія изъ нихъ сейчасъ исповѣдуютъ въ мірѣ «Христа, Божію Силу и Божію Премудрость».

Дружба Льва Николаевича и Александры Андреевны родилась въ Швейцаріи, въ концѣ 50-хъ годовъ. А. А. пріѣхала туда съ вел. кн. Маріей Николаевной. Тамъ въ Женевѣ предсталъ предъ ними Левъ Толстой. — «Я къ вамъ прямо изъ Парижа», объявилъ онъ. «Парижъ мнѣ такъ опротивѣлъ, что я чуть съ ума не сошелъ, чего я тамъ ни насмотрѣлся... Во первыхъ, въ maison garnie, гдѣ я остановился, жили 36 ménages, изъ коихъ 19 незаконныхъ. Это ужасно меня возмутило. Затѣмъ хотѣлъ испытать себя и отправился на казнь преступника черезъ гильотину, послѣ чего пересталъ спать и не зналъ, куда дѣваться. Къ счастью узналъ нечаянно, что вы въ Женевѣ и бросился къ вамъ опрометью, будучи увѣренъ, что вы меня спасете».

«Дѣйствительно, — добавляетъ Александра Андреевна, въ своихъ воспоминаніяхъ, — высказавши все, онъ скоро успокоился и мы зажили съ нимъ прекрасно, видѣлись ежедневно, гуляли по горамъ и вполнѣ наслаждались жизнью»... «Левъ называлъ насъ (А. А—ну и ея сестру Елизавету Андреевну) «бабушками», ради шутки, что именованіе тетокъ намъ вовсе не пристало, особливо мнѣ: «вы для этого еще слишкомъ молоды» (Paradoxe à la Tolstoy)».

«Мы были оба страшные энтузіасты и аналитики, любили искренно добро, но не успѣли за него приняться правильно. Разбирали себя до тонкости, полагая, что это весьма похвально, а въ сущности, анализъ только щекоталъ наше воображеніе и нисколько не дѣйствовалъ на улучшеніе жизни. Левъ былъ уже тогда полонъ отрицаній, но больше по уму, чѣмъ по сердцу. Душа его была рождена столько же для вѣры, сколько для любви, и часто, самъ того не сознавая, онъ это проявлялъ въ различныхъ случаяхъ.

Разговоры наши клонились большею частью къ религіознымъ темамъ, но едва ли мы другъ друга понимали... Кромѣ безконечныхъ споровъ, ничего изъ этого не выходило, хотя и не мѣшало намъ сблизиться еще тѣснѣе».

Въ Россіи ихъ жизнерадостная дружба продолжалась.

«Наша чистая простая дружба торжественно опровергала общепринятое фальшивое мнѣніе насчетъ невозможности дружбы между мужчиной и женщиной». «... Религія была главнымъ предметомъ нашихъ разговоровъ. Любя глубоко своего друга, я почти съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ хотѣла видѣть въ немъ полную ясную вѣру, и странно — мы разошлись съ нимъ духовно именно въ ту минуту, когда вѣра коснулась его сердца».

До женитьбы Александра Андреевна видитъ своего друга Léon довольно часто. «Въ каждый пріѣздъ онъ привозилъ новый планъ занятій, и съ жаромъ изъяснялъ свою радость, что наконецъ попалъ въ настоящее дѣло». «Проекты рождались въ его головѣ, какъ грибы». «То былъ поглощенъ пчеловодствомъ, то облѣсеніемъ всей Россіи, или чѣмъ либо другимъ. . . Школа держалась всего долѣе, но и она исчезла почти безслѣдно»...

«Въ 1879 г. Л. Н. пріѣзжалъ въ Петербургъ, чтобы собрать кое какія свѣдѣнія на счетъ декабристовъ, замышляя написать романъ изъ этой эпохи. — «Я хочу доказать», говорилъ онъ, «что въ дѣлѣ декабристовъ никто не былъ виноватъ — ни заговорщики — ни власти».

«Перечитывая теперь изрѣдка письма Льва «допотопной» эпохи, не могу не наслаждаться свѣжестью, теплотой и юморомъ его посланій, — но вздохъ, глубокій вздохъ невольно вырывается изъ груди вслѣдъ за наслажденіемъ. Какъ хорошъ онъ былъ прежде, чѣмъ достигъ апогея славы, — какъ простъ, какъ интересенъ даже въ своихъ колебаніяхъ! Онъ тогда еще оглядывался въ жизни, не вѣрилъ себѣ, осуждалъ себя часто — и, полагаю, даже не мечталъ, что изъ него выйдетъ проповѣдникъ лжеученія, предъ которымъ, какъ предъ Вааломъ, люди станутъ преклонять колѣна. . .»

И Александра Андреевна не удерживается, чтобы не привести въ своихъ воспоминаніяхъ дѣйствительно прекраснаго, человѣчнаго, такого естественнаго письма Льва Николаевича:

«Бабушка! Весна!

«Отлично жить на свѣтѣ хорошимъ людямъ; даже и такимъ, какъ я, хорошо бываетъ. Въ природѣ, въ воздухѣ, во всемъ — надежда, будущность и прелестная будущность.

«Иногда ошибешься и думаешь, что не одну природу ждетъ будущность счастья, а и тебя тоже, — и хорошо бываетъ. Я теперь въ такомъ состояніи и съ свойственнымъ мнѣ эгоизмомъ тороплюсь писать Вамъ о предметахъ только для меня интересныхъ. — Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я ста-

рая, промерзлая, гнилая и еще подъ соусомъ сваренная картофель, но весна такъ дѣйствуетъ на меня, что иногда застаю себя въ полномъ разгарѣ мечтаній о томъ, что я растеніе, которое распустится вотъ только теперь вмѣстѣ съ другими и станетъ просто, спокойно и радостно расти на свѣтѣ Божьемъ. По этому случаю, къ этому времени идетъ такая внутренняя переборка, очищеніе и порядокъ, какой никто не испытавшій этого чувства не можетъ себѣ представить. Все старое прочь, всѣ условія свѣта, всю лѣнь, весь эгоизмъ, всѣ пороки, всѣ запутанныя, неясныя привязанности, всѣ сожалѣнія, даже раскаянье, — все прочь! .. Дайте мѣсто необыкновенному цвѣтку, который надуваетъ почки и выраститъ вмѣстѣ съ весной! — Грустно вспомнить, сколько разъ я тщетно дѣлывалъ то же самое, какъ кухарка по субботамъ, а все радуюсь своему обману и иногда серьезно вѣрю въ новый цвѣтъ и жду его».

«Прощайте, милая бабушка, не сердитесь на меня за этотъ вздоръ, а отвѣтьте умное и пропитанное добротой и христіанской мудростью словечко».

*

* *

Послѣ своего душевнаго переворота конца 70-хъ годовъ, Толстой явился въ Петербургъ «какъ всегда неожиданно и, кажется, безъ всякой другой причины, кромѣ желанія объясниться и высказать мнѣ свой духовный переворотъ. Мы не видѣлись уже два года, и я не подозрѣвала, что въ немъ за это время совершилось нѣчто необыкновенное. Онъ и въ перепискѣ не выдалъ себя, а только изрѣдка намекалъ на что-то весьма неясно.

«Едва мы успѣли поздороваться послѣ такой долгой разлуки, какъ онъ сталъ мнѣ развивать (должна сказать, довольно запутанно и туманно) все, что народилось въ его душѣ... Я слушала его молча. Принялъ ли онъ мое молчаніе за одобреніе или хотѣлъ вызвать меня на восторженное сочувствіе, но вдругъ, прервавъ свою рѣчь, онъ обратился ко мнѣ со словами: «Je vois que vous vous cristallisez déjà dans mon idée» («Я вижу, что вы уже прониклись моею мыслью»).

«Къ сожалѣнію, мнѣ пришлось разочаровать его на этотъ счетъ, чего, конечно, онъ не ожидалъ.

«— Vous vous trompez, mon cher», отвѣтила я, «je me cristallise si peu dans votre idée que je n'en ai pas encore saisi le sens.» («Вы ошибаетесь, мой дорогой, я ее даже не понимаю»).

Онъ вскочилъ съ своего мѣста, какъ ужаленный: — «Какъ же вы этого не понимаете? Это такъ просто и можетъ быть выражено въ двухъ словахъ. Вотъ видите: въ моей душѣ открылось окно, — въ это окно я вижу Бога, и затѣмъ мнѣ ничего, ничего болѣе не нужно». Повторяя это слово, онъ подчеркнулъ его и голосомъ и движеніемъ руки.

« — Что значитъ ничего?» — спрашиваю я съ недоумѣніемъ. — «Разумѣется, самое главное вѣрить въ Бога; но прежде чѣмъ входить съ вами въ соглашеніе, я должна знать, какъ вы въ Него вѣруете? Вѣдь вы, конечно, не забыли библейскаго изреченія: «И бѣсы вѣруютъ и трепещутъ».

«Сердце мое билось молоткомъ» — продолжаетъ Александра Андреевна — «точно оно предчувствовало, что я сейчасъ услышу... Но когда Левъ сталъ мнѣ доказывать не только безполезность, но и вредъ, приносимый церковью, и дошелъ, наконецъ, до того, что отрицалъ божественность Христа и спасеніе черезъ Него, я готова была плакать и рыдать, но воздержалась pour ne rien perdre de mes moyens dans la dispute que je prévoyais. Между нами, дѣйствительно, завязалась борьба, продолжавшаяся цѣлое утро. Вечеромъ она возобновилась, съ тою только разницей, что къ намъ присоединились еще два свидѣтеля; они, не давъ себѣ времени вникнуть въ его ложное направленіе и подкупленные заранѣе прелестью его сочиненій, держали его сторону, такъ что мнѣ пришлось одной бороться противъ трехъ»...

Послѣ этого разговора Толстой внезапно, не простившись съ А. А., уѣхалъ изъ Петербурга.

«Ваше внезапное исчезновеніе — пишетъ А. А. — возмутило, оскорбило и огорчило меня до глубины души. Въ этомъ поступкѣ есть столько жесткаго, не дружескаго — не хочется сказать, мстительнаго. Подобныя выходки и въ молодости непріятны, но въ наши года не протянуть руки при прощаніи, когда каждая разлука можетъ быть послѣдняя, просто непростительно...»

Черезъ недѣлю — 29 января 1880 г. — Александра Андреевна пишетъ Толстому другое письмо, гдѣ съ удивительной силой вѣры и глубиной православнаго исповѣданія этой вѣры, раскрываетъ свою душу. Это — замѣчательное письмо! И изъ него видно хорошо, что оскорбилъ Толстой въ душѣ своего друга.

«Простите меня, милый другъ. Каюсь и винюсь въ томъ, что взлетѣла на воздухъ, какъ мѣшокъ съ порохомъ. Одно могу сказать въ свое оправданіе. Я защищала и отстаивала не себя, а тѣ

вѣрованія, которыя никто кромѣ Бога не въ силѣ вырвать изъ моего сердца. Вѣроятно, мы бы договорились до чего-нибудь хорошаго, если бы нашъ общій врагъ не внушилъ вамъ бѣжать опрометью съ поля сраженія. По крайней мѣрѣ, ему не удастся поссорить насъ. За это я отвѣчаю — и при семъ показываю ему языкъ. Ce n'est pas élégant, mais c'est ce qu'il mérite. Радуюсь, благодарю Бога за окно, которое открылось для васъ (вспомните, сколько я мучилась въ былыя времена вашего невѣрія), и какъ желаю, чтобы изъ этого окна свѣтъ и теплота и любовь все болѣе и болѣе изливались на васъ. Для меня каждое слово св. Писанія окно, чрезъ которое я вижу Его правду, Его мудрость, Его невыразимое милосердіе. Чего вы отъ меня требуете, я право не понимаю. Какая можетъ быть ложь, какое внутреннее успокоеніе, когда смотришь на себя при этомъ свѣтѣ. Борьба, напротивъ того, все дѣлается настойчивѣе. То, что казалось вчера незначущимъ въ отношеніи къ грѣху, становится сегодня отвратительнымъ, невозможнымъ, и совѣсть не можетъ ни заснуть, ни обмануть себя. До конца жизни буду вѣрить въ то, чему вѣрю теперь, не по привычкѣ, какъ вы думаете, а по глубокому изученію и присвоенію тѣхъ истинъ, которыя одна послѣ другой выяснялись и продолжаютъ выясняться въ душѣ моей постепенно съ помощью Божіей. Вѣрю въ непреложную историческую и символическую правду всего Писанія съ первой главы Бытія до послѣдней строки Откровенія и не смущаюсь, когда что либо недоступно уму моему, потому что знаю, что въ свое время и это откроется и что развитіе моихъ понятій безпрестанно останавливается моими нравственными паденіями и только въ чистой душѣ Господь можетъ дѣйствовать безпрепятственно. На слова ваши: мнѣ этого не нужно — отвѣчаю: а мнѣ все нужно.

Изъ этого священнаго зданія нельзя выкинуть ни одного камня, не нарушая гармоніи цѣлаго. Но выше, болѣе всего дорожу лицомъ Спасителя, Спасителя всего міра и личнаго моего Спасителя, безъ искупительной смерти Котораго немыслимо спасеніе. Вѣрю, что только сообщеніемъ съ Нимъ посредствомъ молитвы и причащенія Его тѣла и Его крови могу очищаться отъ грѣховъ, а силою Св. Духа укрѣпляться на пути къ Его вѣчному царству. Буквально вѣрю въ каждое изъ Его чудесъ, чудеса любви Его и самоотверженія, передъ которыми разумъ можетъ остановиться, но которые таинственно, но глубоко понятны сердцу и производятъ въ немъ то обновленіе и выздоровленіе, которое совершалось въ больныхъ, прикасающихся ко Христу.

Законъ любви для всѣхъ, но даръ любви не всѣмъ дается

въ одинаковой мѣрѣ. Достигнуть высшей степени любви, той любви, которая себя уже не знаетъ, вотъ вся задача жизни. Знаю, что путь одинъ. Да, онъ весь содержится въ Нагорной проповѣди. Я въ этомъ такъ же глубоко убѣждена, какъ и вы, и благодарите Бога, если эта любовь разлита въ васъ щедрою рукой и если она уже сдѣлалась руководителемъ въ вашей жизни. Моя душа еще къ ней стремится, и я часто унывала и унываю, сознавая, какъ мало я прилагаю къ жизни слова Спасителя, но ободряющій голосъ Его возобновляетъ мои силы и послѣ каждаго паденія я крѣпче хватаюсь за Его руку. Церковь же, — для меня сосудъ, хранящій таинства, которыя для меня такъ дороги и необходимы. Я не умѣю говорить, ни писать, но, какъ умѣла, сказала вамъ весьма вкратцѣ свою profession de foi. Мнѣ кажется, она такъ проста, что и дворникъ и мужикъ могли бы понять ее. А попробуйте имъ сказать, что Крещеніе, Преображеніе и Воскресеніе Господа ничто иное, какъ выдумка, и они не поймутъ васъ или глубоко огорчатся. Я такъ увѣрена, что въ вашемъ сердцѣ нѣтъ кощунства, что не могу и не хочу видѣть его въ вашихъ отрицаніяхъ, но я такъ же, какъ и вы, не могу говорить съ вами не во всю, и признаюсь страшно мнѣ было видѣть, какъ вы дерзновенной рукой вычеркивали изъ Евангелія все то, что не сходилось съ настоящимъ складомъ вашего ума и вашихъ воззрѣній. Чудилось мнѣ тутъ что-то недоброе, не отъ правды исходящее. Или я васъ не поняла, или точно, какъ я вамъ уже сказала, на васъ сидитъ еще ваша философская куртка, отъ которой вы не можете отдѣлаться. Боюсь я того, что вы теперь пишете, боюсь за васъ и за тѣхъ, которыхъ вы можете увлечь своимъ умомъ, искренностью и неправильностью своихъ взглядовъ. Не сердитесь на меня, но успокойте меня. Это мнѣ необходимо. Христосъ съ вами, да поможетъ Онъ намъ любить Его правду. Еще одно слово. Мнѣ кажется, вы вдаетесь въ то уже извѣстное ученіе, которое отрицаетъ Бого-человѣка, но признаетъ человѣко-бога!! . . .»

Трудно лучше сказать истину православной вѣры, чѣмъ ее высказала здѣсь Александра Андреевна. Сколько тонкости, мѣткости, вѣрности, глубины и любви скорбящей въ ея словахъ... Какъ безошибочно это письмо проникаетъ въ природу толстовскаго бѣгства...

Толстой отвѣчаетъ удивительно слабо на это письмо Александры Андреевны. Нѣтъ ни логики, ни связанности, ни ясной вѣры въ его письмѣ. Есть мрачное раздраженіе и прорывающіяся слова кощунства — для православнаго сознанія Александры

Андреевны. Діалектика Толстого этого періода «ломанія основъ» извѣстна.

«...Я себя (убѣжденный, что вѣрю истинно) не раздѣляю отъ бабы, вѣрящей пятницѣ, и утверждаю, что мы съ этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знали истину. Это происходитъ отъ того, что мы съ бабой одинаково всѣми силами души любили истину и стремились постигнуть ее и в ѣ р и м ъ. Я подчеркиваю в ѣ р и м ъ, потому что можно вѣрить только въ то, чего понять мы не можемъ, но чего и опровергнуть мы не можемъ. Но вѣрить въ то, что мнѣ представляется ложью, — нельзя... Бабу, вѣрующую въ пятницу, я понимаю и признаю въ ней истинную вѣру, потому что знаю, что несообразность понятія пятницы, какъ Бога, для нея не существуетъ, и она смотритъ во всѣ свои глаза и больше увидѣть не можетъ... Но если я стану обращаться къ Богу черезъ пятницу... (здѣсь слѣдуетъ кощунство, недопущенное въ до-революціонномъ изданіи), вѣрить въ воскресеніе и тому подобное, то я буду кощунствовать и лгать и буду дѣлать это для какихъ нибудь земныхъ цѣлей, а вѣры тутъ никакой не будетъ и не можетъ быть»... «Смотрите ли вы во всѣ глаза или нѣтъ, я не могу знать. Мущина съ вашимъ образованіемъ не можетъ, это я думаю, но про женщинъ не знаю»... Если я и пытался говорить вамъ что нибудь, то смыслъ моихъ словъ только тотъ: «посмотрите, крѣпокъ ли тотъ ледъ, по которому вы ходите; не попробовать ли вамъ пробить его?» (Поистинѣ, мысль демоническая и демонически выраженная). «Если проломится, то лучше идти материкомъ». «Но и вамъ уже учить меня нечему. Я пробилъ до материка все то, что оказалось хрупкимъ, и уже ничего не боюсь, потому что силъ у меня нѣтъ разбить то, на чемъ стою; стало быть оно настоящее»... Послѣ подписи Толстой добавляетъ почти такой-же по размѣрамъ текстъ, какъ само письмо. Онъ понимаетъ, что не отвѣтилъ никакъ на исповѣданіе Александры Андреевны. «На счетъ того, вѣрю ли я въ человѣка-Бога или Бога-человѣка, я ничего не умѣю вамъ сказать, и если бы и умѣлъ, не сказалъ бы. Объ этомъ разскажутъ сожженные на кострахъ и сжигавшіе. «Не мы ли призывали тебя, называя Господомъ». Не знаю васъ, идите прочь, творящіе беззаконіе»...

Написавъ письмо, я подумалъ, что вы можете упрекнуть меня, сказать: «Я сказала, во что вѣрю, а онъ не сказалъ». Сказать свою вѣру нельзя. Вы сказали только потому, что повторяли то, что говоритъ церковь. А этого-то и не нужно, не должно, нельзя, грѣхъ дѣлать». И Толстой, не безъ кощунственныхъ словъ (болѣзненныхъ для Александры Андреевны) возвраща-

ется на свои круги; ничего не раскрываетъ, запутывается въ своихъ мысляхъ...

«Любезный читатель! полюбуйтесь моей наивностью» — говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Александра Андреевна — «полюбуйтесь и упорствомъ, съ которымъ я продолжала и послѣ полемику съ Л. Н., въ твердой надеждѣ, что вотъ-вотъ взгляды его измѣнятся и онъ придетъ на путь правды; мнѣ казалось, что я имѣю дѣло съ больнымъ, котораго надо кормить хорошей пищей, — и въ своемъ заблужденіи я, вѣроятно, принимала себя за искуснаго врача. Но письма мои только раздражали его.

Не понимаю, какъ могла я не видѣть, что въ каждой своей мысли онъ усаживался, какъ въ крѣпости. Знаете ли, что значитъ любить близкую вамъ душу? не человѣка, а душу его?... Это несравненно сильнѣе всякой земной любви; а душа Льва Николаевича была мнѣ невыразимо дорога. Она и теперь осталась мнѣ дорога, но года и разочарованіе взяли свое: нѣтъ ужъ того пыла, того мученія, которое сопровождали тогда мои заботы о немъ! Теперь я молюсь за него съ полнымъ сознаніемъ, что не мои усилія, а только Божіе милосердіе можетъ рано или поздно привести моего друга на прямую дорогу.

Скажу мимоходомъ, что отъ нашей переписки того времени почти не осталось ничего: иныя письма я уничтожила, — они меня слишкомъ смущали, — другія я отдала Достоевскому. Вотъ какъ это случилось.

Я давно желала познакомиться съ нимъ, и наконецъ мы сошлись, но — увы! — слишкомъ поздно. Это было за двѣ или за три недѣли до его смерти. Съ тѣхъ поръ, какъ я прочла «Преступленіе и наказаніе» (никакой романъ на меня такъ не дѣйствовалъ), онъ стоялъ для меня, какъ моралистъ, на необыкновенной вышинѣ, несравненно выше другихъ писателей, не исключая и Льва Толстого, — разумѣется, не въ отношеніи слога и художественности.

Я встрѣтила Достоевскаго въ первый разъ на вечерѣ у граф. Комаровской. Съ Л. Н. онъ никогда не видался, но, какъ писатель и человѣкъ, Л. Н. его страшно интересовалъ. Первый его вопросъ былъ о немъ:

— «Можете ли вы мнѣ истолковать его новое направленіе? Я вижу въ этомъ что-то особенное и мнѣ еще не понятное»...

Я призналась ему, что и для меня это еще загадочно, и обѣщала Достоевскому передать послѣднія письма Льва Николаевича, съ тѣмъ однако-жъ, чтобы онъ пришелъ за ними самъ. Онъ назначилъ мнѣ день свиданія, — и къ этому дню я переписала для него эти письма, чтобы облегчить ему чтеніе неразборчиваго

почерка Л. Н. При появленіи Достоевскаго я извинилась передъ нимъ, что никого болѣе не пригласила, изъ эгоизма, — желая провести съ нимъ вечеръ съ глаза на глазъ. Этотъ очаровательный и единственный вечеръ навсегда запечатлѣлся въ моей памяти; я слушала Достоевскаго съ благоговѣніемъ: онъ говорилъ, какъ истинный христіанинъ, о судьбахъ Россіи и всего міра; глаза его горѣли и я чувствовала въ немъ пророка... Когда вопросъ коснулся Льва Николаевича, онъ просилъ меня прочитать обѣщанныя письма громко. Страшно сказать, но мнѣ было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность въ мысляхъ.

Вижу еще теперь передъ собою Достоевскаго, какъ онъ хватался за голову и отчаяннымъ голосомъ повторялъ: «Не то, не то»!... Онъ не сочувствовалъ ни единой мысли Л. Н.; несмотря на то, забралъ все, что лежало писанное на столѣ: оригиналы и копіи писемъ Льва. Изъ нѣкоторыхъ его словъ я заключила, что въ немъ родилось желаніе оспаривать ложныя мнѣнія Л. Н.

Я нисколько не жалѣю потерянныхъ писемъ, но не могу утѣшиться, что намѣреніе Достоевскаго осталось невыполненнымъ: черезъ пять дней послѣ этого разговора Достовскаго не стало...»

Интересно, что этотъ вечеръ у гр. Александры Андреевны, и столь полное единомысліе съ ней, были послѣднимъ утѣшеніемъ Достоевскаго на этой землѣ. Когда А. А., узнавъ о кончинѣ Достоевскаго, отправилась къ нему на квартиру поклониться его праху, къ ней тамъ подошла жена Достоевскаго и, удостовѣрившись, что она гр. Толстая, сказала ей: «Я позволила себѣ подойти къ вамъ, полагая, что вамъ пріятно будетъ услышать, какое хорошее впечатлѣніе Ѳедоръ Михайловичъ вынесъ съ вечера, проведеннаго у васъ; это было его послѣднее удовольствіе».

Задумываясь надъ тѣмъ, удалось ли бы Достоевскому повліять на Л. Н. Толстого, гр. Александра Андреевна невольно припоминаетъ слово, сказанное ей умнымъ Дмитріевымъ, покойнымъ попечителемъ петербургскаго учебнаго округа: «Le malheur du comte Tolstoy c'est qu'il n'écoute et n'estime que sa propre pensée, aussi vous verrez qu'il fera éternellement fausse route.»

(Несчастье гр. Толстого въ томъ, что онъ слушаетъ и уважаетъ только собственное мнѣніе, вотъ почему вы увидите, что онъ всегда будетъ на ложномъ пути)...

*

* *

Вскорѣ послѣ извѣстной статьи о переписи, Александра Андреевна посѣтила Москву. На другой день послѣ ея пріѣзда, Левъ Николаевичъ явился къ ней утромъ. Заведя рѣчь о «Переписи», онъ спросилъ Ал. Андр—ну: «Знаете ли вы, что послѣ появленія моей статьи ко мнѣ рѣкой льются адресы, благодарности и письма со всѣхъ сторонъ, даже изъ институтовъ?» — «Знаю», — отвѣчала Александра Андреевна довольно холодно. — «А отъ васъ ни полъ-строчки; отчего это?» — По очень простой причинѣ: должна признаться, что ваша «Перепись» мнѣ не особенно понравилась. Боюсь, что ваши слова, адресованныя къ молодежи, не сгорѣли бы безъ слѣда, какъ солома. Вы говорите «не давайте денегъ, а отдайте себя всецѣло»... Не требовать ли это слишкомъ многаго? вѣдь это послѣднее слово любви; оно не пріобрѣтается, по одному мановенію руки. Затѣмъ мнѣ не нравится еще ваше извращеніе Евангелія: Закхея вы вовсе не поняли; это чудесная личность: онъ побѣдилъ всѣ препятствія, чтобы увидѣть Христа, — и когда увидѣлъ, то сердце его немедленно наполнилось величайшею благодатью: онъ сталъ готовъ на всякую жертву, чтобы искупить прошедшее, а вы сдѣлали изъ него чуть-чуть не ростовщика...»

«Вдругъ, безъ всякаго вызова съ моей стороны, — пишетъ Александра Андреевна, — онъ осыпалъ меня, точно градомъ, своими невообразимыми взглядами на религію и на церковь, издѣваясь вообще надъ всѣмъ, что намъ дорого и свято... Мнѣ казалось, что я слышу бредъ сумасшедшаго. Не могу и не хочу передавать все, что было имъ тогда сказано; отъ его рѣчей щеки мои пылали, но возражать ему я не сочла нужнымъ. Вѣроятно, мое молчаніе раздражило его еще болѣе; наконецъ, когда онъ самъ утомился своимъ бѣшенымъ пароксизмомъ и взглянулъ на меня вопросительно, какъ будто вызывая на отвѣтъ, я сказала ему:

— «Je n'ai rien à vous répondre, et vous dirai seulement que pendant que vous parliez, je vous voyais aux prises avec quelqu'un, qui se tient en ce moment debout derrière votre chaise» (Мнѣ нечего вамъ отвѣтить и скажу вамъ только, что пока вы говорили, я видѣла васъ во власти кого-то, стоящаго еще и теперь за вашимъ стуломъ).

Онъ живо обернулся: — «Qui cela?» (Кто это?) почти вскрикнулъ онъ.

— «Lucifer en personne, l'incarnation de l'orgueil» (Самъ Люциферъ, олицетвореніе гордости), отвѣчала я.

— «Certainement je suis fier d'être le seul qui aie mis en-

fin la main sur la verité» (Конечно, я горжусь тѣмъ, что только я одинъ приблизился къ правдѣ).

Господи! И это онъ называлъ правдой...

Вечеромъ я отправилась къ нимъ и нашла такъ недавно разъяреннаго Льва кроткимъ ягненкомъ. Кромѣ многочисленной семьи, были еще тутъ посторонніе, и разговоръ былъ общій; но Левъ направлялъ его, видимо, такъ, чтобы ничто непріятное не могло задѣть меня; онъ смотрѣлъ на меня умильными глазами, какъ будто прося прощенія»...

«Между прочимъ, онъ просилъ свою жену разсказать мнѣ сонъ, видѣнный ею незадолго до его духовнаго переворота. Сонъ былъ слѣдующій: она видѣла себя стоящей у храма Спасителя, тогда еще неоконченнаго; передъ дверьми храма возвышался громадный крестъ, а на немъ живой распятый Христосъ. Вдругъ этотъ крестъ сталъ двигаться и, обошедъ три раза вокругъ храма, остановился передъ нею, Софіею Андреевной... Спаситель взглянулъ на нее и, поднявъ руку вверхъ, указалъ ей на золотой крестъ, который уже сіялъ на куполѣ храма».

Софья Андреевна была предупреждена еще до окончанія постройки и за полъ вѣка до разрушенія Храма Христа Спасителя, о грядущей Голгофѣ Спасителя въ русскомъ народѣ, объ уже начавшейся Его Голгофѣ... Къ участію въ страданіяхъ Спасителя она — жена Толстого — призывалась. Духъ разрушенія былъ «при дверяхъ» ея дома, ея страны, ея Церкви.

*
* *

«Читали ли вы сборникъ стиховъ русскихъ поэтовъ «Цвѣтникъ», выпущенный издательствомъ «Посредникъ»? — спросилъ однажды въ Ясной Полянѣ Александру Андреевну кроткій молодой человѣкъ, Павелъ Ив. Бирюковъ, помощникъ Влад. Григ. Черткова, редактора «Посредника».

— «Да», отвѣчала Александра Андреевна, «читала, и выборъ показался мнѣ очень хорошъ; только я не поняла, отчего выпущены нѣкоторыя строфы изъ одного прелестнаго стихотворенія Хомякова. Мнѣ кажется, что изъ Хомякова не слѣдуетъ ничего выпускать».

— «Вотъ видите, графиня», отвѣчалъ Бирюковъ своимъ тихимъ голосомъ: «это оттого, что тутъ было упомянуто объ искупленіи, а Владиміръ Григорьевичъ не любитъ искупленія»...

«Трудно себѣ представить, что со мной совершилось въ эту минуту», говоритъ Александра Андреевна, «ракета взвилась на воздухъ до тверди небесной...» Вспомнилось письмо В. Г. Черткова, читанное наканунѣ, которое начиналось: — «Сегодня утромъ я толковалъ мужику, что въ первыхъ словахъ Евангелія отъ Іоанна нѣтъ никакого смысла...» И, дрожа отъ внутренняго волненія и негодованія (поистинѣ — ангельскаго!), она сказала медленно, выговаривая каждое слово: «А! Владиміръ Григорьевичъ не любитъ искупленія. Онъ также находитъ, что первыя слова отъ Іоанна не имѣютъ никакого смысла... Это потому, что у него вотъ тутъ (она провела быстро рукой по лбу) пусто; но вы то всѣ, проповѣдующіе ученіе Христа, что вы такое?!! По-моему — сказала она, обращаясь къ Льву Николаевичу — вы хуже всѣхъ сектантовъ, потому что всѣ сектанты вѣруютъ въ искупленіе, которое составляетъ надежду христіанъ»...

«Послѣ утренняго ухода Л. Н., я обыкновенно оставалась вдвоемъ съ графиней Софіей Андреевной, которая, по прирожденному ей прямодушію, разсказывала мнѣ много интереснаго изъ прошедшей и настоящей ихъ жизни» — пишетъ Александра Андреевна. «Не считаю себя вправѣ передавать здѣсь эти интимные, откровенные разговоры, но они меня еще болѣе убѣдили, что пониманіе Бога у Льва Николаевича было неправильное».

Болѣе, чѣмъ кто либо другой, добрая, чуткая, любящая душу Льва Николаевича, Александра Андреевна мучилась и томилась отъ чтенія — еще въ рукописяхъ — религіозныхъ разсужденій Толстого. Особенно чтеніе толстовскаго «Евангелія» было не по силамъ ей. «Грубое отрицаніе и дерзкія извращенія божественной книги приводили меня въ невообразимое негодованіе. Случалось, что я прерывала свое чтеніе и бросала тетрадь на полъ... Въ то время я жила въ Царскомъ Селѣ, въ Лицеѣ; напротивъ моихъ оконъ передѣлывали кое что въ фасадѣ дворца, и этимъ была занята масса рабочихъ; глядя на нихъ, какой-то страхъ овладѣвалъ мною: вотъ-вотъ и до этого бѣднаго люда доберутся, можетъ быть, ужасныя бредни... Надо мною смѣялись близкія мнѣ лица, но я, чтобы успокоить мое сердце, раздавала этимъ рабочимъ десятки Евангелій, которыя они принимали съ величайшей благодарностью»...

Послѣднее свиданіе Александры Андреевны съ Львомъ Николаевичемъ (о которомъ она говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ 1899 г.), было въ Петербургѣ, куда Толстой пріѣхалъ въ 1897 году для прощанія со своими друзьями Чертковыми.

«...Левъ съ женою пробыли здѣсь въ Петербургѣ дня два

или три. Я съ ними постоянно видѣлась и все шло прекрасно, исключая послѣдняго вечера, проведеннаго у Ек. П. Шостакъ, гдѣ Левъ Николаевичъ, безъ всякаго къ тому повода, сталъ доказывать, что каждый разумный человѣкъ можетъ спасать себя самъ и что, собственно, ему для этого «никого не нужно». Понять было нетрудно, кого онъ подразумѣвалъ подъ словомъ никого, — и сердце мое содрогалось и заныло, какъ бывало.

На досугѣ безсонной ночи, я опять много передумала; зная, что Левъ придетъ ко мнѣ на другое утро для прощанія, я спрашивала себя: надо или нѣтъ подымать этотъ вопросъ? . . . Легко можетъ статься, что это будетъ наше послѣднее свиданіе, думала я, и въ такомъ случаѣ не буду ли я себя упрекать, если побоюсь сказать свое мнѣніе еще разъ? Но, какъ только Левъ пришелъ ко мнѣ и я намекнула на вчерашній разговоръ, онъ вскочилъ съ мѣста, лицо его передернулось гнѣвомъ, и вся напускная кротость исчезла.

— «Позвольте мнѣ сказать, что я все это знаю въ милліонъ разъ лучше васъ; я изучилъ всѣ эти вопросы не слегка и своимъ вѣрованіямъ пожертвовалъ жизнь, счастье и все вообще (sic), а вы думаете, что можете меня чему нибудь научить» и проч. и проч.

Рѣчь его была гораздо длиннѣе и вся дышала гордою самоувѣренностью; но я даю здѣсь только то, что навсегда врѣзалось болью въ мое сердце и въ мою память.

Страшно выговорить: ему не нужно Того, Кто Единъ спасаетъ! И какъ понять всю двойственность, все противорѣчіе этой необыкновенной загадочной натуры? . .

Съ одной стороны, любовь къ правдѣ, любовь къ людямъ, любовь къ Богу и даже къ тому Учителю, все величіе Котораго онъ не хочетъ или не можетъ признать. Съ другой стороны, гордость, тьма, невѣріе, пропасть. . . Не самъ ли злой духъ — древній змій — положилъ въ сердце его отрицаніе, чтобы уничтожить по возможности богатые дары Господни»? . .

ОТКРОВЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЙ ГЛАВЫ

«Я былъ крещенъ и воспитанъ въ православной христіанской вѣрѣ. Меня учили ей съ дѣтства и во все время моего отрочества и юности», говоритъ въ «Исповѣди» Левъ Николаевичъ. «Но когда въ 18 лѣтъ я вышелъ со второго курса университета, я не вѣрилъ уже ни во что изъ того, чему меня учили».

«Судя по нѣкоторымъ воспоминаніямъ, я никогда не вѣрилъ серьезно, а имѣлъ только довѣріе къ тому, что исповѣдывали предо мной большіе, но довѣріе это было очень шатко. Помню, что когда мнѣ было лѣтъ одиннадцать, одинъ мальчикъ, давно умершій, Володенька М., учившійся въ гимназіи, придя къ намъ на воскресенье, какъ послѣднюю новинку объявилъ намъ открытіе, сдѣланное въ гимназіи. Открытіе состояло въ томъ, что Бога нѣтъ, и что все, чему насъ учатъ, однѣ выдумки (это было въ 1838 г.). Помню, какъ старшіе братья заинтересовались новостью, позвали меня на совѣтъ, и мы всѣ, помню, очень оживились и приняли это извѣстіе, какъ что-то очень занимательное и весьма возможное» («Исповѣдь»).

— «Но, конечно» — замѣчаетъ біографъ, — «эта раціоналистическая критика не могла тронуть основъ души его. Эти основы выдержали страшныя житейскія бури и вывели его на «истинный путь».

Что понимаетъ біографъ подъ «основою души»?

Для Бирюкова, толстовца, «основа» человѣческой души это божественная сущность ея и божественное ея сознаніе своей сущности.

Ограниченный человѣкъ, по Толстому, есть часть Неограниченнаго Бога, ограниченная матеріальностью. Въ жизни Все-Бога, есть нѣкая матеріальная «Майя», которая ограничиваетъ Божество. —

Только уяснивъ себѣ эту, сперва неосознанную, а потомъ сознательную вѣру Толстого, можно понять всѣ его религіозные

и этическіе замыслы, всѣ его соціальныя и государственныя убѣжденія; все его отношеніе къ Богу, къ міру, къ себѣ.

*
* *

Сестра Толстого, Марія Николаевна (монахиня Марія), приводитъ, изъ дѣтства брата Льва, рядъ случаевъ, которые, по мнѣнію Бирюкова, «указываютъ на оригинальность, даже эксцентричность его отроческаго характера».

«Мы собрались разъ къ обѣду, — это было въ Москвѣ, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикетъ и всѣ должны были являться во время, еще до прихода бабушки, и дожидаться ея. И потому всѣ были удивлены, что Левочки не было. Когда сѣли за столъ, бабушка, замѣтившая отсутствіе его, спросила гувернера St. Thomas, что это значитъ, не наказанъ ли Léon; но тотъ смущенно заявилъ, что онъ не знаетъ, но что онъ увѣренъ, что Léon сію минуту явится, что онъ, вѣроятно, задержался въ своей комнатѣ, приготовляясь къ обѣду. Бабушка успокоилась, но во время обѣда подошелъ нашъ дьдька, шепнулъ что-то St. Thomas и тотъ сейчасъ же вскочилъ и выбѣжалъ изъ-за стола. Это было столь необычно при соблюдаемомъ этикетѣ обѣда, что всѣ поняли, что случилось какое нибудь большое несчастье, и такъ какъ Левочка отсутствовалъ, то всѣ были увѣрены, что несчастье случилось съ нимъ и съ замираніемъ сердца ждали развязки.

«Вскорѣ дѣло разъяснилось, и мы узнали слѣдующее:

«Левочка, неизвѣстно по какой причинѣ (какъ онъ самъ теперь говоритъ, только для того, чтобы сдѣлать что нибудь необыкновенное и удивить другихъ), задумалъ выпрыгнуть въ окошко изъ второго этажа, съ высоты нѣсколькихъ саженъ. И нарочно для этого, чтобы никто не помѣшалъ, остался одинъ въ комнатѣ, когда всѣ пошли обѣдать. Влѣзъ на отворенное окно мезонина и выпрыгнулъ во дворъ. Въ нижнемъ подвальномъ этахѣ была кухня, и кухарка какъ разъ стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не понявъ сразу, въ чемъ дѣло, она сообщила дворецкому, а когда вышли на дворъ, то нашли Левочку лежащимъ на дворѣ и потерявшимъ сознаніе. Къ счастью, онъ ничего себѣ не сломалъ, и все ограничилось только легкимъ сотрясеніемъ мозга; безсознательное состояніе перешло въ сонъ, онъ проспалъ подрядъ 18 часовъ и проснулся совсѣмъ здоровымъ. Можно себѣ представить безпокойство и страхъ, въ которые по-

вергъ всѣхъ домашнихъ этотъ необдуманный поступокъ маленькаго чудака.

«Разъ ему пришла фантазія остричь себѣ брови, что онъ и исполнилъ, обезобразивъ этимъ лицо, никогда не отличавшееся особой красотой, что не мало сокрушало самого юношу».

«Другой разъ» — разсказываетъ Марія Николаевна, — ѣхали мы на тройкѣ изъ Пирогова въ Ясную. Во время одной изъ остановокъ экипажа Левочка слѣзъ и пошелъ пѣшкомъ. Когда экипажъ тронулся, его хватились, но его нигдѣ не было. Кучеръ съ козелъ увидалъ впереди на дорогѣ его удаляющуюся фигуру; поѣхали, полагая, что онъ пошелъ впередъ, чтобы сѣсть, когда тройка его догонитъ, но не тутъ-то было. Съ приближеніемъ тройки онъ ускорилъ шагъ, и когда тройка пошла рысью, онъ пустился бѣгомъ, видимо, не желая садиться. Тройка поѣхала очень быстро, и онъ побѣжалъ во всю мочь, пробѣжавъ такъ около трехъ верстъ, пока, наконецъ, не обезсилѣлъ и не сдался. Его посадили въ карету; онъ задыхался и былъ весь въ поту, и изнемогалъ отъ усталости».

Графиня Софья Андреевна не разъ принималась записывать матеріалы о жизни Льва Николаевича, разспрашивая его объ его дѣтствѣ и слушая разсказы его родственниковъ, которыхъ она застала еще въ живыхъ. Къ сожалѣнію, записки эти неполны и неокончены, но тѣмъ не менѣе, чрезвычайно цѣнны. Бирюковъ сдѣлалъ изъ нихъ нѣсколько выписокъ:

«Судя по разсказамъ старыхъ тетушекъ, которыя мнѣ разсказывали кое-что о дѣтствѣ моего мужа, и также по словамъ моего дѣда Исленева, который былъ очень друженъ съ Николаемъ Ильичемъ, Отцомъ Льва Николаевича, маленькій Левочка былъ очень оригинальный ребенокъ и чудакъ. Онъ, напримѣръ, входилъ въ залу и кланялся всѣмъ задомъ, откидывая голову назадъ и шаркая».

«Когда я спрашивала другихъ и самого Льва Николаевича, хорошо ли онъ учился, то всегда получала отвѣтъ, что «нѣтъ».

Шуринъ Льва Николаевича, С. А. Берсъ, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«По свидѣтельству покойной тетушки Льва Николаевича. Пелагеи Ильиничны Юшковой, въ дѣтствѣ онъ былъ очень шаловливъ, а отрокомъ отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступковъ, живостью характера и прекраснымъ сердцемъ».

«Моя покойная матушка разсказывала мнѣ, что описывая свою первую любовь въ произведеніи «Дѣтство», онъ умолчалъ

о томъ, какъ изъ ревности столкнулъ съ балкона предметъ своей любви, которая и была моя матушка, девяти лѣтъ отроду и которая послѣ этого долго хромала. Онъ сдѣлалъ это за то, что она разговаривала не съ нимъ, а съ другимъ. Впослѣдствіи она, смѣясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того въ дѣтствѣ столкнулъ съ террасы, чтобы потомъ жениться на моей дочери».

Самъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ, въ семейномъ кругу, что въ дѣтствѣ, лѣтъ 7 или 8, онъ имѣлъ страшное желаніе полетать въ воздухѣ. «Онъ вообразилъ, что это вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣни, при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣни, тѣмъ выше можно полетѣть».

Фантазеръ, неожиданно-своевольный, очень упорный въ увлеченіи (какъ бы странно ни было оно), таящій въ себѣ, хотя и религіозно неразвитое, но искреннее чувство стремленія къ добру и прекрасному, — такимъ встаетъ предъ нами юный Толстой, въ біографическихъ фактахъ, свидѣтельствахъ близкихъ и его самого.

*

* *

Въ «Юности» уже выявляется безпощадный «толстовскій» художественный анализъ нравственныхъ переживаній. До конца дней своихъ Толстой останется нѣкіимъ литературнымъ королемъ этого психологическаго искусства, и будетъ прямо подавлять своимъ талантомъ «раскапыванія себя»; который, впрочемъ, напрасно иногда отождествляютъ съ религіозно-осмысленнымъ раскаяніемъ. «Теоцентризма» не достаетъ и не будетъ доставать Толстому въ раскаяніи, т. е. вѣры, «умнаго предстоянія», поклоненія и покорности Живому Богу. — Здѣсь ключъ, открывающій двери къ пониманію всей нравственной трагедіи его, которую онъ, до конца дней своихъ, не опознаетъ въ себѣ.

«Чувствую необходимость, — говоритъ онъ, исповѣдуясь міру, — посвятить цѣлую главу понятію, которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ.

Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ то время, о которомъ я пишу (молодость), было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣляется еще на людей собственно не comme il faut и на простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ — притворялся, что презираю, но

въ сущности, ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я ихъ презиралъ совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно выговаривавшій по французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего-же ты хочешь говорить какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитой насмѣшкой спрашивалъ я его мысленно.

Второе условіе comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки.

Страшно вспомнить, сколько безцѣннаго, лучшаго въ жизни шестнадцатилѣтняго времени я потратилъ на пріобрѣтеніе этого качества. Но ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условій comme il faut, исключающихъ всякое серьезное увлеченіе, ни ненависть и презрѣніе къ девяти десятымъ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ круга comme il faut, все это было еще не главное зло, которое мнѣ причиняло это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut, что достигнувъ этого положенія онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей.

Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, избираетъ какую нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ comme il faut это рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень многихъ людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: кто ты такой? и что ты тамъ дѣлалъ? — не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ «Je fus un homme très comme il faut».

Эта участь ожидала меня».

Далѣе, Толстой описываетъ свое «отпаденіе отъ вѣры», — с у щ е с т в о в а н і я к о т о р о й в ъ е г о ж и з н и в о о б щ е н е в и д н о... То, что ушло отъ первыхъ прикосновеній съ жизнью, развѣ было «вѣрой»?! Истинной вѣры у Толстого не было. Она ему была з а д а н а... Онъ не будетъ отвѣтственъ за то, что п о т е р я л ъ ее. Его отвѣтственность — въ иномъ.

Но онъ этого не сознаетъ. Онъ обличаетъ себя и попутно — міръ, поставляя его отвѣтственнымъ за свою потерю вѣры, за безнравственную жизнь свою. Какъ характерно и трагично это! Весь тотъ періодъ блуда и разврата, тщеславія, самомнѣнія и погони за комильфотствомъ былъ, въ сущности, дѣтскимъ почти невиннымъ грѣхомъ Толстого, по сравненію съ тѣмъ дѣломъ, которое онъ сознательно предпринялъ въ зрѣлые свои годы, возставъ на Живого «Господа и на Христа Его», бросивши противъ православной вѣры весь арсеналъ своего мысленнаго оружія и великаго словеснаго дара, отъ Бога даннаго ему.

Если бы онъ могъ, хотя бы тогда, когда онъ, умирающій, безсознательно устремился (словно Кѣмъ-то устремленъ былъ) въ Оптину Пустынь, сознаться во всемъ и смиренно исповѣдать предъ Христомъ грѣхъ свой, ему надо было бы прежде всего и глубже всего принести исповѣдь раскаянія въ самой «Исповѣди» своей, гдѣ онъ, такъ осудившій себя — отвелъ и спряталъ главный грѣхъ, въ которомъ ему надлежало раскаяться гораздо глубже, чѣмъ въ какихъ бы то ни было иныхъ грѣхахъ. Онъ судилъ себя, чтобы судить міръ; и въ этомъ своемъ непрестанномъ — искреннемъ, но безблагодатномъ самоумаленіи и нравственномъ самобіеніи, выковывалъ себѣ «нравственное право» умалить Хозяина всякой жизни — видимой и невидимой — Господа и Спасителя Іисуса Христа... Этого грѣха въ себѣ Толстой не замѣтилъ. Грѣха заплеванія Святого Святыхъ милліоновъ христіанъ! Какой же нравственный и религіозный смыслъ могло имѣть предъ Богомъ его геніальное описаніе всѣхъ своихъ грѣховъ комильфотности и физическаго разврата? На сердцѣ у него лежалъ грѣхъ большій. И этотъ грѣхъ оказался въ немъ живущимъ и прорастающимъ въ жизнь до самыхъ послѣднихъ его дней.

Толстой въ себѣ судилъ не себя, (не «я» свое, которое должно было распяться въ послѣднемъ покаяніи), но судилъ тотъ же міръ, который онъ судилъ и не судя себя.

Оттого его покаяніе не было очистительнымъ для него. Оно отталкивало отъ его сознанія грѣхи, въ которыхъ онъ каялся, и которые искренно ненавидѣлъ въ себѣ, но покаяніе это не изглаживало, не смывало этихъ грѣховъ, ни ихъ послѣдствій въ жизни...

*

* *

«Помню, — говоритъ Левъ Николаевичъ, — что когда старшій братъ мой Дмитрій, будучи въ университетѣ, вдругъ со свойственной его натурѣ страстностью предался вѣрѣ и сталъ ходить ко всѣмъ службамъ, поститься, вести чистую, нравственную жизнь, то мы всѣ, и даже старшіе, не переставая, поднимали его на смѣхъ и прозвали почему-то Ноемъ. Помню, Мусинъ-Пушкинъ, бывшій тогда попечителемъ Казанскаго университета, звавшій насъ къ себѣ танцовать, насмѣшливо уговаривалъ отказывающагося брата тѣмъ, что и Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ. Я сочувствовалъ тогда этимъ шуткамъ старшихъ и выводилъ изъ нихъ заключеніе о томъ, что учить катехизисъ надо, ходить въ церковь надо, но слишкомъ серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодымъ читалъ Вольтера, и насмѣшки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпаденіе мое отъ вѣры произошло во мнѣ такъ же, какъ оно происходило и происходитъ теперь въ людяхъ нашего склада образованія. Оно, какъ мнѣ кажется, происходитъ въ большинствѣ случаевъ такъ: люди живутъ такъ, какъ всѣ живутъ, а всѣ живутъ на основаніи началъ, не только не имѣющихъ ничего общаго съ вѣроученіемъ, но большею частью противоположныхъ ему; вѣроученіе не участвуетъ въ жизни, а въ сношеніяхъ съ другими людьми никогда не приходится сталкиваться съ нимъ и самому въ собственной жизни никогда не приходится справляться съ нимъ; вѣроученіе это исповѣдуется гдѣ-то тамъ вдали отъ жизни и независимо отъ нея; если сталкиваешься съ нимъ, то только какъ съ внѣшнимъ, не связаннымъ съ жизнью явленіемъ.

Сообщенное мнѣ съ дѣтства вѣроученіе исчезло во мнѣ такъ же, какъ и въ другихъ, съ той только разницей, что такъ какъ я съ 15 лѣтъ сталъ читать философскія сочиненія, то мое отреченіе отъ вѣроученія очень рано стало сознательнымъ. Я съ 16-ти лѣтъ пересталъ становиться на молитву и пересталъ по собственному побужденію ходить въ церковь и говѣть. Я не вѣрилъ въ то, что мнѣ было сообщено съ дѣтства, но я вѣрилъ во что-то. Во что я вѣрилъ, я никакъ не могъ бы сказать. Вѣрилъ я и въ Бога, или, скорѣе, я не отрицалъ Бога, но какого Бога, я не могъ бы сказать. Не отрицалъ я и Христа и Его ученіе, но въ чемъ было Его ученіе, я тоже не могъ-бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя — то, что, кромѣ животныхъ инстинктовъ, двигало моею жизнью, — единственная истинная вѣра моя въ то же время была вѣра въ совершенствованіе. Но въ чемъ было совершенствованіе и какая была цѣль его, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать свою волю, — составлялъ себѣ правила, которымъ старался

слѣдовать; совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствованіемъ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но скоро оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше предъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ людей, т. е. славнѣе, важнѣе, богаче другихъ».

И далѣе начинается то страшное покаяніе, которое, обличая грѣхи Льва Николаевича, въ то же время обличаетъ и вообще всякую душу человѣческую, въ большинствѣ случаевъ прошедшую черезъ эти же дебри разврата.

«Когда нибудь я разскажу исторію моей жизни — и трогательную и поучительную въ эти десять лѣтъ моей молодости. Думаю, что многіе и многіе испытали то же. Я всей душой желалъ быть хорошимъ; но я былъ молодъ, у меня были страсти, я былъ одинъ, совершенно одинъ, когда искалъ хорошаго. Всякій разъ, когда я пытался высказать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія, то — что я хочу быть нравственно хорошимъ, я встрѣчалъ презрѣніе и насмѣшки; а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ, меня хвалили и поощряли.

Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть, — все это уважалось. Отдаваясь этимъ страстямъ, я становился похожъ на большого, и я чувствовалъ, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистѣйшее существо, съ которой я жилъ, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужней женщиной: rien ne forme un jeune homme, comme une liaison avec une femme comme il faut; еще другого счастья она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ, и лучше всего у государя; и самаго большого счастья — того, чтобы я женился на очень богатой дѣвушкѣ и чтобы у меня, вслѣдствіе этой женитьбы, было какъ можно больше рабовъ.

Безъ ужаса, омерзенія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить, проигрывалъ въ карты, проѣдалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство... Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ человѣкомъ.

Такъ я жилъ десять лѣтъ». («Исповѣдь»).

Заканчивая періодъ юности Толстого, біографъ говоритъ: «И вотъ, среди всей этой бурной смѣны свѣтскихъ удовольствій, игры, припадковъ чувственности, увлеченій цыганами, охотой, вдругъ наступали періоды религіозности и смиренія. Такъ, съ усердіемъ исполняя обрядъ говѣнія, *) онъ сочиняетъ даже проповѣдь, конечно, оставшуюся непрочитанной...» Характеренъ этотъ фактъ для юности Толстого. Болѣе тревожнымъ симптомомъ, чѣмъ суетная грѣховная жизнь (могущая быть всегда омытою въ покаяніи предъ Богомъ) намъ представляется въ молодомъ Толстомъ этотъ его зачатокъ моральнаго учительства — посреди своего грѣха.

*

* *

Другимъ тревожнымъ симптомомъ его внутренней жизни, надо считать его «принципіальное оппозиціонерство» всему и всѣмъ. Многими замѣчается эта тоже характерная черта его юности: «Съ первой минуты я замѣчалъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій» (Фетъ «Воспоминанія»). «Какое бы мнѣніе ни высказывалось, и чѣмъ авторитетнѣе казался ему собесѣдникъ, тѣмъ настойчивѣе подзадоривало его высказать противоположное и начать рѣзаться на словахъ». (Д. В. Григоровичъ, т. XII, стр. 326).

Что черта эта у него осталась на всю жизнь, не излѣченная безплоднымъ его «антропософическимъ» покаяніемъ, видно изъ многихъ свидѣтельствъ и фактовъ. Напримѣръ, біографъ, говоря, что Л. Н. однимъ изъ первыхъ бросился въ общественную дѣятельность послѣ освобожденія крестьянъ, характерно оговаривается: «Л. Н. не былъ увлеченъ общимъ потокомъ возбужденій общественной жизни. Его самобытная непокорная природа не позволяла ему идти по теченію и заставила его выбирать новые особые пути». (Бир. I).

Наконецъ, третьимъ симптомомъ, трудно исправляемымъ на путяхъ только человѣческаго совершенствованія, была по свидѣтельству Тургенева, — «рано сказавшаяся черта, которая затѣмъ легла въ основаніе всего его (Толстого) довольно мрачнаго міросозерцанія, мучительнаго, прежде всего, для него самого. Онъ никогда не вѣрилъ въ искренность людей. Вся-

---

*) Говѣніе, конечно, ни въ какой мѣрѣ не есть «обрядъ»... Еще менѣе «обрядъ», чѣмъ писаніе «Исповѣди» Толстымъ. А. I.

кое душевное движеніе казалось ему фальшью, и онъ имѣлъ привычку необыкновенно проницательнымъ взглядомъ своихъ глазъ насквозь пронизывать человѣка, когда ему казалось, что онъ фальшивитъ».

Толстому казалось, что «люди, которыхъ мы считаемъ добрыми, только притворяются такими, или стараются проявлять въ себѣ такое качество, что они напускаютъ на себя увѣренность въ пользѣ взятыхъ на себя задачъ». (Евг. Гаршинъ, «Истор. Вѣстн.», ноябрь 1883).

*
* *

Религіозное реформаторство, къ которому приступилъ Толстой послѣ своего «переворота» 70—80-хъ годовъ, не было идеей, вдругъ ослѣпительно ему открывшейся, подобно видѣнію апостола на пути въ Дамаскъ. Мысль религіознаго учительства давно зрѣла въ его душѣ.

Біографъ приводитъ такое «пророчество Толстого о себѣ самомъ», записанное въ Дневникѣ отъ 5 марта 1855 г. (Убійственное пророчество, съ христіанской точки зрѣнія... Бирюковъ не чувствуетъ этой «убійственности»):

«Разговоръ о божествѣ и вѣрѣ, — пишетъ Толстой, — навелъ меня на великую, громадную мысль, осуществленію которой я чувствую себя способнымъ посвятить жизнь. Мысль эта — основаніе новой религіи, соотвѣтствующей развитію человѣчества, религіи Христа, но очищенной отъ вѣры и таинственности, религіи практической, не обѣщающей будущее блаженство, но дающей блаженство на землѣ. Привести эту мысль въ исполненіе, я понимаю, что могутъ только поколѣнія, сознательно работающія къ этой цѣли. Одно поколѣніе будетъ завѣщать мысль эту слѣдующему, и когда нибудь фанатизмъ или разумъ приведутъ его въ исполненіе. Дѣйствовать сознательно къ соединенію людей религіей — вотъ основаніе мысли, которая, надѣюсь, увлечетъ меня».

«Конечно, человѣку, написавшему эти строки пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ и впослѣдствіи съ такою силой положившему основаніе для осуществленія этой идеи, — такому человѣку было мѣсто не въ артиллеріи» — восклицаетъ біографъ.

Но, именно, такому человѣку было мѣсто болѣе въ артиллеріи, чѣмъ въ богословіи, или на кафедрѣ христіанства. Ибо то, что высказалъ молодой севастопольскій артиллеристъ, есть са-

мое откровенное антихристіанство, являющееся подъ видомъ религіи и привлекающее имя Христа ради большаго вліянія на людей, стремящихся ко Христу.

«... И увидѣлъ я», — говоритъ Тайновидецъ апостолъ Іоаннъ, созерцающій тайну антихристіанства, — «Звѣря, выходящаго изъ земли; онъ имѣлъ два рога, подобные агнчимъ, и говорилъ какъ драконъ» (Откровеніе, Гл. 13).

Эти бодающіе Кресты, скрытые рога, «подобные агнчимъ», Толстой до конца открылъ міру лишь послѣ своего отлученія. Весной 1901 г., въ бесѣдѣ съ проф. Полемъ Буайе, Толстой сказалъ:

«Къ Руссо были несправедливы, величіе его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочелъ всего Руссо, всѣ двадцать томовъ, включая «Словарь музыки». Я болѣе чѣмъ восхищался имъ — я боготворилъ его. Въ 15 лѣтъ я носилъ на шеѣ медальонъ съ его портретомъ вмѣсто натѣльнаго креста. Многія страницы его такъ близки мнѣ, что мнѣ кажется, я ихъ написалъ самъ» («Le Temps» 28 августа 1901 г.).

*
* *

4-го января 1857 года запись въ Дневникѣ Толстого:

«Я рѣшительно счастливъ все это время, упиваясь быстротой моральнаго движенія впередъ»...

Августъ мѣсяцъ 1857 г. посвященъ чтенію. Читалъ «двѣ замѣчательныя книги, Иліаду и Евангеліе». «И та и другая произвела на него сильное впечатлѣніе» — говоритъ біографъ. «Красота этихъ обѣихъ книгъ заставляетъ его жалѣть, что между ними нѣтъ связи».

Дневникъ. 1 февр. 1860 г. «Читалъ «La Dégénérescence de l'esprit humain» и о томъ, какъ есть физическая высшая степень развитія ума. Я въ этой степени машинально вспомнилъ молитву. Молиться кому? Что такое Богъ, представляемый себѣ такъ ясно, что можно просить его, сообщаться съ нимъ? Ежели я и представлялъ себѣ такого, то онъ теряетъ для меня всякое величіе».

«Богъ, котораго можно просить и которому можно служить — есть выраженіе слабости ума».

«13 октября 1860 г. Скоро мѣсяцъ, что Николинька умеръ.

Страшно оторвало меня отъ жизни это событіе. Опять вопросъ: зачѣмъ? Ужъ недалеко отъ отправленія туда. Куда? Никуда... Во время самыхъ похоронъ пришла мнѣ мысль написать матеріалистическое евангеліе, жизнь Христа-матеріалиста».

*

* *

Въ концѣ 70-хъ годовъ (1877) въ семью Толстого поступилъ учитель, начавшій преподавать математику Сергѣю Львовичу. Этотъ учитель — Василій Ивановичъ Алексѣевъ — разрушилъ въ Толстомъ и тѣ малыя, чисто внѣшнія связи съ Православной Церковью, которыя еще оставались у него, какъ слѣдствіе увлеченія православной внѣшней церковностью на народнической почвѣ. *)

«Я засталъ Л. Н—ча въ періодъ искренняго православія» — разсказываетъ Алексѣевъ. «Я же былъ тогда атеистомъ, и тоже откровеннымъ и искреннимъ. Какъ мнѣ казалось, однимъ изъ главныхъ мотивовъ этого православія было народничество Л. Н—ча, желаніе участвовать въ народной жизни, изучать, понимать ее и помогать ей. Тѣмъ не менѣе, въ бесѣдахъ со Л. Н—чемъ я нерѣдко выражалъ ему мое удивленіе, какъ онъ со своимъ развитіемъ, пониманіемъ и искренностью могъ посѣщать церковь, молиться, соблюдать обряды. Помню, какъ одинъ изъ такихъ разговоровъ происходилъ въ гостиной яснополянскаго дома въ одинъ ясный морозный день. Л. Н—чъ сидѣлъ противъ окна, замерзшаго и пропускавшаго сквозь узоры мороза косые лучи заходящаго солнца... Выслушавъ меня, Л. Н. сказалъ: «Вотъ, посмотрите на эти узоры, освѣщенные солнцемъ. Мы видимъ только изображеніе солнца на этихъ узорахъ, но знаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что за этими узорами есть гдѣ-то далекое, настоящее солнце, источникъ того свѣта, который и производитъ видимую нами картину. Народъ въ религіи видитъ только это изображеніе, а я смотрю дальше и вижу, или, по крайней мѣрѣ знаю, что есть самый источникъ свѣта. И эта разница нашего отношенія не мѣшаетъ нашему общенію: мы оба смотримъ на это изображеніе солнца, только разумъ нашъ до различной глубины проникаетъ его».

---

*) Характерно, что біографъ Толстого приписываетъ Алексѣеву «сильное благотворное вляніе на Л. Н-ча» (Даже говоритъ: «это можно смѣло утверждать»).

«Но я замѣчалъ, что время отъ времени въ его душу закрадывалось чувство неудовлетворенія. Разъ, возвратясь изъ церкви, онъ, обращаясь ко мнѣ сказалъ: «Нѣтъ, не могу, тяжело; стою я между ними, слышу, какъ хлопаютъ ихъ пальцы по полушубку, какъ они крестятся и въ то же самое время сдержанный шопотъ бабъ и мужиковъ о самыхъ обыденныхъ предметахъ, не имѣющихъ никакоко отношенія къ службѣ. Разговоръ о хозяйствѣ мужиковъ, бабьи сплетни ,передаваемыя шопотомъ другъ другу въ самыя торжественныя минуты богослуженія, показываютъ, что они совершенно безсознательно относятся къ нему». Я, конечно, относился къ совершавшемуся въ немъ процессу со всевозможнѣйшей деликатностью и только тогда, когда онъ спрашивалъ меня, откровенно выражалъ свое мнѣніе.

Иногда у насъ заводились разговоры и на экономическія и соціальныя темы. У меня было евангеліе, сохранившееся отъ времени пропаганды соціализма въ народѣ. Въ немъ были подчеркнуты всѣ мѣста, касающіяся соціальныхъ вопросовъ, и я нерѣдко указывалъ Л. Н—чу на эти мѣста евангелія.

Постоянная внутренняя работа не давала Л. Н—чу покоя и, наконецъ, довела его до кризиса.

Помню одинъ эпизодъ, бывшій проявленіемъ этой внутренней душевной борьбы.

Будучи православнымъ, Л. Н. соблюдалъ посты. Графиня С. А. тоже соблюдала и заставляла ѣсть постное и своихъ дѣтей. Когда она стала замѣчать въ Л. Н—чѣ колебаніе, она усилила строгость поста, такъ что всѣ въ домѣ ѣли постное, кромѣ меня и гувернера француза M. Nief'a. Я говорилъ графинѣ, что хотя я и не соблюдаю постовъ, но могу ѣсть все, что подаютъ, но она всегда приказывала готовить намъ, двумъ учителямъ, скоромное. И вотъ разъ всѣмъ подали постное, а намъ какія-то вкусныя скоромныя котлеты. Мы взяли и лакей отставилъ блюдо на окно. Л. Н., обращаясь къ сыну, сказалъ: «Ильюша, а дай ка мнѣ котлетъ». Сынъ подалъ, и Л. Н. съ аппетитомъ съѣлъ скоромную котлету и съ тѣхъ поръ пересталъ поститься».

Эта котлета, съѣденная за яснополянскимъ столомъ, была рубикономъ, который Толстой съ рѣшительностью наконецъ перешагнулъ предъ глазами всей семьи, этимъ самымъ и внѣшне оторвавшись отъ жизни церковной.

Найдя *свою* религію, Толстой опять перестанетъ ѣсть мясо. . . Но это новое воздержаніе уже будетъ не единеніемъ съ семьей, не смиреніемъ передъ Церковью, и — не въ память страданій и Голгоѳы Спасителя; но во имя убиваемыхъ животныхъ.

Этотъ постъ будетъ уже легокъ, для Льва Николаевича, и останется однимъ изъ главныхъ выраженій его религіи.

*

* *

Зимой 1878—79 года Л. Н—чъ, «уже просвѣщенный вѣрою» (слова Бирюкова), писалъ свою Исповѣдь... Все болѣе и болѣе спадалъ съ шеи Льва Николаевича Крестъ, и все болѣе и болѣе обозначалась на его шеѣ икона Звѣря «съ рогами какъ у агнца».

Въ этотъ періодъ (конецъ 70-хъ годовъ) Толстой былъ, повидимому, окончательно «избранъ»... Это не могло не совпасть съ его и внѣшнимъ уходомъ изъ Православной Церкви, и — возстаніемъ противъ нея.

Мечты юности, теперь, благодаря все возрастающей извѣстности его имени, могли быть осуществлены... То, что задумалъ молодой офицеръ въ Севастополѣ («основаніе новой религіи, соотвѣтствующей развитію человѣчества, религіи Христа, но очищенной отъ вѣры и таинственности, религіи практической, не обѣщающей будущаго блаженства, но дающей блаженство на землѣ»...), что осѣнило душу Толстого на похоронахъ Николеньки (созданіе матеріалистическаго евангелія, «жизни Христа-матеріалиста») — это все могло быть теперь осуществлено!

Наступило время — воплотить давно задуманное и лелѣемое, что должно упасть, какъ громъ, на человѣчество, и пробудить его. Онъ, Толстой, можетъ и долженъ быть міровымъ рупоромъ, возвѣщающимъ человѣчеству новую эру счастливой жизни.

Левъ Николаевичъ захваченъ и подавленъ величіемъ выпадающей на него задачи. Нѣтъ ничего и никого, кто бы могъ его удержать отъ задуманнаго... «Левочка теперь совсѣмъ ушелъ въ свое писаніе. У него остановившіеся страшные глаза, онъ почти ничего не разговариваетъ, совсѣмъ сталъ не отъ міра сего и о житейскихъ дѣлахъ рѣшительно неспособенъ думать» (Письмо гр. С. А. къ сестрѣ отъ 8 ноября 1878 г.).

Лѣтомъ 1879 г. онъ совершаетъ поѣздку въ Кіево-Печерскую лавру. «Кіевъ очень притягиваетъ меня» (изъ его письма отъ 13 іюня). «Все утро до 3-хъ ходилъ по соборамъ, пещерамъ, монахамъ и очень недоволенъ поѣздкой. Не стоило того. Въ 7 час. пошелъ въ Лавру, къ схимнику Антонію и нашелъ мало поучи-

тельнаго» (14 іюня)... Поѣздка въ Кіевъ, это — оттачиваніе оружія, которое скоро должно вонзиться въ Тѣло Церкви.

Въ іюлѣ Толстой пишетъ Фету: «Мнѣ бы очень хотѣлось быть твердо увѣреннымъ въ томъ, что я даю людямъ больше того, что получаю отъ нихъ». Поѣздка въ Кіевъ укрѣпила Толстого въ этой мысли.

«Левочка все работаетъ, какъ онъ выражается; но увы! — онъ пишетъ какія-то религіозныя разсужденія, читаетъ и думаетъ до головныхъ болей, и все это, чтобы показать, что церковь не сообразна съ ученіемъ Евангелія», — пишетъ къ сестрѣ Софья Андреевна и добавляетъ: «Едва ли въ Россіи найдется десятокъ людей, которые этимъ будутъ интересоваться. Но дѣлать нечего, я одно желаю, чтобы ужъ онъ поскорѣе это кончилъ и чтобы прошло это, какъ болѣзнь. Имъ владѣть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто въ мірѣ не можетъ, даже онъ самъ въ этомъ не властенъ» (Архивъ Т. А. Кузминской). Удивительно, какъ вѣрно угадываетъ сердце жены то, что происходитъ въ мужѣ... «даже онъ самъ въ этомъ не властенъ»...

*
* *

Титаническая работа, вставшая предъ Толстымъ — борьба съ двухтысячелѣтнимъ вѣрованіемъ [redacted] милліардовъ людей, — менѣе всего могла смутить его. Онъ кипѣлъ паѳосомъ борьбы. Онъ беретъ «Пространное изложеніе Православнаго Богословія» митр. моск. Макарія и подвергаетъ его уничижительной критикѣ; — не научно-богословской (для этого онъ не образованъ богословски), не аскетико-мистической (для этого у него нѣтъ никакого духовнаго опыта), но критикѣ «простого здраваго смысла»... Не трудно понять, что это былъ за «здравый смыслъ»!

Противъ богословскихъ истинъ Церкви, Толстой, конечно, ничего, по существу, возразить не можетъ; «здравый смыслъ» его потому не имѣетъ никакой религіозной убѣдительности для людей безпристрастныхъ, не питающихъ предъ Толстымъ никакого религіознаго благоговѣнія, каковое имѣли его послѣдователи П. И. Бирюковъ, М. А. Шмидтъ и другіе толстовцы, такъ же безраздѣльно вѣрившіе религіозной интуиціи Толстого, какъ его художественной интуиціи.

Дискредитируя православное богословіе изъ области чисто

литераторской, въ которой онъ спеціалистъ, Толстой прибѣгаетъ къ такому, въ сущности, ничего не доказывающему (изъ того, что онъ хочетъ доказать) пріему: онъ возмущенъ стилемъ, выраженіями систематически-научнаго богословскаго труда. Не чувствуя въ этомъ стилѣ «литературной живости» и сердечной интимности, Толстой разражается, противъ истинъ, выраженныхъ въ этомъ трудѣ, пророческимъ негодованіемъ.

«Я читалъ такъ называемыя кощунственныя сочиненія Вольтера, Юма, но никогда я не испытывалъ того несомнѣннаго убѣжденія въ полномъ безвѣріи человѣка, какъ то, которое я испытывалъ относительно составителей катехизисовъ и богословія. Читая въ этихъ сочиненіяхъ приводимыя изъ апостоловъ и такъ называемыхъ отцовъ церкви тѣ самыя выраженія, изъ которыхъ слагается богословіе, видишь, что это выраженіе людей вѣрующихъ, слышишь голосъ сердца, несмтря на неловкость, грубость, иногда даже ложность выраженій; когда же читаешь слова составителя, то ясно видишь, что составителю и дѣла нѣтъ до сердечнаго смысла приводимаго имъ выраженія, онъ не пытается даже понимать его. Ему нужно только случайно попавшееся слово, для того, чтобы прицѣпить къ этимъ словамъ мысль апостола къ выраженію Моисея или новаго отца церкви. Ему нужно только составить сводъ такой, при которомъ бы казалось, что все написанное въ такъ называемыхъ священныхъ книгахъ и у всѣхъ отцовъ Церкви, написано только затѣмъ, чтобы оправдать символъ вѣры. И я понялъ, наконецъ, что все это не только ложь, но обманъ людей невѣрующихъ, сложившійся вѣками и имѣющій опредѣленную и низменную цѣль».

Читая эти фразы столь удивительно не похожія, по стилю, на Толстого, (гораздо болѣе близкія къ Ярославскому), невольно спрашиваешь себя: «Да самъ ли онъ писалъ это?!»

Не только не-правда, но — прямая неправда раскрывается въ его утвержденіи, которое онъ, по словамъ Бирюкова, высказалъ, «чтобы не быть заподозрѣннымъ въ предвзятомъ отрицательномъ отношеніи къ Церкви»: «Я не говорю того, — сказалъ Толстой — что я не вѣрю въ святость и непогрѣшимость Церкви. Я даже въ то время, какъ началъ это изслѣдованіе, вполнѣ вѣрилъ въ нее, въ одну ее (казалось мнѣ) вѣрилъ».

Какъ искренній Толстой могъ сказать такую вещь? Психологически, это загадка. Вѣдь хорошо извѣстно, въ какомъ духѣ онъ началъ и все время велъ свои религіозныя изслѣдованія.

«Итакъ, Левъ Николаевичъ разстался съ православной церковью», говоритъ Бирюковъ. Мы видѣли, что онъ никогда къ

Ней внутренне не принадлежалъ. Могъ же внѣшне считать себя въ Ней — до отлученія — только благодаря той грѣховности и ненормальной степени связи Государства и Церкви, когда тысячи безбожниковъ называли себя «православными», и офиціально числились ими, а офицеры, солдаты, чновники, учащіеся, брачущіеся, независимо отъ ихъ вѣры и желанія, насильственно принуждались къ — часто совсѣмъ безвѣрному — принятію Св. Христовыхъ Тайнъ, «въ судъ и во осужденіе», какъ себѣ, такъ и священникамъ и епископамъ, «повѣдавшимъ Тайну» Христа врагамъ Его Истины.

«Мнѣ стало приходить въ голову», — пишетъ Левъ Николаевичъ, «что можно, что особенно важно для единенія съ китайцами, съ конфуціанами, съ буддистами и нашими безбожниками, агностиками, — совсѣмъ обойти это понятіе (Бога). Думалъ я, что можно удовольствоваться однимъ понятіемъ и признаніемъ того Бога, который есть во мнѣ, не признавая Бога въ самомъ себѣ, — того, который вложилъ въ меня частицу себя. И удивительное дѣло — мнѣ вдругъ стало становиться скучно, уныло, страшно. Я не зналъ, отчего это, но почувствовалъ, что вдругъ страшно духовно упалъ, лишился всякой радости и энергіи духовной. И тутъ только я догадался, что это произошло оттого, что я ушелъ отъ Бога. И я сталъ думать — странно сказать — сталъ гадать, есть ли Богъ или нѣтъ Его, и, какъ будто вновь нашелъ Его».

«Такія сомнѣнія, — свидѣтельствуетъ Т. И. Полнеръ — Толстой образно приписываетъ «уловленію діавола», въ котораго, впрочемъ, онъ не вѣрилъ»...

«Діаволу» Толстой приписываетъ сомнѣніе въ истинности своего пути, — то единственное, въ его сомнѣніяхъ, что можно отнести къ благодати Божьей.

*

* *

Сочиненіе Толстымъ новаго евангелія закончилось къ 1881 году, когда на всю Россію прогремѣлъ взрывъ, убившій Государя Александра II.

Какъ разъ предъ этимъ Толстой свершилъ свое Богочеловѣко-убійство, — предъ глазами всѣхъ отвергъ Воскресшаго и смерть Побѣдившаго Христа — Богочеловѣка, и принялъ мертваго Христа, «человѣка, какъ мы», имѣвшаго моральныя сла-

бости, умершаго, и — никого никакъ не могущаго, конечно, спасти Своей силой отъ вѣчной смерти... И тѣмъ началась «обновленная» жизнь новаго учителя міра.

Обновленный Толстой будетъ цѣлыхъ 20 лѣтъ извергать многія и всевозможныя непристойности на Живого Бога и Сына Божія, на Церковь, на всѣхъ святыхъ, ожесточаясь все болѣе и болѣе, а потомъ успокаиваясь въ своей правотѣ, славѣ и неприкосновенности... Доколѣ не прогремитъ съ апостольскихъ каѳедръ русскаго епископата — священное и праведное отлученіе.

За одно это дѣло ревности и учительнаго пастырскаго долга — многое простится, сильно виновнымъ въ духовномъ бездѣйствіи, русскимъ іерархамъ.

Мы — православное священство и іерархія русской Церкви, — безмѣрно грѣшны въ своемъ нерадѣніи о спасеніи русскаго человѣка и отвѣтственны болѣе, чѣмъ кто либо за то, что произошло и происходитъ нынѣ съ нимъ.

Виновностью Льва Толстого и виновностью всѣхъ тѣхъ, кого мы нынѣ зовемъ «большевиками» и «комсомольцами», какъ и виновностью всего русскаго народа, мы не оправдаемся... Мы виновны болѣе всѣхъ и глубже всѣхъ.

Намъ «дано», (и было «дано» въ православной Россіи) очень много, — много съ насъ взыщется. За многое (за что и не думаемъ) отвѣтимъ, если не возгоримся покаяннымъ и дѣятельнымъ огнемъ ревности духа, видя въ нашемъ саду плевелы и цвѣты зла.

«Евангеліе» Толстого, было такимъ же взрывомъ, какимъ былъ взрывъ 1-го марта 1881 года... Тотъ, — Желябовскій, Перовскій, — былъ предупрежденіемъ, прежде всего, правителямъ Россіи. Этотъ — толстовскій взрывъ — былъ такимъ же предупрежденіемъ — іерархамъ и всему священству Церкви.

«Левъ Толстой рѣшился опровергнуть дѣйствительность библейскихъ и Евангельскихъ сказаній, на которыя опирается вся христіанская вѣра, и назвать ихъ баснями и сказками. Юношество, свѣтскіе и военные многіе-многіе, весьма недалекіе въ познаніи основъ вѣры, повѣрили Толстому и сдѣлались безбожниками, для коихъ нѣтъ ничего святого. А кто можетъ постоять за свою вѣру, тѣ молчатъ или просто спятъ. Все дремлетъ и спитъ» (Созерцательный Дневникъ о. Іоанна Кронштадтскаго).

. . . .

Замыселъ геніальнаго художника Михайлова оставался отъ многихъ скрытъ. Его не понимали такіе цѣнители русскаго искусства, какъ Анна Каренина, Вронскій...

Однако открыть его не представляло трудности.

«Одно, что можно сказать, если вы позволите сдѣлать это замѣчаніе... — замѣтилъ Голенищевъ.

— Ахъ, я очень радъ и прошу васъ, — сказалъ Михайловъ, притворно улыбаясь.

— Это то, что Онъ у васъ человѣкобогъ, а не Богочеловѣкъ. Впрочемъ, я знаю, что вы этого и хотѣли.

— Я не могъ писать того Христа, Котораго у меня нѣтъ въ душѣ, — сказалъ Михайловъ мрачно». *)

*) «Анна Каренина» ч. V.

ВЪ ЦВѢТНИКѢ

Развитіе добра и ростъ зла есть самая глубокая тайна человѣческой души. Ростъ добра, предполагаетъ ли исчезновеніе зла? Или зло можетъ расти рядомъ съ добромъ въ душѣ человѣка?

Евангельская и естественная морфологія допускаетъ возможность роста пшеницы и плевеловъ рядомъ, на одной землѣ. Въ одной и той же душѣ человѣческой возникаютъ самостныя, грѣховныя и гордыя желанія «рядомъ» съ дыханіемъ Святого Духа, съ Его «воздыханіями неизглаголанными».

Человѣкъ на землѣ живетъ въ испытаніи своей метафизической свободы.

Лишь ангелы и достигшіе полнаго сердечнаго очищенія люди освобождены отъ этой «первичной» свободы произволенія и укоренены уже не въ свободѣ избранія — выбора, а въ свободѣ, освобожденности отъ зла, отъ грѣха, отъ несовершенства.

Ангелы и небесные святые неудободвижны ко злу. Всякій же человѣкъ «удободвиженъ» ко злу; даже — легкодвиженъ, несмотря на защиту Свыше. Одна только метафизическая самость, замкнутость въ себя отлучаетъ отъ Свѣта.

«Я самъ хочу итти» — кричитъ ребенокъ-человѣкъ, вырываясь изъ рукъ матери своей. «Ну что жъ, попробуй, иди», говоритъ Мать (Благодать Божія) послѣ безуспѣшныхъ отговоровъ и предупрежденій о возможности паденія. И вырывается ребенокъ изъ ея рукъ, бѣжитъ и падаетъ.

Благо ему, если потянется опять онъ къ любящимъ рукамъ Матери.

Нечувствіе вопіющей и непрестанной необходимости въ помощи свыше, невѣріе въ дары Благодати — одинъ изъ признаковъ непросвѣтленности человѣка.

Александра Андреевна очень вѣрно опредѣлила метафизическое направленіе всей жизни Толстого: «отрицаніе» въ немъ

«проявилось очень рано и развивалось параллельно съ его лучшими дарованіями».

«Отрицаніе», — есть опредѣленіе комплекса зла.

«Лучшія дарованія», это — искренность, задатки добра, правдивости; и — талантъ слова, великой художественной интуиціи.

Любовь къ моральному совершенствованію въ добрѣ, этическая плѣненность Нагорной Проповѣдью простирали душу Льва Николаевича къ Богу Невѣдомому, а нераскаянный предъ Богомъ (несмотря на всѣ покаянія предъ собой и предъ людьми) грѣхъ возвышалъ стѣну межъ Богомъ и душой.

Какъ рыба на пескѣ, лежащая у самой воды, Толстой хваталъ религіозныя мысли и чувства судорожными движеніями своего духовнаго рта, духа замкнутаго въ себя, себя обоготворившаго (я — «часть Бога»).

И — не сходилъ въ купель Жизни Христовой, для своего всежизненнаго крещенія. Не имѣя воды, творилъ ее въ мысли, художественно воображалъ ее своей интуиціей. Мучительно сочинялъ содержаніе добра и истины. Но — не было успокоенія...

*
* *

Съ 80-хъ годовъ Толстой все болѣе и болѣе, отходитъ отъ художественной литературы.

Всѣ, истинно любящіе его, совѣтуютъ ему — не отходить. Многіе умоляютъ...

Лежащій на смертномъ одрѣ Тургеневъ, почти изъ потустороння го міра, пишетъ, столь понимающее путь Толстого письмо. Это былъ тоже ангельскій голосъ, твердо и нѣжно говорившій Толстому волю Божію:

«Буживаль, 27 или 28 іюня 1883 г.

Милый и дорогой Левъ Николаевичъ! Долго Вамъ не писалъ, ибо былъ и есмь, говоря прямо, на смертномъ одрѣ. Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ, собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности. Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, если бы могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!... Я же человѣкъ конченный, доктора даже

не знаютъ, какъ назвать мой недугъ, neuralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни ѣсть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это. Другъ мой, великій писатель русской земли, внемлите моей просьбѣ. Дайте мнѣ знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ крѣпко, крѣпко обнять васъ, вашу жену, всѣхъ вашихъ... Не могу больше... Усталъ».

Какъ реагировалъ на это письмо Толстой?

«... Для Л. Н—ча вопросъ о возвращеніи и не-возвращеніи къ литературной дѣятельности или вовсе не существовалъ, — говоритъ Бирюковъ — или былъ гораздо глубже и шире, и не могъ вмѣститься въ узкую рамку исполненія дружеской просьбы, и потому, вернувшись съ кумыса и прочитавъ письмо Тургенева, онъ не въ состояніи былъ скоро отвѣтить ему».

*
* *

Въ это время, Толстой увлекается тверскимъ крестьяниномъ — Сютаевымъ.

«Были въ Торжкѣ у Сютаева. Утѣшеніе», — записываетъ Толстой.

О Сютаевыхъ Левъ Николаевичъ узналъ въ Самарѣ отъ Пругавина. Сынъ Сютаевъ отказался отъ воинской повинности, отбывалъ наказаніе въ дисциплинарномъ батальонѣ. Толстой захотѣлъ посѣтить отца и поѣхалъ въ Тверскую губернію. Семья Сютаевыхъ не только не дѣлилась, но подчеркивала свой домашній коммунизмъ. «Даже бабьи сундуки у насъ общіе» — сказалъ Льву Н—чу самъ Сютаевъ. На невѣсткѣ Сютаева былъ надѣтъ платокъ... «Ну, а платокъ у тебя свой?» спросилъ Л. Н—чъ, желая провести границу межъ общимъ и личнымъ имуществомъ. «А вотъ и нѣтъ, — отвѣчала невѣстка, — платокъ не мой, а матушкинъ, свой не знаю, куда дѣвала».

Свадьба въ этомъ домашнемъ колхозѣ Сютаева обходилась безъ Божьяго благословенія, — собирались, старикъ давалъ наставленіе, какъ жить, потомъ стлали постель, клали молодыхъ спать и тушили огонь, — «вотъ и вся свадьба», заканчивалъ это краткое описаніе Сютаевъ. Нечего говорить, что такая простота жизни и отталкиваніе отъ Церкви взволновали Толстого... Онъ чувствовалъ, что здѣсь, въ селѣ Шавелинѣ, дѣлается большое, радикальное и нужное для русскаго народа дѣло.

Сютаевъ сталъ вскорѣ появляться въ Москвѣ и проповѣдывалъ въ Хамовникахъ у Толстыхъ. Имъ заинтересовались въ нѣ-

которыхъ кругахъ московскаго прогрессивнаго общества. Его успѣхъ былъ нѣсколько подобенъ успѣху другого, болѣе, конечно, талантливаго русскаго самородка въ поддевкѣ, появившагося въ литературныхъ кружкахъ Москвы предъ войной: Сергѣя Есенина.

При отъѣздѣ Толстого изъ Сютаевской деревни Шавелино, произошелъ слѣдующій эпизодъ, почти символическій. «Сютаевъ запрягъ лошадку въ телѣгу, чтобы проводить Л. Н—ча до Бакунина. Кнута для понуканія лошади Сютаевъ не употреблялъ. Они поѣхали и разговаривали и такъ были увлечены мечтами о наступленіи Царства Божія на землѣ, что не замѣтили, какъ лошадь завезла ихъ въ оврагъ, телѣга опрокинулась, и они оба вывалились» (Бир.).

*

* *

«Всѣ почти мои прежнія писанія прежнихъ лѣтъ, кромѣ Евангелія и нѣкоторыхъ, мнѣ не нравятся по своей недобротѣ. Не хочется давать ихъ», скажетъ Левъ Николаевичъ чрезъ 20 лѣтъ.

Теперь — онъ только отталкивается отъ своего «недобраго» литературнаго дѣла.

Какія же это «прежнія писанія» не будутъ ему нравиться и уже не нравятся «по своей недобротѣ»? .. Тѣ, которыя написаны имъ безъ всякаго участія религіозной раціональности; только по художественному вдохновенію.

. . . .

«Наступилъ послѣдній день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Какъ и въ обыкновенныя воскресенья, благовѣстили къ обѣднѣ во всѣхъ церквахъ. Никто, казалось, еще не могъ понять того, что ожидаетъ Москву...

Въ степенномъ и старомъ домѣ Ростовыхъ распаденіе прежнихъ условій жизни выразилось очень слабо. Въ отношеніи людей было только то, что въ ночь пропало три человѣка изъ огромной дворни, но ничего не было украдено; въ отношеніи цѣнъ вещей оказалось то, что 30 подводъ, пришедшія изъ деревень, были огромное богатство, которому многіе завидовали и за которыя Ростовымъ предлагали огромныя деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромныя деньги, съ вечера и рано утромъ 1-го сентября на дворъ къ Ростовымъ приходили посланные денщики и слуги отъ раненыхъ офицеровъ и притаскивались сами

раненые, помѣщенные у Ростовыхъ и въ сосѣднихъ домахъ, и умоляли людей Ростовыхъ похлопотать о томъ, чтобы имъ дали подводъ для выѣзда изъ Москвы. Дворецкій, къ которому обращались съ такими просьбами, хотя и жалѣлъ раненыхъ, рѣшительно отказывалъ, говоря, что онъ даже и не посмѣетъ доложить о томъ графу. Какъ ни жалки были остающіеся раненые, было очевидно, что отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, всѣ, — отдать и свои экипажи. Тридцать подводъ не могли спасти всѣхъ раненыхъ, а въ общемъ бѣдствіи нельзя было не думать о себѣ и своей семьѣ. Такъ думалъ дворецкій за своего барина.

Проснувшись утромъ 1-го числа, графъ Илья Андреевичъ потихоньку вышелъ изъ спальни, чтобы не разбудить къ утру только заснувшую графиню, и въ своемъ лиловомъ шелковомъ халатѣ вышелъ на крыльцо. Подводы увязанныя стояли на дворѣ. У крыльца стояли экипажи. Дворецкій стоялъ у подъѣзда, разговаривая съ старикомъ-денщикомъ и молодымъ блѣднымъ офицеромъ съ подвязанной рукой. Дворецкій, увидавъ графа, сдѣлалъ офицеру и денщику значительный и строгій знакъ, чтобы они удалились.

Ну, что, все готово, Васильичъ? — сказалъ графъ, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая имъ головой. (Графъ любилъ новыя лица).

— Хоть сейчасъ запрягать, ваше сіятельство.

— Ну, и славно, вотъ и графиня проснется, и съ Богомъ! Вы что, господа? — обратился онъ къ офицеру. — У меня въ домѣ?

Офицеръ придвинулся ближе. Блѣдное лицо его вспыхнуло вдругъ яркой краской.

— Графъ, сдѣлайте одолженіе, позвольте мнѣ... ради Бога... гдѣ-нибудь пріютиться на вашихъ подводахъ. Здѣсь у меня ничего съ собой нѣтъ... Мнѣ на возу, все равно...

Еще не успѣлъ договорить офицеръ, какъ денщикъ съ той же просьбой для своего господина обратился къ графу.

— Ахъ, да, да, да, — поспѣшно заговорилъ графъ. Я очень радъ, очень радъ. Васильичъ, ты распорядись ну тамъ очистить одну или двѣ телѣги, ну тамъ что же... что нужно... — какими-то неопредѣленными выраженіями, что-то приказывая, сказалъ графъ.

Но въ то же мгновеніе горячее выраженіе благодарности уже закрѣпило то, что онъ приказывалъ. Графъ оглянулся вокругъ себя: на дворѣ, въ воротахъ, въ окнѣ флигеля виднѣлись раненые и денщики. Всѣ они смотрѣли на графа и подвигались къ крыльцу.

Пожалуйте, ваше сіятельство, въ галлерею: тамъ какъ прикажете насчетъ картинъ? — сказалъ дворецкій.

И графъ вмѣстѣ съ нимъ вошелъ въ домъ, повторяя свое приказаніе о томъ, чтобы не отказывать раненымъ, которые просятся ѣхать.

— Ну что же, можно сложить что-нибудь, — прибавилъ онъ тихимъ, таинственнымъ голосомъ, какъ будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышалъ.

Въ 9 часовъ проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ея горничная, исполнявшая въ отношеніи графини должность шефа жандармовъ, пришла доложить своей бывшей барышнѣ, что Марья Карловна очень обижена и что барышнинымъ лѣтнимъ платьямъ нельзя остаться здѣсь. На разспросы графини, почему м-мъ Шоссъ обижена, открылось, что ея сундукъ сняли съ подводы, и всѣ подводы развязываютъ, добро снимаютъ и набираютъ съ собой раненыхъ, которыхъ графъ, по своей простотѣ, приказалъ забирать съ собой. Графиня велѣла попросить къ себѣ мужа.

— Что это, мой другъ, я слышу, вещи опять снимаютъ?

— Знаешь, ma chère, я вотъ что хотѣлъ сказать... ma chère графинюшка... ко мнѣ приходилъ офицеръ, просятъ, чтобъ дать нѣсколько подводъ подъ раненыхъ. Вѣдь это все дѣло наживное; а каково имъ оставаться, подумай!.. Право, у насъ на дворѣ, сами мы ихъ зазвали, офицеры тутъ есть... Знаешь, думаю, право ma chère, вотъ, ma chère пускай ихъ свезутъ... куда же торопиться?

Графъ робко сказалъ это, какъ онъ всегда говорилъ, когда дѣло шло о деньгахъ. Графиня же привыкла уже къ этому тону, всегда предшествовавшему дѣлу, разорявшему дѣтей, какъ какая-нибудь постройка галлереи, оранжереи, устройство домашняго театра или музыки, и привыкла, и долгомъ считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этимъ робкимъ тономъ.

Она приняла свой покорно-плачевный видъ и сказала мужу:

— Послушай, графъ, ты довелъ до того, что за домъ ничего не даютъ, а теперь и все наше — дѣтское — состояніе погубить хочешь. Вѣдь ты самъ говоришь, что въ домѣ на 100 тысячъ добра. Я, мой другъ ,не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненыхъ есть правительство. Они знаютъ. Посмотри: вонъ напротивъ, у Лопухиныхъ, еще третьяго дня все дочиста вывезли. Вотъ какъ люди дѣлаютъ. Одни мы дураки. Пожалѣй хоть не меня, такъ дѣтей.

Графъ замахалъ руками и, ничего не сказавъ, вышелъ изъ комнаты.

— Папа, о чемъ вы это? — сказала ему Наташа, вслѣдъ за ними вошедшая въ комнату матери.

— Ни о чемъ! Тебѣ что за дѣло! — сердито проговорилъ графъ:

— Нѣтъ, я слышала, — сказала Наташа. — Отчего же маменька не хочетъ?

— Тебѣ что за дѣло! — крикнулъ графъ.

Наташа отошла къ окну и задумалась. . .»

Въ душѣ Наташи что то стало совершаться.

« . . . На крыльцѣ стоялъ Петя, занимавшійся вооруженіемъ людей, которые ѣхали изъ Москвы. На дворѣ все такъ же стояли заложенныя подводы. Двѣ изъ нихъ были развязаны, и на одну изъ нихъ взлѣзалъ офицеръ, поддерживаемый денщикомъ.

— Ты знаешь за что? — спросилъ Петя Наташу.

Наташа поняла, что Петя разумѣлъ, за что поссорились отецъ съ матерью. Она не отвѣчала.

— За то, что папенька хотѣлъ отдать всѣ подводы подъ раненыхъ, — сказалъ Петя. — Мнѣ Васильичъ сказалъ. По-моему. . .

— По-моему, — вдругъ закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное (здѣсь, намъ кажется, лучше было-бы сказать — «негодующее» или «искривленное». А. I.) лицо къ Петѣ, — по моему это такая гадость, такая мерзость, такая. . . я не знаю. Развѣ мы нѣмцы какіе-нибудь? . .

Горло ея задрожало отъ судорожныхъ рыданій, и она, боясь ослабѣть и выпустить зарядъ своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лѣстницѣ.

Бергъ сидѣлъ подлѣ графини и родственно-почтительно утѣшалъ ее. Графъ съ трубкой въ рукахъ ходилъ по комнатѣ, когда Наташа съ изуродованнымъ злобой *) лицомъ, какъ буря, ворвалась въ комнату и быстрыми шагами подошла къ матери:

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не можетъ быть, чтобы вы приказали:

Бергъ и графиня недоумѣвающе и испуганно смотрѣли на нее. Графъ остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя: посмотрите, что на дворѣ! — закричала она. Они остаются! . .

— Что съ тобой? Кто они? Что тебѣ надо?

— Раненые, вотъ кто! Это нельзя, маменька; это ни на что

---

*) Не злоба, конечно, была въ Наташѣ, а неистовое негодованіе. Злоба — всегда темна. Негодованіе можетъ быть свѣтлымъ. (А. I.)

не похоже... Нѣтъ, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну, что намъ то, что мы увеземъ; вы посмотрите только, что на дворѣ... Маменька!.. Это не можетъ быть!

Графъ стоялъ у окна и, не поворачивая лица, слушалъ слова Наташи. Вдругъ онъ засопѣлъ носомъ и приблизилъ свое лицо къ окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ея пристыженное за мать лицо, увидала ея волненіе, поняла, отчего мужъ теперь не оглядывался на нее, и съ растеряннымъ видомъ, оглянулась вокругъ себя.

— Ахъ, да дѣлайте, какъ хотите! Развѣ я мѣшаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдругъ сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня!..

Но графиня оттолкнула дочь и подошла къ графу.

— Mon cher, ты распорядись, какъ надо... Я вѣдь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учатъ... — сквозь счастливыя слезы проговорилъ графъ и обнялъ жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. — спрашивала Наташа. — Мы все-таки возьмемъ все самое нужное... — говорила Наташа.

Графъ утвердительно кивнулъ ей головой, и Наташа тѣмъ быстрымъ бѣгомъ, которымъ она бѣгивала въ горѣлки, побѣжала по залѣ въ переднюю и по лѣстницѣ на дворъ».

Началось преображеніе міра.

«Люди собрались около Наташи и до тѣхъ поръ не могли повѣрить тому странному приказанію, которое она передавала, пока самъ графъ именемъ своей жены не подтвердилъ приказанія о томъ, чтобы отдавать всѣ подводы подъ раненыхъ, а сундуки сносить въ кладовыя. Понявъ приказаніе, люди съ радостью и хлопотливостью принялись за новое дѣло. Прислугѣ теперь это не только не казалось страннымъ, но напротивъ, казалось, что не могло быть иначе, точно такъ же, какъ за четверть часа передъ этимъ никому не только не казалось страннымъ, что оставляютъ раненыхъ, а берутъ вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Всѣ домашніе, какъ бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись съ хлопотливостью за новое дѣло размѣщенія раненыхъ. Раненые повыползли изъ своихъ комнатъ и съ радостными блѣдными лицами окружили подводы. Въ сосѣднихъ домахъ тоже разнесся слухъ, что есть подводы, и на дворъ къ Ростовымъ стали приходить раненые изъ другихъ домовъ. Но

разъ начавшееся дѣло свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворѣ лежали неубранные сундуки съ посудой, съ бронзой, съ картинами, зеркалами, которыя такъ старательно укладывали въ прошлую ночь, и все искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.

— Четверыхъ еще можно взять, — говорилъ управляющій, — я свою повозку отдаю, а то куда же ихъ?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядетъ въ карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными черезъ два дома. Наташа находилась въ торжественно-счастливомъ оживленіи, котораго она давно не испытывала.

— Куда же его привязать? — говорили люди, прилаживая сундукъ къ узкой запяткѣ кареты. — Надо хоть одну подводу оставить.

— Да съ чѣмъ онъ? — срашивала Наташа.

— Съ книгами графскими.

— Оставьте, Васильичъ уберетъ. Это не нужно.

Въ бричкѣ все было полно людей; совмнѣвались о томъ, куда сядетъ Петръ Ильичъ.

— Онъ на козлы. Вѣдь ты на козлы, Петя? — кричала Наташа».

. . . .

Сколь не морально было, подчасъ, морализированье Толстого надъ сокровенными воздыханіями духа человѣческаго, столь глубоко *истинно* и, въ этомъ смыслѣ, морально, его художественное творчество, проникнутое видѣніемъ сокровенностей жизни.

Все хорошо въ этомъ чисто-«толстовскомъ» отрывкѣ. А такихъ отрывковъ у Толстого много.

Тонко очерчены типы *живыхъ* людей, и передано ощущеніе дыханія *общей* ихъ жизни.

Сила сострадающей любви Наташи побѣждаетъ затхлое человѣческое существованіе, прочно закованное въ свой бытъ. *Преображеніе міра* свершается отъ одного ея свѣтлаго негодующаго порыва.

Никто здѣсь не говоритъ «моральныхъ» словъ. Авторъ не философствуетъ о Богѣ, не говоритъ о любви. А Богъ — тутъ, и любовь тутъ. Ибо авторъ думаетъ лишь о правдивости художе-

ственной своей рѣчи. Онъ не «сочиняетъ», онъ правдиво говоритъ о жизни и открываетъ самую жизнь.

Отрекаясь же отъ этого своего Божьяго дара — сходитъ съ единственнаго своего вѣрнаго пути служенія людямъ въ мірѣ и теряетъ единственную свою вѣрную связь (religio!) съ Божьимъ міромъ.

И такъ начинается его безконечная «раціональнѣйшая» и мучительнѣйшая канитель. . .

«Неясно для меня понятіе Бога. Я не имѣю никакого права говорить про Бога, про всего Бога, тогда какъ я знаю только то, что во мнѣ есть нѣчто свободное, всемогущее, хотѣлъ сказать благое, но это качество не можетъ быть приписано этому нѣчту, такъ какъ всемогущее и свободное и единое не можетъ не быть благимъ. Это сознаніе я знаю и могу жить въ немъ, и въ этомъ перенесеніи въ это сознаніе всей своей жизни есть высшее благо чловѣка». И т. д., и т. д.

Какая сѣрость! . .

*

* *

Отношеніе Толстого къ Достоевскому можетъ быть опредѣлено слѣдующими словами изъ письма къ Страхову, по поводу его книги о Достоевскомъ.

«Книгу вашу прочелъ. Письмо ваше очень грустно подѣйствовало на меня, разочаровало меня. Но я васъ вполнѣ понимаю и, къ сожалѣнію, почти вѣрю вамъ. Мнѣ кажется, вы были жертвой ложнаго, фальшиваго отношенія къ Достоевскому не вами, но всѣми — преувеличенія его значенія и преувеличенія по шаблону, возведенія въ пророки и святого — человѣка, умершаго въ самомъ горячемъ процессѣ внутренней борьбы добра и зла. Онъ трогателенъ, интересенъ, но поставить на памятникъ въ поученіе потомству нельзя человѣка, который весь борьба. Изъ книги вашей я въ первый разъ узналъ всю мѣру его ума. Книгу Пресансе я тоже прочиталъ, но вся ученость пропадаетъ отъ загвоздки. Бываютъ лошади-красавицы: рысакъ цѣна 1000 руб., и вдругъ заминка, и лошади-красавицѣ и силачу цѣна грошъ. Чѣмъ я больше живу, тѣмъ больше цѣню людей безъ заминки. Вы говорите, что помирились съ Тургеневымъ. А я очень его полюбилъ. И забавно, за то, что онъ былъ безъ заминки, — свезетъ, а то рысакъ, да никуда на немъ не уѣдешь, если еще не завезетъ въ канаву. И Пресансе и Достоевскій оба съ заминкой. И у одно-

го вся ученость, у другого умъ и сердце пропали ни за что. Вѣдь Тургеневъ и переживетъ Достоевскаго и не за художественность, а за то, что безъ заминки.»

Въ этомъ же письмѣ къ Страхову Толстой разсказываетъ объ одномъ незначительномъ эпизодѣ:

«... Ахъ да, со мной случилась бѣда... я ѣздилъ на недѣльку въ деревню въ половинѣ октября и, возвращаясь отъ вокзала до дому, выронилъ изъ саней чемоданъ. Въ чемоданѣ были книги и рукописи и корректуры... Всѣ объявленія ни къ чему не привели...»

Біографъ говоритъ, что въ этомъ исчезнувшемъ чемоданѣ пропало нѣсколько главъ рукописи «Въ чемъ моя вѣра». (Но — внутренняя сила, побуждавшая его писать эту книгу, была такъ велика, что эта пропажа была почти не замѣчена, пропавшія главы были возстановлены...»).

Какія же истины (которымъ, м. б. надо было бы пропасть) открывалъ Толстой?

Оставивъ сейчасъ въ сторонѣ повтореніе въ разныхъ варіантахъ уже извѣстныхъ намъ толстовскихъ идей, повторяемыхъ здѣсь въ чисто публицистическомъ стилѣ, остановимся на разъясненіи Толстымъ ученія Православной Церкви. Какъ онъ представляетъ себѣ православное церковное міровоззрѣніе? Какъ и въ чемъ онъ его судитъ?

«Церковь говоритъ (утверждаетъ Толстой): ученіе Христа неисполнимо (1), потому что жизнь здѣшняя есть образчикъ жизни настоящей (2), она хороша быть не можетъ (3), она вся есть зло (4), наилучшее средство прожить эту жизнь состоитъ въ томъ, чтобы презирать ее и жить вѣрою, т. е. воображеніемъ (5) въ жизнь будущую, блаженную, вѣчную, а здѣсь жить, какъ живется (6) и молиться».

И этотъ свой б р е д ъ, истинную каррикатуру на христіанское ученіе, Толстой называетъ... «словами Церкви».

Цифры, нами поставленныя среди фразъ, помогутъ читателю уяснить, с к о л ь к о р а з ъ въ этомъ краткомъ отрывкѣ Толстой г р у б о и с к а з и л ъ в ѣ р у Ц е р к в и, или сказалъ какъ разъ обратное тому, во что она вѣритъ и чему учитъ.

Почти столь же легко Толстой «убиваетъ» однимъ ударомъ «философію», «науку», «общественное мнѣніе». Онъ влагаетъ слѣдующія мысли этимъ тремъ представительницамъ свѣтской культуры: «ученіе Христа неисполнимо, потому что жизнь человѣка зависитъ не отъ свѣта разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освѣщать эту жизнь разумомъ и жить согласно съ нимъ, а

надо жить какъ живется, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другимъ, послѣ того какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей».

Конечно, здѣсь гораздо болѣе ни съ какимъ разумомъ не совмѣстнаго смѣшенія различныхъ — часто совсѣмъ противоположныхъ философскихъ системъ, и гораздо больше «шестидесятнической», «бюхнеровой» науки, чѣмъ, напр., науки современной міровой, давно отошедшей, въ самыхъ высокихъ своихъ представителяхъ отъ смѣшенія себя съ матеріалистической философіей, но — открывшей просторъ для истинной религіозной вѣры. «Общественное мнѣніе», если и опредѣляется Толстымъ, то тоже весьма неясно: — какое общественное мнѣніе? Вѣдь это же не абстрактное понятіе. Больше всего толстовское опредѣленіе подходитъ къ опредѣленію общественнаго мнѣнія современныхъ соціалистическихъ партій, главнымъ образомъ — коммунистической.

И вотъ, послѣ такого пророческаго опредѣленія какъ церковной, такъ и философско-научной мудрости міра, вѣрнѣе, — короткой расправы съ этой мудростью прошлыхъ поколѣній, Толстой взываетъ къ новымъ людямъ:

«Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придетъ и поможетъ имъ: Христосъ на облакахъ съ трубнымъ гласомъ, или историческій законъ, или законъ дифференціаціи и интеграціи силъ. Никто не поможетъ, коли сами себѣ не поможемъ. А самимъ и помогать нечего. Только не ждать ничего ни съ неба, ни съ земли, а самимъ перестать губить себя». (Бир. II).

*
*   *

Характеренъ фактъ изъ эпохи его «обновленія». Когда стало необходимо Льву Николаевичу, для его критическихъ сочиненій, ознакомиться съ библейскими пророчествами о Христѣ, онъ обратился не къ прекраснымъ знатокамъ древне-еврейскаго языка — христіанскимъ профессорамъ, а — къ московскому раввину Минору. Миноръ съ радостью, конечно, взялся за обученіе еврейскому языку Льва Толстого, и истолковалъ ему всѣ библейскія пророчества не такъ, какъ ихъ понимали апостолы (и какъ ихъ понимаютъ всѣ христіанскія церкви и богословскія академіи всего христіанскаго міра), а — такъ, какъ ихъ толковали

въ средневѣковомъ Талмудѣ и толкуютъ въ современныхъ раввиническихъ, воинственно-антихристіанскихъ школахъ, затемняя и скрывая истинный смыслъ библейскихъ пророчествъ о Мессіи.

«Толстой схватывалъ необыкновенно быстро» — сообщаетъ раввинъ Миноръ нѣмецкому біографу Льва Николаевича. Но онъ читалъ только то, что ему было нужно. То же, что его не интересовало, — онъ проходилъ мимо. Мы начали первыми словами Библіи и дошли съ такого рода пропусками до Исаіи. Здѣсь обученіе прекратилось. Предсказанія о Мессіи, въ извѣстныхъ мѣстахъ этого пророка, было для него достаточно».

*
* *

«Война и миръ» наиболѣе «религіозно-художественное» произведеніе Толстого, наиболѣе творчески-безкорыстное, несмотря на всю его исторіософскую тенденцію, заключившуюся послѣдней главой. Но даже и въ этомъ романѣ, и вопреки своей подлинной художественной интуиціи, Толстой вставляетъ въ повѣствованіе такія «профанирующія» вѣру мысли, взятыя имъ у Древса:

«Пришли святки, и, кромѣ парадной обѣдни, кромѣ торжественныхъ и скучныхъ поздравленій сосѣдей и дворовыхъ, кромѣ на всѣхъ надѣтыхъ новыхъ платьевъ, не было ничего особеннаго, ознаменовывающаго святки, а въ безвѣтренномъ 20-градусномъ морозѣ, въ яркомъ, ослѣпляющемъ солнцѣ днемъ и въ звѣздномъ зимнемъ свѣтѣ ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменованія этого времени». («Война и миръ» т. II, ч. 4. гл. 9).

Душа, отходящая отъ возможности близости къ Богу Живому, томится...

«... Я путаюсь, желая умереть, приходятъ планы убѣжать или даже воспользоваться своимъ положеніемъ и перевернуть всю жизнь», пишетъ Черткову Толстой въ іюнѣ 1885 г. «Все это только показываетъ что я слабъ и скверенъ, и мнѣ хочется обвинить другихъ и видѣть въ своемъ положеніи что-то исключительно тяжелое. Мнѣ очень тяжело вотъ уже дней шесть, но утѣшеніе одно — я чувствую, что это временное состояніе. Мнѣ тяжело, но я не въ отчаяніи, я знаю, что я найду потерянную нить, что Богъ не оставитъ меня, что я не одинъ. Но вотъ въ такія минуты чувствуешь недостатокъ близкихъ живыхъ людей — той общины, той церкви, которая есть у Пашковцевъ, у православ-

ныхъ. Какъ бы мнѣ теперь хорошо было передать мои затрудненія на судъ людей, вѣрующихъ въ ту же вѣру, и сдѣлать то, что сказали бы мнѣ они. Есть времена, когда тянешь самъ и чувствуешь въ себѣ силы; но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другимъ, которымъ вѣришь, чтобы они направляли. . .»

*

* *

Осенью 1885 г. въ Ясную Поляну пріѣзжаетъ необычный гость. Съ теченіемъ времени такіе гости все болѣе и болѣе будутъ наѣзжать въ Ясную. Ихъ общему вліянію безусловно можно приписать «отвердѣніе» Толстого на его религіозныхъ принципахъ 80-хъ годовъ.

И до конца жизни Толстой, какъ магнитъ, будетъ притягивать различныхъ религіозныхъ отщепенцевъ, основателей новыхъ религій, сектъ, послѣдователей различныхъ моральныхъ, вегетарьянскихъ и гуманистическихъ движеній.

Эти сѣрыя и черныя птицы, слетаясь къ Толстому, непрестанно поддерживали въ немъ сознаніе его великой всечеловѣческой миссіи. Даже, если они и не говорили ему это открыто (а многіе именно открыто ему объ этомъ говорили), то значеніе, которое они придавали своей бесѣдѣ съ Толстымъ, пріѣзжая изъ разныхъ странъ міра въ Ясную Поляну, убѣждало Толстого, что свѣтъ его проникаетъ всюду, и онъ дѣлается дѣйствительно «міровымъ учителемъ», возвѣстителемъ новаго обще-человѣческаго религіознаго сознанія.

Пріѣхавшій теперь назывался Вильямъ Фрей. . . Это былъ русскій эмигрантъ, Владиміръ Константиновичъ Гейнсъ, натурализовавшійся въ Америкѣ, и уже какъ американецъ пріѣхавшій въ Россію.

Исторія его такова:

Офицеръ Финляндскаго полка, онъ кончилъ въ Россіи двѣ военныя академіи, артиллерійскую и генеральнаго штаба. Блестящія способности, всесторонне научно образованный, онъ отказался отъ всего и идейно эмигрировалъ въ 1868 г. въ Сѣверную Америку, гдѣ основалъ земледѣльческую ферму на коммунистическихъ началахъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ эта коммуна распалась. Фрей перешелъ въ другую коммуну въ Канзасѣ, основанную русскими эмигрантами: Чайковскимъ, Маликовымъ, В. И. Алексѣе-

вымъ и др. Эта коммуна тоже распалась. Фрей послѣ многихъ скитаній и «чернаго труда» поселился въ Англіи.

Въ Америку онъ поѣхалъ соціалистомъ-коммунистомъ. Оттуда вернулся правовѣрнымъ послѣдователемъ позитивизма Огюста Конта, основателя «религіи человѣчества». Какъ извѣстно, въ этой «позитивной религіи» былъ свой религіозный безбожный культъ, своя мистика, своя іерархія.

И вотъ Фрей, несчастный русскій Фрей — пріѣхалъ къ Толстому.

То, что говорилъ Фрей, разсказывая о своемъ ученіи, было приблизительно то же самое, что проповѣдовалъ и самъ Толстой. Нѣкоторыя мысли, слова и идеи имъ ставились, можетъ быть, въ другомъ порядкѣ, но, по существу это было, конечно, почти буквально то же самое, что говорилъ Толстой, что предносилось ему еще въ Крыму, въ дни его молодости и сформулировалось въ минуты, когда священникъ на погребеніи молился объ упокоеніи его любимаго брата Николеньки. Это былъ «христіанскій матеріализмъ», ученіе «христа-матеріалиста»... Необходимость этой истины для счастья человѣчества ощущалъ и Фрей.

Вотъ какъ онъ описываетъ встрѣчу свою съ Толстымъ.

«Пять дней было достаточно, чтобы разъяснить наши сходства и различія по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Мы не только поняли другъ друга, но разстались скрѣпленные духовнымъ родствомъ, взаимнымъ уваженіемъ и глубокой симпатіей, при которой разница во мнѣніяхъ не только перестаетъ раздражать другъ друга, но напротивъ, признается естественнымъ и необходимымъ факторомъ въ усиліяхъ человѣчества, разрѣшить жизненные вопросы нашего времени».

«Фрей ожидалъ (добавляетъ вѣрный ученикъ Толстого — Бирюковъ) встрѣтить въ Толстомъ фанатика своей идеи и былъ удивленъ его широкой терпимостью, дошедшей до того, что Левъ Николаевичъ былъ согласенъ одно изъ правилъ Конта присоединить къ заповѣдямъ Христа».

Здѣсь нами чувствуется потребность въ цитатѣ изъ Апокалипсиса... То, до чего договорились яснополянскіе друзья, лучше всего выражено въ этой книгѣ.

Но вотъ, опять, слова самого Фрея:

«До какой степени ученіе Толстого отличается отъ общепринятаго христіанства, какъ далеко оно отъ узкой искключительности и нетерпимости теологическихъ и метафизическихъ системъ, какъ сильно бьется въ его истолкователѣ живая потребность кри-

тически и научно относиться ко всему окружающему и постоянно совершенствоваться, можно видѣть изъ того, что Л. Т. почти съ первыхъ словъ нашего свиданія заявилъ свою признательность Конту за этическое правило, «жить открыто», такъ какъ имъ, этимъ правиломъ, «превосходно пополняется пробѣлъ въ нравственномъ ученіи Христа, и потому послѣдняя заповѣдь позитивизма должна стоять рядомъ съ пятью заповѣдями Христа». «Человѣкъ, который съ готовностью пополняетъ свое ученіе изъ другихъ источниковъ, который видитъ въ духовномъ общеніи людей высшій контроль частной жизни и лучшее средство для опредѣленія границы возможно полнаго осуществленія законовъ нравственности, который признаетъ въ братскомъ общежитіи вѣрующихъ лучшую школу для самоусовершенствованія — такой человѣкъ не можетъ быть упрекаемъ въ попыткѣ воскресить прежнее іерархическое окаменѣлое христіанство».

«На Л. Н—ча Фрей произвелъ самое благопріятное впечатлѣніе» (Бир.)

Неутомимый мыслитель и апостолъ «религіи человѣчества», уѣхавъ изъ Ясной Поляны, сформулировалъ для себя результатъ бесѣды съ Толстымъ въ видѣ семи тезисовъ. Толстой, прочтя рукопись Фрея, отстоялъ отъ контіанства свою самостоятельность въ помѣткахъ, сдѣланныхъ имъ на рукописи.

Чтеніе этихъ тезисовъ и помѣтокъ — послѣ всѣхъ переживаній послѣднихъ десятилѣтій — можетъ представить православному читателю поводъ — оцѣнить свое православное міросозерцаніе.

ТЕЗИСЫ ФРЕЯ.	ОТВѢТЫ ТОЛСТОГО.
1. Нравственность не прививается къ людямъ ни наукой вообще, ни той наукой, которая изслѣдуетъ законы нравственности.	1. Мнѣ дѣла нѣтъ, какъ она прививается; а кстати же, я не могу этого знать.
2. Нравственные инстинкты пробуждаются въ людяхъ чисто симпатическими вліяніями нравственныхъ людей и обстановки; въ жизни массовой вліяніями существа реальнаго или фиктивнаго, все равно, которое религія облекаетъ въ конкретныя формы и ставитъ по силѣ, высотѣ и яркости нравственныхъ совершенствъ неизмѣримо выше отдѣльныхъ людей.	2. Религія совсѣмъ не то дѣлаетъ.

3. Человѣчество есть единственное существо, все равно, будетъ ли оно фиктивнымъ, гипотетическимъ или реальнымъ, органическимъ, способнымъ вызвать въ передовыхъ, по умственному развитію классахъ Европы религіозное чувство, такъ какъ оно одно безспорно обладаетъ всѣми человѣческими совершенствами.

3. Такого существа нѣтъ.

4. Религія будущаго есть поэтому религія человѣчества, она сохраняетъ все хорошее прежнихъ религій, т. е. любовь и самоулучшеніе, но свободна отъ ихъ недостатковъ, будучи религіей Прогресса, Науки, Соціализма и Терпимости.

4. Дай Богъ имѣть религію, а какая она будетъ, — не знаю, знаю только, что религіи Прогресса, Науки, Соціализма и Терпимости быть не можетъ.

5. Художникъ обязанъ дѣлать людей воспріимчивыми къ добру и потому не пренебрегаетъ ихъ религіознымъ чувствомъ.

5. Такихъ особенныхъ людей, называемыхъ художниками, не знаю, знаю обязанность каждаго жить разумно.

6. Здравый смыслъ и практика жизни одинаково требуютъ, чтобы желающіе радикальныхъ перемѣнъ обособляли свое ученіе и дѣятельность отъ людей, поддерживающихъ существующій порядокъ.

6. Побочное соображеніе, рѣшеніе вопроса неподлежащаго.

7. А потому вы, Левъ Николаевичъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ обязаны стать открытымъ проповѣдникомъ религіи человѣчества, предоставляя себѣ и каждому ея послѣдователю полную свободу въ опредѣленіи пути въ сферахъ не вполнѣ или вовсе не изслѣдованныхъ наукой.

7. А потому постараюсь прожить до смерти, какъ можно меньше грѣша, т. е. не отступая отъ разума. *)

---

*) Краткая поправка Церкви, къ Тезисамъ и «отвѣтамъ»:

1) Нравственность даруется, прививается человѣку Свыше, Богомъ-Духомъ Святымъ, чрезъ нравственное н а у ч е н і е и чрезъ нравственное с л ы ш а н і е, — нравственно-свободный выборъ добра — человѣкомъ.

2) Нравственность никогда не приходитъ отъ фиктивнаго, но только отъ одного реальнаго (д у х о в н о - реальнаго).

3) Неразумно — усвоять фиктивному «натуральному» «человѣчеству» образъ Бога. Совокупность несовершенныхъ не можетъ составить не только одного совершеннаго Бога, но не составитъ даже одного совершеннаго человѣка.

4) И с т и н н а я религія человѣка никогда не была и не будетъ «религіей Человѣчества». Прогрессъ, Наука, Соціализмъ и Терпимость могутъ

*
* *

«... Здѣсь мы подходимъ къ философіи Толстовскаго антипода — Нитше. И у него, какъ у гр. Толстого, началомъ душевнаго переворота было сознаніе того великаго событія, что «Богъ умеръ», какъ выражался впослѣдствіи самъ Нитше или что «Богъ — есть добро», какъ говоритъ теперь гр. Толстой, увѣряя, что въ этомъ сущность христіанства и что въ этомъ — религіозное сознаніе нашего времени». (Левъ Шестовъ. «Добро въ ученіи Толстого и Нитше»).

*
* *

Хотя бы немного отвлекающійся отъ своей религіозной проповѣди, Толстой становится другимъ человѣкомъ. Изъ немирнаго и дико-упорнаго человѣка, онъ дѣлается — естественнымъ, простымъ; изъ плоскаго — острымъ, изъ невидящаго и неслышащаго — чуткимъ и точнымъ въ опредѣленіяхъ жизни.

Угасающему своему другу, кн. Л. Д. Урусову, движимый подлинной любовью — желаніемъ утѣшить, онъ пишетъ въ Крымъ:

«Я послѣднее время все больше и больше убѣждаюсь въ томъ, что люди совершенно напрасно гордятся тѣмъ, что они имѣютъ преимущества передъ животными въ воображаемомъ дарѣ слова, т. е. способности сообщать свои и слѣдовательно понимать чужія мысли. Такого дара у всѣхъ людей вообще никогда не было и нѣтъ. И изреченіе дипломата, что слово дано людямъ для того,

---

сдѣлать себя «религіей» (и уже сдѣлали), но они никогда не сдѣлаются истинной религіей.

5) Человѣкъ, имѣющій даръ художественнаго воспріятія и отображенія жизни, конечно, долженъ поставить цѣлью своего искусства дѣлать людей «воспріимчивыми къ добру». «Не пренебрегать» же ему надо не ихъ религіознымъ чувствомъ (которое можетъ быть и фальшиво), а — настоящимъ религіознымъ чувствомъ.

6) Церковь это дѣлаетъ въ истинномъ духѣ, не обособляясь отъ людей, но и не смѣшиваясь съ ихъ грѣховными вожделѣніями.

7) Это какъ разъ то, что сдѣлалъ Толстой («основаніе новой религіи»)... Желаніе «какъ можно меньше грѣшить» — свѣтлое желаніе, но пониманіе Толстымъ грѣха, только какъ «отступленія отъ разума» — (своего, конечно, маленькаго разума) — невѣрно и само есть грѣхъ — вина предъ Богомъ, предъ Откровеніемъ Великаго Божьяго Разума.

чтобы скрывать свои мысли, совсѣмъ не шутка, а ужасная правда. Я прибавилъ бы только еще то, что оно употребляется людьми для того же, для чего употребляется птицами-соловьями: для удовольствія сочетаній звуковъ и формальныхъ образовъ; для личнаго удовольствія, но никакъ не для сообщенія мыслей. Очень можетъ быть, что и соловей какой нибудь или кукушка просвистали или прокуковали какую нибудь новую мысль о томъ, какъ улучшить жизнь этихъ птицъ. Результаты тѣ же самые. И результаты моихъ и вашихъ логическихъ доводовъ развѣ не такіе же, comme si l'on chantait. — Да, начало всего слово: слово — святыня души, а не свистъ птицы. И слово это есть одно божество, которое мы знаемъ, и оно одно дѣлаетъ и претворяетъ міръ. Страшно только, когда смѣшаешь его со словомъ-произведеніемъ гортани, языка и губъ человѣческихъ».

*

* *

Но наиболѣе полно эти человѣческія чувства у него раскрываются въ дыханіи истиннаго его творчества. *)

«Благообразный, чистый старичокъ служилъ съ той кроткой торжественностью, которая такъ величаво, успокоительно дѣйствуетъ на души молящихся. Царскія двери затворились, медленно задернулась завѣса; таинственный тихій голосъ произнесъ что-то оттуда. Непонятныя для нея самой слезы стояли въ груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мнѣ дѣлать, какъ мнѣ быть съ моею жизнью, какъ мнѣ исправиться навсегда, навсегда! . .» думала она.

Дьяконъ вышелъ на амвонъ, выправилъ, широко отставивъ большой палецъ, свои длинные волосы изъ-подъ стихаря и, положивъ на грудь крестъ, громко и торжественно сталъ читать слова молитвы:

— «Міромъ Господу помолимся!». **)

---

*) Но даже здѣсь, когда надо было, казалось бы, соблюсти писателю реалистическую правду, въ описаніи внѣшняго хода Богослуженія. Толстой допускаетъ ошибки очень замѣтныя всякому знающему православное богослуженіе. Эти ошибки наглядно показываютъ, какъ былъ далекъ Толстой отъ Церкви, даже въ свой «православный» періодъ.

**) Смыслъ молитвы этой, такъ же, не понятъ Толстымъ. Не «міромъ» Церковь молится, а миромъ, — въ мирѣ. И вся ектенія эта называется «мирной». (А. І.)

«Міромъ, всѣ вмѣстѣ, безъ различія сословій, безъ вражды, а соединенные братскою любовью — будемъ молиться, думала Наташа.

— «О свышнемъ мірѣ и о спасеніи душъ нашихъ!»

«О мірѣ ангеловъ и душъ всѣхъ безтѣлесныхъ существъ, которыя живутъ надъ нами», молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающихъ и путешествующихъ, она вспомнила князя Андрея и молилась за него и молилась за то, чтобы Богъ простилъ ей то зло, которое она ему сдѣлала. Когда молились за любящихъ насъ, она молилась о своихъ домашнихъ, объ отцѣ, матери, Сонѣ, въ первый разъ теперь понимая всю свою вину передъ ними и чувствуя всю силу своей любви къ нимъ. Когда молились о ненавидящихъ насъ, она придумывала себѣ враговъ и ненавидящихъ для того, чтобы молиться за нихъ. Она причисляла къ врагамъ кредиторовъ и всѣхъ тѣхъ, которые имѣли дѣло съ ея отцомъ, и всякій разъ, при мысли о врагахъ и ненавидящихъ, она вспомнила Анатоля, сдѣлавшаго ей столько зла, и хотя онъ не былъ ненавидящій, она радостно молилась за него, какъ за врага. Только на молитвѣ она чувствовала себя въ силахъ ясно и спокойно вспоминать и о князѣ Андреѣ и объ Анатолѣ, какъ о людяхъ, къ которымъ чувства ея уничтожались въ сравненіи съ ея чувствомъ страха и благоговѣнія къ Богу. Когда молились за царскую фамилію и за синодъ, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себѣ, что, ежели она не понимаетъ, она не можетъ сомнѣваться и все-таки любитъ правительствующій синодъ и молится за него.

Окончивъ ектенію, дьяконъ перекрестилъ вокругъ груди орарь и произнесъ:

— «Сами себя и животъ нашъ Христу Богу предадимъ».

«Сами себя Богу предадимъ», повторяла въ своей душѣ Наташа. «Боже мой, предаю себя Твоей волѣ, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мнѣ дѣлать, какъ употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!» съ умиленнымъ нетерпѣніемъ въ душѣ говорила Наташа, не крестясь, опустивъ свои тонкія руки и какъ будто ожидая, что вотъ-вотъ невидимая сила возьметъ ее и избавитъ отъ себя, отъ своихъ сожалѣній, желаній, укоровъ, надеждъ и пороковъ.

Графиня нѣсколько разъ во время службы оглядывалась на умиленное, съ блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась Богу о томъ, что бы Онъ помогъ ей.

Неожиданно, въ серединѣ и не въ порядкѣ службы, кото-

рый Наташа хорошо знала, дьячокъ вынесъ скамеечку, ту самую, на которой читались колѣнопреклоненныя молитвы въ Троицынъ день, и поставилъ ее передъ царскими дверьми. Священникъ вышелъ въ своей лиловой бархатной скуфьѣ, оправилъ волосы и съ усиліемъ сталъ на колѣни. Всѣ сдѣлали то же и съ недоумѣніемъ смотрѣли другъ на друга. Это была молитва, только что полученная изъ синода, молитва о спасеніи Россіи отъ вражескаго нашествія.

— «Господи Боже силъ, Боже спасенія нашего», началъ священникъ тѣмъ яснымъ, ненапыщеннымъ и кроткимъ голосомъ, которымъ читаютъ только одни духовные славянскіе чтецы и который такъ неотразимо дѣйствуетъ на русское сердце.

«Господи Боже силъ, Боже спасенія нашего! Призри нынѣ въ милостяхъ и щедротахъ на смиренныя люди Твоя и человѣколюбно услыши, и пощади, и помилуй насъ. Се врагъ, смущаяй землю Твою и хотяй положити вселенную всю пусту, возста на ны: се люди беззаконія собрашася, еже погубити достояніе Твое, разорити честный Іерусалимъ Твой, возлюбленную Твою Россію: осквернити храмы Твои, раскопати алтари и поругатися Святыни нашей. Доколѣ, Господи, доколѣ грѣшницы восхвалятся? Доколѣ употребляти имать законопреступный власть?

«Владыко Господи! Услыши насъ молящихся Тебѣ: укрѣпи силою Твоею благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго великаго государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же и хранитъ ны, Твой возлюбленный Израиль. Благослови его совѣты, начинанія и дѣла; утверди всемогущею Твоею десницею царство его и подаждь ему побѣду на врага, яко же Моvсею на Амалика, Гедеону на Мадіама и Давиду на Голіаѳа. Сохрани воинство его, положи лукъ мѣдянъ мышцамъ во имя Твое ополчившихся ,и препояши ихъ силою на брань. Пріими оружіе и щитъ и возстани на помощь нашу; да постыдятся и посрамятся мыслящіи намъ з л а я; да будутъ предъ лицемъ вѣрнаго Ти воинства, яко прахъ предъ лицемъ вѣтра, и Ангелъ Твой сильный да будетъ оскорбляяй и погоняяй ихъ; да пріидетъ имъ сѣть, юже не свѣдаютъ, и ихъ ловитва, юже сокрыша, да обыметъ ихъ; да падутъ предъ ногами рабовъ Твоихъ и въ попраніе воемъ нашимъ да будутъ, Господи! Не изнеможетъ у Тебе спасати во многихъ и въ малыхъ; Ты еси Богъ, да не противовозможетъ противу Тебе человѣкъ.

«Боже отецъ нашихъ! Помяни щедроты Твоя и милости, яже отъ вѣка суть; не отвержи насъ отъ лица Твоего, ниже воз-

гнушайся недостоинствомъ нашимъ, но по велицѣй милости Твоей и по множеству щедротъ Твоихъ, презри беззаконія и грѣхи наша. Сердце чисто созижди въ насъ и духъ правъ обнови во утробѣ нашей; всѣхъ насъ укрѣпи вѣрою въ Тя, утверди надеждою, одушеви истинною другъ къ другу любовью, вооружи единодушіемъ на праведное защищеніе одержанія, еже далъ еси намъ и отцемъ нашимъ: да не вознесется жезлъ нечестивыхъ на жребій освященныхъ.

«Господи Боже нашъ, въ Него же вѣруемъ и на Него же уповаемъ, не посрами насъ отъ чаянія милости Твоея, и сотвори знаменіе во благо; яко да видятъ ненавидящіи насъ и православную вѣру нашу, и посрамятся и погибнутъ, и да увидятъ всѣ страны, яко имя Тебѣ Господь, и мы людіе Твои. Яви намъ, Господи, нынѣ милость Твою и спасеніе Твое даждь намъ; возвеели сердце рабовъ Твоихъ о милсти Твоей; порази враги наша и сокруши ихъ подъ нози вѣрныхъ Твоихъ вскорѣ. Ты бо еси заступленіе, помощь и побѣда уповающихъ на Тя и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому Духу, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь».

Въ томъ состояніи раскрытости душевной, въ которой находилась Наташа, эта молитва сильно подѣйствовала на нее. Она слушала каждое слово о побѣдѣ Моvсея на Амалика, и Гедеона на Мадіама, и Давида на Голіаѳа, и о разореніи Іерусалима Твоего, и просила Бога съ тою нѣжностью и размягченностью, которою было переполнено ея сердце; но не понимала хорошенько, о чемъ она просила Бога въ этой молитвѣ. Она всей душей участвовала въ прошеніи о духѣ правомъ, объ укрѣпленіи сердца вѣрою, надеждою и о воодушевленіи ихъ любовью. Но она не могла молиться о попраніи подъ ноги враговъ своихъ, когда она за нѣсколько минутъ передъ этимъ только желала имѣть ихъ больше, чтобы молиться за нихъ. Но она тоже не могла сомнѣваться въ правотѣ читаемой колѣнопреклонной молитвы. Она ощущала въ душѣ своей благоговѣйный и трепетный ужасъ предъ наказаніемъ, постигшимъ людей за ихъ грѣхи и въ особенности за свои грѣхи, и просила Бога о томъ, чтобы онъ простилъ ихъ всѣхъ и ее и далъ бы имъ всѣмъ и ей спокойствія и счастья въ жизни. И ей казалось, что Богъ слышитъ ея молитву». *)

*

* *

---

*) («Война и миръ» т. III. ч. 1).

Но чуть ему стоитъ отойти отъ этого пути, какъ — свѣтъ гаснетъ.

«Почему распоряженія, проповѣди архіерея и исцѣленія Іоанна *) какъ будто вызываютъ во мнѣ протестъ, желаніе сказать, что это нехорошо, что это обманъ, это отъ того, что обманутый словомъ «христіанскій», я предполагаю, что эта дѣятельность родственная мнѣ, въ одномъ направленіи только отклоняющаяся. Если вы во мнѣ замѣтите отклоненіе, и я въ васъ, мы вѣдь сейчасъ съ жаромъ станемъ говорить другъ другу. Хотя церковные христіане и священникъ Іоаннъ и гораздо отдаленнѣе намъ кажутся отъ насъ, но все таки мы признаемъ ихъ занятыми однимъ съ нами дѣломъ, и отъ этого наше желаніе поправить ихъ ошибки. Но это — заблужденіе. Между нами и ими, т. е. ихъ дѣятельностью и нашей (люди всегда останутся братьями и нашимъ братомъ бѣдный Іоаннъ) нѣтъ ничего общаго. Менѣе чѣмъ между дѣятельностью военнаго министра и нашей. Насъ вводитъ въ заблужденіе слово. Я это съ болью, страданіемъ извѣдалъ. На слово «христіанскій» бросишься — и вдругъ оказывается, что тутъ ничего нѣтъ похожаго. . . Я стараюсь выработать и отчасти достигаю и вамъ желаю такое отношеніе къ этимъ дѣламъ, т. е. слушать разсказъ о томъ, какъ тотъ ходилъ причащаться, а этотъ къ священнику Іоанну такъ, какъ слушать разсказъ о томъ, какъ этотъ ѣздилъ съ визитомъ, а этотъ затравилъ зайца».

«Разсказъ вашъ объ Іоаннѣ чудесенъ, я хохоталъ все время, пока читалъ его вслухъ. Тутъ ужасно то, что сдѣлали въ продолженіи 900 лѣтъ христіанства съ народомъ русскимъ. Онъ, особенно женщины, совершенно дикія идолопоклонницы. Тотъ духъ христіанскій, выражающійся въ милостынѣ, въ милосердіи вообще, занесенъ помимо, malgré церкви» (изъ письма къ кн. Хилкову **).

«У Л. Н—ча было право такъ смотрѣть на мірскую жизнь», — говоритъ біографъ, — «такъ какъ онъ. . . безпощадно обличалъ самого себя, когда предавался мірскимъ страстямъ. . .» И, вѣрно угадывая, что этого оправданія недостаточно, добавляетъ: « . . . параллельно съ этимъ обличеніемъ, въ немъ шла напряженная работа по выработкѣ общаго благоволенія къ людямъ».

---

*) Рѣчь идетъ объ о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ.

**) Переживъ очень много въ своемъ искреннемъ толстовствѣ, Хилковъ раскаялся, и — во время великой войны — вернулся въ Церковь убѣжденнымъ православнымъ.

Однажды, послѣ одного разговора съ Толстымъ въ Ясной Полянѣ о вѣрѣ, умная и тонкая гр. А. А. Толстая вспомнила «прелестное» — какъ она чувствовала — слово Тургенева:

«Tolstoy, a-t-il dit un jour, est comme un éléphant qu'on aurait laissé courir dans un parterre et qui écraserait à chaque pas les plus belles fleurs du monde sans s'en douter». *)

---

*) «Толстой, сказалъ онъ однажды, похожъ на слона, который, если бы его впустили въ цвѣтникъ, давилъ бы самые лучшіе цвѣты міра, не думая объ этомъ».

ОКОЛО МОНАСТЫРСКИХЪ СТѢНЪ

Лѣтомъ 1877 г. Толстой совершаетъ съ Н. Н. Страховымъ путешествіе въ Оптину Пустынь... Они заходятъ къ старцу Амвросію. «Но свиданіе это, несмотря на то, что Л. Н. въ это время былъ православнымъ (опредѣленіе Бирюкова), не удовлетворило ни того, ни другого. Со старцемъ у Л. Н—ча вышли пререканія по поводу одного евангельскаго текста», а Н. Н. Страхова о. Амвросій «сталъ разубѣждать насчетъ матеріализма»... *)

*
* *

Безвѣстнымъ странникомъ, рѣшилъ, другой разъ, Толстой пойти въ Оптину. Одѣтый крестьяниномъ, вышелъ онъ со своимъ камердинеромъ Арбузовымъ изъ Ясной Поляны.

«Часовъ въ шесть вечера пришли въ Оптину пустынь», разсказываетъ Арбузовъ. «Звонилъ колокольчикъ на ужинъ; мы съ котомками за плечами вошли въ трапезную, насъ не пустили въ чистую столовую, а посадили ужинать съ нищими .Я посматривалъ на графа, но онъ нисколько не гнушался своими сосѣдями, кушалъ съ удовольствіемъ и пилъ квасъ, который ему очень понравился.

«Послѣ ужина пошли на ночлегъ въ гостинницу третьяго класса. Монахъ, видя, что мы обуты въ лапти, номера намъ не даетъ, а посылаетъ въ общую ночлежную избу, гдѣ всякая грязь и насѣкомыя.

---

*) «Въ чемъ Н. Н. совсѣмъ не былъ грѣшенъ», добавляетъ Бирюковъ... Но, на стр. 332 того же II тома Біографіи, сообщаетъ: «Страховъ былъ скептикъ и не имѣлъ твердыхъ, ясныхъ религіозныхъ убѣжденій и откровенно сознавался въ этомъ Л. Н—чу».

— «Батюшка, говорю, вотъ вамъ рубль, только дайте номеръ».

«Онъ согласился и отвелъ намъ номеръ, при чемъ сказалъ, что насъ будетъ трое, — третій — сапожникъ изъ Болховскаго уѣзда. Я досталъ изъ котомки простыню и подушечку, приготовилъ графу постель на диванѣ; сапожникъ легъ на другомъ диванѣ, а я для себя постелилъ постель на полу недалеко отъ графа. Сапожникъ вскорѣ заснулъ и сильно захрапѣлъ, такъ что графъ вскочилъ съ испуга и сказалъ мнѣ:

— «Сергѣй, разбуди этого человѣка и попроси его не храпѣть».

«Я подошелъ къ дивану, разбудилъ сапожника и говорю:

— «Голубчикъ, вы очень храпите, моего старичка пугаете: онъ боится, когда въ одной комнатѣ съ нимъ человѣкъ спитъ и храпитъ.

— «Что же, прикажешь мнѣ изъ-за твоего старичка всю ночь не спать?

«Не знаю почему, но послѣ этого онъ все таки не храпѣлъ.

«На другой день мы встали часовъ въ десять, напились чаю. Я пошелъ къ обѣднѣ, а графъ посмотрѣть, какъ монахи косятъ, пашутъ и какъ занимаются ремесломъ. Одѣтъ онъ былъ въ кафтанъ и лапти.

«Вскорѣ откуда-то монахи узнали, что въ стѣнахъ ихъ обители находится гр. Левъ Николаевичъ Толстой. Они отъ имени Архимандрита и отца Амвросія начали разыскивать его. Случайно встрѣтивъ меня, они спросили, кто со мною стоитъ въ гостинницѣ.

— «А вамъ кого нужно?

— «Графа Льва Николаевича.

— «Я его человѣкъ».

«Узнавъ отъ меня, во что онъ одѣтъ, они пошли разыскивать его, отыскали и просили къ Архимандриту и къ отцу Амвросію. Графъ пришелъ въ гостинницу третьяго класса, гдѣ мы ночевали и говоритъ мнѣ:

— «Сергѣй, коли меня узнали, дѣлать нечего, дай мнѣ сапоги и другую блузу, я переодѣнусь и пойду къ архимандриту и отцу Амвросію. . .»

«О чемъ они разговаривали съ о. архимандритомъ, я не знаю, но, вѣроятно, о монастырской жизни. По выходѣ изъ кельи о. Архимандрита, графъ направился въ скитъ къ о. Амвросію. Я старался не выпускать Льва Николаевича изъ глазъ, чтобы сказать ему, что послѣ него я тоже пойду къ о. Амвросію.

Я видѣлъ шаговъ за 200, какъ Левъ Николаевичъ вошелъ въ его келью. Онъ пробылъ тамъ часа четыре...»

И на этотъ разъ были у Толстого съ о. Амвросіемъ несогласія въ пониманіи Евангелія... Бирюковъ передаетъ, что Толстой «исправилъ ошибку старца въ пониманіи Евангелія».

*
*   *

Въ это свое посѣщеніе Оптиной Пустыни, Толстой встрѣтилъ тамъ Константина Леонтьева, уже постриженнаго въ монахи. Біографъ говоритъ, что Толстого «поразило глубокое суевѣріе Леонтьева, вѣрившаго въ цѣлительную силу какого-то песочка съ могилы старца и серьезно предлагавшаго его Л. Н—чу, когда рѣчь зашла о какомъ то недугѣ, которымъ Л. Н. страдалъ».

Въ дневникѣ этого времени Толстой отмѣчаетъ:

«Утромъ 27-го поѣхали въ Оптину Пустынь. Пріѣхали рано. Машенька тамъ и говоритъ объ Амвросіи, и все, что говоритъ — ужасно. Подтверждается то, что я видѣлъ въ Кіевѣ: молодые послушники — святые, съ ними Богъ, старые — не святые, съ ними дьяволъ». «Вчера былъ у Амвросія, говорили о разныхъ вѣрахъ. Я говорю: гдѣ мы въ Богѣ, т. е. истинѣ, тамъ всѣ вмѣстѣ; гдѣ мы въ дьяволѣ, т. е. во лжи, тамъ всѣ врозь...

«Борисъ Шидловскій умилилъ меня; *) Амвросій, напротивъ, жалокъ своими соблазнами до невозможности... На немъ видно, что монастырь — сибаритство.

«23 февраля. Достигъ терпимости православія въ этотъ пріѣздъ. Былъ у Леонтьева, прекрасно бесѣдовали. Онъ сказалъ: «вы безнадежны», а я сказалъ: «А вы надежны».

«9 марта. Поправить жизнь монастырскую, сдѣлать изъ нея христіанскую можно двумя способами:

1) «Перестать брать деньги отъ чужихъ, т. е. чужіе труды, и жить своимъ трудомъ, **) или 2) уничтожить всѣ внѣшніе

---

*) Двоюродный братъ гр. С. А. Толстой; поступивъ въ монастырь, вскорѣ ушелъ изъ него, не имѣя подлиннаго призванія къ монашеской жизни.

**) Эта мысль въ принципѣ правильна. Но менѣе всего можно было упрекнуть именно Оптину Пустынь за то, что она «не жила на свои труды». Обитель эта оставила большой духовный слѣдъ въ русской жизни; и не только въ религіозной, но и общественной мысли 19-го вѣка; духовно, она была на должной высотѣ. Характерно, что Толстой не удержался и здѣсь отъ проектовъ реформаціи.

обряды, всѣ, запрещенныя Евангеліемъ молитвы общія въ храмахъ (Мѳ. гл. VI) *) и все, связанное съ этимъ. Одно держитъ другое, какъ двѣ доски шалашикомъ»...

*
* *

Но Оптина Пустынь оставила, все же, въ Толстомъ и нѣкое благостное дуновеніе.

«Жизнь неистребима, — написалъ онъ однажды о самоубійствѣ, — она внѣ времени и пространства, и потому смерть только можетъ измѣнить ея форму, прекратить ея проявленіе въ этомъ мірѣ. А прекративъ ее въ этомъ мірѣ, я, во первыхъ, не знаю, будетъ ли проявленіе въ другомъ мірѣ болѣе мнѣ пріятно, а во вторыхъ лишаю себя возможности извѣдать и пріобрѣсти для своего я все то, что оно могло пріобрѣсти въ этомъ мірѣ. Кромѣ того и главное это неразумно, потому что прекращая свою жизнь изъ-за того, что она мнѣ кажется непріятной, я тѣмъ показываю, что имѣю превратное понятіе о назначеніи своей жизни, предполагая, что назначеніе ея есть мое удовольствіе, тогда какъ назначеніе ея есть, съ одной стороны, личное совершенствованіе, съ другой, служеніе тому дѣлу, которое совершается всею жизнью міра. Этимъ же самоубійство и безнравстенно: человѣку дана жизнь вся и возможность пользоваться ею до естественной смерти, только подъ условіемъ его служенія жизни міра, а онъ, воспользовавшись жизнью настолько, насколько она была ему пріятна, отказывается отъ служенія ею міру, какъ скоро она ему непріятна: тогда какъ по всѣмъ вѣроятіямъ это служеніе начиналось именно съ того времени, когда жизнь показалась непріятной. Всякая работа представляется сначала непріятной.

Въ Оптиной Пустыни въ продолженіи болѣе 30 лѣтъ лежалъ на полу разбитый параличемъ монахъ, владѣвшій только лѣвой рукой. Доктора говорили, что онъ долженъ былъ сильно страдать, но онъ не только не жаловался на свое положеніе, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь выражалъ свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая те-

*) Мысль Толстого о томъ, что Г. I. Христосъ «запретилъ молитвы общія въ храмахъ», есть утвержденіе, конечно, не основанное на евангельскомъ духѣ. Евангеліе запрещаетъ лишь молитвы лицемѣрныя, «на показъ» — гдѣ бы то ни было. А искреннихъ молитвъ оно не осуждаетъ ни на какомъ мѣстѣ міра.

плилась въ немъ. Десятки тысячъ посѣтителей бывали у него, и трудно представить себѣ все то добро, которое распространялось на міръ отъ этого, лишеннаго всякой возможности дѣятельности человѣка. Навѣрное этотъ человѣкъ сдѣлалъ больше добра, чѣмъ тысячи здоровыхъ людей, воображающихъ, что они въ разныхъ учрежденіяхъ служатъ міру»...

Если исключить эти послѣднія двѣ строки (гдѣ опять начинается «житейское раздраженіе»), все это размышленіе Толстого — прекрасно. Вѣяніе Оптиной Пустыни чувствуется въ словахъ его.

*
* *

Отъ этихъ мыслей хочется итти къ лучшимъ интуитивнымъ постиженіямъ Толстого-художника.

Въ главѣ первой четвертаго тома «Войны и мира», онъ вскрываетъ тайное дѣйствіе духа человѣческаго, — совершенно вопреки разсудку, наперекоръ разуму.

Толстой описываетъ внутреннее состояніе Николая Ростова, посланнаго въ глубь Россіи для набора конскаго состава въ свой полкъ. Николай въ губернскомъ городѣ, вдругъ, неожиданно для самого себя дѣлится душевными переживаніями съ почти чужой женщиной:

> «Николай вдругъ почувствовалъ желаніе и необходимость разсказать всѣ свои задушевныя мысли (такія, которыя и не разсказалъ бы матери, сестрѣ, другу) этой почти чужой женщинѣ. Николаю потомъ, когда онъ вспомнилъ объ этомъ порывѣ ничѣмъ не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имѣла однако для него очень важныя послѣдствія, казалось (какъ это и кажется всегда людямъ), что такъ, глупый стихъ нашелъ; а между тѣмъ, этотъ порывъ откровенности, вмѣстѣ съ другими мелкими событіями, имѣлъ для него и для всей семьи его огромныя послѣдствія».

Свѣтлыя тѣни Промысла и міра невидимаго выростаютъ за этимъ повѣствованіемъ.

Какъ далекъ Толстой отъ своего мыслительнаго богословія, въ словахъ:

> «Нѣтъ, но я не о пустякахъ молюсь теперь, сказалъ онъ, ставя въ уголъ трубку и, сложивъ руки, становясь передъ

образомъ. И, умиленный воспоминанiемъ о княжнѣ Марьѣ, онъ началъ молиться такъ, какъ онъ давно не молился. Слезы у него были на глазахъ, когда въ дверь вошелъ Лаврушка съ какими-то бумагами» (гл. 7).

«Княжна Марья понимала то, что Наташа разумѣла словами: *съ нимъ случилось это два дня тому назадъ*. Она понимала, что это означало то, что онъ вдругъ смягчился и что смягченiе, умиленiе эти были признаками смерти»...

«Онъ (кн. Андрей) молчалъ и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось съ нимъ за два дня. Въ словахъ, въ тонѣ его, въ особенности во взглядѣ этомъ — холодномъ, почти враждебномъ взглядѣ — чувствовалась страшная для живого человѣка отчужденность отъ всего мiрского. Онъ, видимо, съ трудомъ понималъ все живое; но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось, что онъ не понималъ живого не потому, что онъ былъ лишенъ силы пониманiя, но потому, что онъ понималъ что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего.

— Да, вотъ какъ странно судьба свела насъ, сказалъ онъ, прерывая молчанiе и указывая на Наташу. — Она все ходитъ за мною.

Княжна Марья слушала и не понимала того, что онъ говорилъ. Онъ чуткiй, нѣжный князь Андрей, какъ могъ онъ говорить это при той, которую онъ любилъ и которая его любила. Ежели бы онъ думалъ жить, то не такимъ холодно-оскорбительнымъ тономъ онъ сказалъ бы это. Ежели бы онъ не зналъ, что умретъ, то какъ же ему не жалко было ея, какъ онъ могъ при ней говорить это? Одно объясненiе только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого. что что-то другое, важнѣйшее, было открыто ему»...

«Князь Андрей не только зналъ, что онъ умретъ, но онъ чувствовалъ, что онъ умираетъ, что онъ уже умеръ наполовину. Онъ испытывалъ сознанiе отчужденности отъ всего земного и радостной и странной легкости бытiя. Онъ, не торопясь и не тревожась, ожидалъ того, что предстояло ему. То грозное, вѣчное, невѣдомое и далекое, присутствiе котораго онъ не переставалъ ощущать въ продолженiе всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той страшной

легкости бытія, которую онъ испытывалъ — почти понятное и ощущаемое...»

«... и въ то же мгновенье какъ онъ умеръ, онъ, сдѣлавъ надъ собою усиліе, проснулся. «Да, это была смерть. Я умеръ — я проснулся. Да, смерть — пробужденіе» вдругъ просвѣтлѣло въ его душѣ, и завѣса, скрывавшая до сихъ поръ невѣдомое, была приподнята передъ его душевнымъ взоромъ. Онъ почувствовалъ какъ бы освобожденіе прежде связанной въ немъ силы и ту странную легкость, которая съ тѣхъ поръ не оставляла его. Когда онъ, очнувшись въ холодномъ поту, зашевелился на диванѣ, Наташа подошла къ нему и спросила, что съ нимъ. Онъ не отвѣтилъ ей и, не понимая ее, посмотрѣлъ на нее страннымъ взглядомъ»...

Таинство жизни открыто душѣ писателя...

«Когда одѣтое, обмытое тѣло лежало въ гробу на столѣ, всѣ подходили къ нему прощаться и всѣ плакали. Николушка плакалъ отъ страдальческаго недоумѣнія, разрывавшаго его сердце. Графиня и Соня плакали отъ жалости къ Наташѣ и о томъ, что его нѣтъ больше. Старый графъ плакалъ о томъ, что скоро, онъ чувствовалъ, и ему предстояло сдѣлать тотъ же страшный шагъ. Наташа и княжна Марья плакали тоже теперь, но онѣ плакали не отъ своего личнаго горя, — онѣ плакали отъ благоговѣйнаго умиленія, охватившаго ихъ души передъ сознаніемъ простого и торжественнаго таинства смерти, совершившагося передъ ними» (гл. 16).

*
* *

Нельзя не привести еще нѣсколькихъ отрывковъ изъ «Войны и мира». Это вѣнцы толстовскаго вдохновенія.

«Пьеръ съ восторгомъ думалъ и говорилъ объ этомъ мѣсяцѣ плѣна, о тѣхъ невозвратимыхъ сильныхъ и радостныхъ ощущеніяхъ и, главное о томъ полномъ душевномъ спокойствіи, о совершенной внутренней свободѣ, которыя онъ испытывалъ только въ это время» (Т, IV, ч. II, гл. 12).

«Въ плѣну, въ балаганѣ, Пьеръ узналъ не умомъ, а всѣмъ существомъ своимъ, жизнью, что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ

потребностей, *) и что все несчастье происходитъ не отъ недостатка, а отъ излишка; но теперь, въ эти последнія три недели похода, онъ узналъ еще новую, утешительную истину — онъ узналъ, что на свете нетъ ничего страшнаго. Онъ узналъ, **) что такъ, какъ нетъ на свете положенія, въ которомъ бы человекъ былъ счастливъ и вполне свободенъ, такъ и нетъ положенія, въ которомъ онъ былъ бы несчастливъ и несвободенъ. Онъ узналъ, что есть граница страданій и граница свободы и что эта граница очень близка; что тотъ человекъ, который страдалъ оттого, что въ розовой постели его завернулся одинъ листокъ, точно такъ же страдалъ, какъ страдалъ онъ теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и согревая другую; что, когда онъ, бывало надевалъ свои бальные узкіе башмаки, онъ точно такъ же страдалъ, какъ и теперь, когда онъ шелъ уже босой совсемъ (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Онъ узналъ, что когда онъ, какъ ему казалось, по собственной своей воле, женился на своей жене, онъ былъ не более свободенъ, чемъ теперь, когда его запирали на ночь въ конюшню». (Т. IV, ч. III, гл. 12).

«Онъ не умелъ видеть прежде великаго, непостижимаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ только чувствовалъ, что оно должно быть где-то, и искалъ его. Во всемъ близкомъ, понятномъ онъ виделъ одно ограниченное, мелкое, житейское, безсмысленное. Онъ вооружался умственной зрительной трубой и смотрелъ въ даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему великимъ и безконечнымъ отъ того только, что оно было неясно видимо. Такимъ ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философія, филантропія. Но и тогда, въ те минуты, которыя онъ считалъ своею слабостью, умъ его проникалъ и въ эту даль, и тамъ онъ виделъ то же мелкое, житейское, безсмысленное. Теперь же онъ научился видеть великое, вечное, безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобъ наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросилъ трубу, въ которую смотрелъ до сихъ поръ черезъ

---

*) Весьма неверное определеніе счастія, (какъ и своей человеческой сущности). Характерное, для религіознаго сознанія Толстого.

**) Отъ этого места, до конца данной цитаты, развивается глубоко правдивая, метафизически верная мысль, — въ чисто христіанскомъ смысле. Интуиція художника сублимирована истиннымъ духомъ.

6

головы людей, и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ, тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ. Прежде разрушавшій всѣ его умственныя постройки страшный вопросъ: зачѣмъ? — теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ: зачѣмъ? — въ душѣ его всегда готовъ былъ простой отвѣтъ: затѣмъ, что есть Богъ, тотъ Богъ, безъ воли Котораго не спадаетъ волосъ съ головы человѣка» (Т. IV, ч. IV, гл. 13). *)

*
*   *

Великій реалистъ, «списыватель» душевной человѣческой жизни, Толстой не отдаетъ себѣ отчета въ настоящей духовной жизни. Удивительно до какой степени онъ не чувствуетъ монашескаго пути, и, даже, не освѣдомленъ о содержаніи самаго иноческаго пострига.

«Ослабляетъ насъ въ нашей борьбѣ съ искушеніемъ то, что мы задаемся впередъ мыслію о побѣдѣ, задаемъ себѣ задачу сверхъ силъ, задачу, которую исполнить или не исполнить внѣ нашей власти. Мы, какъ монахъ, говоримъ себѣ впередъ: я обѣщаюсь быть цѣломудреннымъ, подразумѣвая подъ этимъ внѣшнее цѣломудріе. И это во первыхъ, невозможно, потому что мы не можемъ представить себѣ тѣхъ условій, въ которыхъ мы можемъ быть поставлены, и въ которыхъ мы не выдержимъ соблазна. И кромѣ того, дурно; дурно потому, что не помогаетъ достиженію цѣли — приближеніе къ наибольшему цѣломудрію, а наоборотъ.

«Рѣшивъ, что задача въ томъ, чтобы соблюсти внѣшнее цѣломудріе, или уходятъ изъ міра, бѣгутъ женщинъ, какъ Аѳонскіе монахи, или скопятся и пренебрегаютъ тѣмъ, что важнѣе всего, внутренней борьбой съ помыслами, въ міру, среди соблазновъ. Это все равно какъ воинъ, который сказалъ бы себѣ, что онъ пойдетъ на войну, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы навѣрно побѣдить. Такому воину придется уходить отъ враговъ настоящихъ, воевать съ воображаемыми врагами. Такой воинъ не выучится воевать и будетъ всегда плохъ.

*) Пьеръ возвышается до теистическаго міросозерцанія. Отъ масонскаго отвлеченнаго деизма, онъ перешелъ къ жизненному теизму... Это, конечно, еще не жизнь во Христѣ.

«Кромѣ того, это поставленіе себѣ задачей внѣшняго цѣломудрія и надежда, иногда увѣренность осуществить его, невыгодно еще и отъ того, что стремясь къ этому, всякое искушеніе, которому подпадаетъ человѣкъ, и тѣмъ болѣе паденіе, сразу уничтожаетъ все, заставляетъ усумниться въ возможности, даже законности борьбы. «Такъ стало быть нельзя быть цѣломудреннымъ, и я поставилъ себѣ ложную задачу». И кончено, и человѣкъ отдается весь похоти и погрязаетъ въ ней. Это все равно, что воинъ съ амулетомъ, который въ его воображеніи обезпечиваетъ его въ томъ, что онъ не будетъ ни убитъ, ни раненъ. Такой воинъ теряетъ послѣднее мужество и бѣжитъ при малѣйшей ранѣ-царапинѣ». (Письмо къ Е. И. Попову).

Здѣсь — все невѣрно! Этотъ отрывокъ показываетъ, какъ Толстой могъ написать своего «Отца Сергія», въ которомъ высказалъ такое непониманіе церковной и монашеской жизни.

«Мы, какъ монахъ, говоримъ себѣ впередъ: я обѣщаюсь быть цѣломудреннымъ, подразумѣвая подъ этимъ внѣшнее цѣломудріе». Ни въ чинѣ пострига, ни въ какомъ изъ поученій о постригѣ, ни въ какихъ монашескихъ книгахъ нельзя и тѣни подобной мысли найти. Какая легкомысленность сужденій! Здѣсь надо уже удивляться не самой тенденціозности, а наивности ея.

Весь путь монашескій есть «сокровенное дѣланіе»... Это — покаянное очищеніе ума и сердца, т. е. глубины духа своего отъ гнѣздящихся страстей. Монахъ умерщвляетъ свою самость и гордость (обѣтъ послушанія), умерщвляетъ пристрастіе ко всему матеріальному (обѣтъ нестяжанія) и умерщвляетъ чувственное (обѣтъ безбрачія).

Все въ монашеской жизни исходитъ изъ «внутренней брани», что всякому интересующемуся аскетической жизнью видно изъ извѣстной книги монаха-Святогорца: «Невидимая Брань». Изъ монашескихъ руководствъ Іоанна Лѣствичника, Аввы Дороѳея, Варсонофія и Іоанна, І. Кассіана, Симеона Новаго Богослова, Добротолюбія и многихъ другихъ (издававшихся, какъ разъ, въ Оптиной Пустыни).

У Толстого, не имѣющаго духовнаго опыта-стержня, смѣшиваются мысли... Съ одной стороны, онъ упоминаетъ о цѣнности «внутренней борьбы съ помыслами» и упрекаетъ, что монахи уходятъ изъ міра въ монастыри, отъ настоящихъ враговъ, чтобы «воевать съ воображаемыми», хотя «внутренняя борьба» всюду можетъ быть одинакова, какъ въ міру, такъ и въ монастырѣ. Съ другой стороны, Толстой утверждаетъ, что монахи, давая обѣтъ цѣломудрія, «подразумѣваютъ подъ

этимъ внѣшнее цѣломудріе» и хотятъ въ монастырѣ поставить себя внѣ условій соблазна, отдѣляясь отъ міра. На самомъ же дѣлѣ, уходя въ монастырь, монахъ законно ищетъ себѣ духовную семью, какъ женящійся такъ же законно ищетъ не только духовную, но и тѣлесную.

Внѣшнее паденіе для монаха не есть срывъ всего, какъ очень наивно думаетъ Толстой (и какъ пытается изобразить въ «О. Сергіи»). Внѣшнее паденіе есть только великое несчастіе монаха, ушибъ его, рана; а вмѣстѣ съ тѣмъ — явное для него указаніе, что онъ недостаточно предохранялъ, очищалъ, защищалъ свое «внутреннее», — то, что уже не его, а Божье, и что онъ взялся хранить, какъ Божье, предавъ себя Богу. Такъ же, бываетъ паденіе указаніемъ на гордость сердца, самонадѣянность духовную, смиряемую чрезъ оставленіе, временное, Богомъ и — стыдное паденіе. Но главная борьба монаха и начало всѣхъ его какъ побѣдъ, такъ и паденій — опять таки въ самомъ сердцѣ. Даже не въ его мысляхъ (которыя неожиданно и независимо отъ духовнаго состоянія монаха могутъ появляться), если только монахъ ихъ сейчасъ же отвергаетъ, не соглашается съ ними. Паденіе монаха всегда во «внутреннемъ соизволеніи», согласіи на грѣхъ. Въ этомъ — паденіе, даже если монахъ внѣшне и не палъ. Внѣшнее паденіе есть окончательное выявленіе паденія внутренняго.

Самымъ же большимъ грѣхомъ въ монашеской жизни считается отчаяніе — послѣ паденія, т. е. какъ разъ то, что Толстой считаетъ будто бы необходимымъ слѣдствіемъ паденія. Отчаяніе видитъ лишь тотъ, кто не видитъ покаянія. А не видѣть покаянія, это — быть омраченнымъ демоническимъ внушеніемъ. Не фактъ внѣшняго паденія «сразу уничтожаетъ все», а отчаяніе и столь легкое и дешевое разочарованіе въ своемъ монашескомъ пути, о которомъ пишетъ Толстой, какъ о будто бы естественномъ и неизбѣжномъ слѣдствіи всякаго монашескаго паденія. Ангелъ бы такой вещи не написалъ, а демонъ — охотно. Но всякій монахъ знаетъ, что Даровавшій покаяніе (покаяніе предъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, а не предъ собой и не предъ человѣческой только совѣстью, какъ у Толстого) даруетъ и прощеніе, смываетъ всякій грѣхъ, дѣлаетъ его небывшимъ. «Нѣтъ грѣха непростительнаго, кромѣ грѣха нераскаяннаго» говоритъ монашеская мудрость. «Омыеши мя и паче снѣга убѣлюся». Это еще зналъ пророкъ Давидъ и всѣ предстоящіе Живому Богу опытомъ это знали. Многіе святые прошли чрезъ большія паденія и столь же великія возстанія. Богъ прощаетъ, снимаетъ грѣхъ, вылѣчиваетъ ушибъ, возстановляетъ отъ духов-

наго паденія. Богъ — Спаситель — и не въ отвлеченномъ догматѣ только (какъ все время думаетъ Толстой), а въ жизни, въ живой жизни души человѣческой. Опытные люди знаютъ сладость Божьяго спасенія и прощенія во всѣхъ грѣхахъ, какими бы ни были они, и который бы разъ ни повторялись.

Но Толстой этого совершенно не чувствуетъ и не понимаетъ. Духовной жизни у него совсѣмъ нѣтъ. Онъ глухъ духовно. Отъ этого и вся несообразность его разсказа «О. Сергій», *) и всѣ несообразности его сужденій о монашествѣ и его осужденія монашества, какъ и вообще Церкви. О ея настоящей внутренней во Христѣ жизни Толстой не догадывается.

То, что говоритъ Толстой, послѣ представляемаго имъ монашескаго паденія: «такъ стало быть нельзя быть цѣломудреннымъ, и я поставилъ себѣ ложную задачу» — могъ бы шептать на ухо монаху только искуситель (всегда говорящій человѣку отъ имени самого же человѣка, какъ бы «его мыслью»). Но самъ монахъ (если онъ понималъ, къ чему шелъ и какой борьбѣ подвергалъ себя) никогда такъ не могъ бы себѣ сказать. Павъ, онъ повалился бы предъ Лицемъ Господа Бога и исповѣдалъ бы Ему свой грѣхъ, прося простить и укрѣпить на будущее. Покаялся бы и на исповѣди предъ Лицемъ Господа Бога при свидѣтелѣ духовникѣ. И не отступилъ бы отъ покаянія, доколѣ не почувствовалъ бы, не услышалъ бы всѣмъ существомъ своимъ, что «отъя Господь вся прегрѣшенія» его — снялъ Господь его муку грѣха. И, послѣ этого снятія, душа монаха была бы предъ Богомъ такой же чистой и свѣтлой, какъ послѣ пострига или послѣ крещальной купели... Въ этомъ — таинство покаянія, — таинство, не только какъ церковный чинъ, но какъ духъ и жизнь души человѣка въ Церкви.

*
* *

Въ статьѣ, спеціально посвященной «О. Сергію», уже пришлось высказать, лѣтъ десять тому назадъ:

«Повѣствованіе объ Отцѣ Сергіи, написанное въ этотъ пе-

---

*) Сколь не были сны Толстого божественнымъ откровеніемъ (даже просто откровеніемъ истины), видно изъ слѣдующаго сообщенія (стр. 167, т. III «Біографія»): «Такъ возникъ сюжетъ Отца Сергія». Л. Н. сначала увидалъ во снѣ и потомъ разсказалъ этотъ сюжетъ въ письмѣ къ В. Г. Черткову, и тотъ переписалъ его и возвратилъ его Л. Н—чу, прося его не оставлять этого прекраснаго начала. Л. Н—чъ сталъ развивать сюжетъ...»

ріодъ «духовнаго обновленія» Толстого, поражаетъ своимъ духовнымъ и чисто литературнымъ легкомысліемъ.

Повѣствованіе идетъ о монашествѣ, о высотахъ духовной, во Христѣ, жизни, т. е. области, которая широко раскрывается въ огромномъ христіанскомъ опытѣ девятнадцати вѣковъ. И т. к. область эта запечатлѣна въ великой христіанской литературѣ и въ живыхъ жизненныхъ примѣрахъ, по всему лицу міра, то говорить о ней можно вполнѣ математически, даже враждебному христіанству, но безпристрастному изслѣдователю-психологу.

Но сосредоточивающійся все болѣе и болѣе только на своемъ опытѣ Толстой теряетъ ощущеніе чужого духовнаго опыта, — даже того, который, въ сущности, интересенъ его душѣ.

Легкомысленъ разсказъ «Отецъ Сергій» прежде всего потому, что во всей его внутренней фабулѣ отсутствуетъ то, что должно было бы быть самымъ главнымъ: Христосъ.

Христа нѣтъ въ разсказѣ! Это поражаетъ, — какъ Толстой могъ описать жизнь искренняго и подчеркнуто правдиваго человѣка, — его монашество, его монастырскую девятилѣтнюю жизнь, его тринадцатилѣтній затворъ, его старчество, — коснуться глубинъ его внутренней жизни, и все — такъ, будто бы Христа, Живого Спасителя, Живого Слова Божія — не было вовсе!

Разсказъ «Отецъ Сергій», если его охарактеризовать двумя словами, есть какой-то монашескій кошмаръ: безъ Христа.

Восклицаніе Блоковской поэмы: «эхъ, эхъ, безъ Креста», было предварено Толстымъ, давшимъ въ лицѣ о. Сергія, священномонаха, старца и чудотворца, образъ человѣка, ни въ единый мигъ своей жизни не имѣющаго въ себѣ, ни даже рядомъ съ собою, Живого Христа — Альфу и Омегу христіанской жизни.

Подобіе духовной жизни во Христѣ дается Толстымъ въ разныхъ мелкихъ, внѣшнихъ штрихахъ монашескаго couleur locale, съ которымъ литературно познакомиться легко всякому. О. Сергій «творитъ Іисусову молитву», «кладетъ поклоны», умиляется (чему?), смиряется, ведетъ борьбу съ помыслами... почти всѣмъ духовнымъ арсеналомъ инока пользуется какъ будто о. Сергій. Но что это за пользованіе! Оно описывается Толстымъ только съ двумя цѣлями: во-первыхъ, литературно соблюсти внѣшній чинъ монашеской жизни, а во-вторыхъ, показать всѣмъ, что онъ основанъ на обманѣ, и ни къ чему искреннему и духовному привести не можетъ. Сквозь внѣшне еще толстовское, эпически-художественное повѣствованіе, уже грубо врывается насмѣшка надъ глубокимъ и высочайшимъ сердечнымъ

трудомъ отшельниковъ и святыхъ монаховъ (творя умную молитву, о. Сергій смотритъ на кончикъ своего носа...).

Старецъ все твердитъ о послушаніи... И, во имя послушанія, дѣлаетъ духовно немыслимую вещь: отправляетъ не смирившаго своей гордости о. Сергія въ пещеру. Это такая несообразность, которую не знаешь, какъ объяснить въ толстовскомъ творчествѣ. Затворничество не наказаніе, оно есть высшій образъ монашеской жизни, къ которому допускаютъ только монаховъ, прошедшихъ весь искусъ общежительнаго монастыря, т. е., духовно зрѣлыхъ.

Всѣ моменты церковной и келейной молитвы о. Сергія представлены въ видѣ скучнаго и нуднаго, безсодержательнаго іогическаго самопринужденія. Но можно сказать достовѣрно, что безъ опытнаго молитвеннаго познанія благодати Божьей (утѣшенія духовнаго, — Духа Утѣшителя, освобождающаго монаха отъ власти всѣхъ земныхъ радостей), такой искренній человѣкъ, какъ о. Сергій, не могъ бы прожить и года въ монастырской обстановкѣ, разсчитанной на постоянное живое молитвенное пребываніе человѣка съ Богомъ.

Толстой сообщаетъ, что извѣстіе о смерти матери и о выходѣ замужъ невѣсты о. Сергій принялъ въ монастырѣ равнодушно. «Все вниманіе, всѣ интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни»... Чрезъ полъ страницы Толстой пишетъ о состояніи о. Сергія въ церкви, въ которомъ раскрывается вся его внутренняя жизнь: «Отецъ Сергій находился въ томъ состояніи борьбы, въ которомъ онъ всегда находился во время службъ... Борьба состояла въ томъ, что его раздражали посѣтители, господа, особенно дамы... Онъ старался, выдвинувъ какъ бы шоры своему вниманію, не видѣть ничего, кромѣ блеска свѣчей... и не испытывать никакого другого чувства, кромѣ того самозабвенія въ сознаніи исполненія должнаго, которое онъ испытывалъ всегда, слушая и повторяя впередъ столько разъ слышанныя молитвы». — Невозможно понять, какъ при такой «внутренней жизни» о. Сергій забылъ свою мать. Ради чего?

Сколь мало Толстой зналъ даже внѣшнюю жизнь Церкви, и какъ мало онъ счелъ нужнымъ ознакомиться съ ней, хотя бы для своего монашескаго разсказа, это видно изъ того, что онъ смѣшиваетъ два совершенно разныхъ понятія: монашескій постригъ и священническое рукоположеніе. Одно отъ другого нисколько не зависитъ, и въ монастырѣ бываетъ на разстояніи большого промежутка времени; но совершать литургію, какъ извѣстно, можетъ только священникъ. Толстой же пишетъ объ

о. Сергіи: «Въ концѣ третьяго года онъ былъ пострижен ъ въ іеромонахи (?) съ именемъ Сергія. Постриженіе было важнымъ внутреннимъ событіемъ для Сергія. Онъ и прежде испытывалъ великое утѣшеніе и подъемъ духовный, когда причащался; теперь-же, когда ему случилось служить самому, совершеніе проскомидіи приводило его въ восторженное, умиленное состояніе»... Особо восторженное состояніе о. Сергія при совершеніи именно проскомидіи, намъ представляется плодомъ непониманія Толстымъ описываемаго имъ предмета.

Внутренно плохо скрываемое раздраженіе противъ всего церковнаго уклада (главнаго мучителя и поработителя о. Сергія), у Толстого переходитъ уже въ открытое кощунство, когда онъ начинаетъ описывать опытъ старчества у лица, духовно-несуществующаго, какимъ является его старецъ отецъ Сергій. Кощунство, конечно, въ томъ, что отъ о. Сергія начинаютъ изливаться на людей чудеса. О. Сергій упитываетъ свое чрево, изощряетъ свое тщеславіе, а прикасающіеся къ нему слѣпые прозрѣваютъ, хромые ходятъ...Толстой глубоко презираетъ тѣхъ убогихъ и блаженныхъ странниковъ, которые ходятъ по монастырямъ, ищутъ исцѣленія и святости... Но въ идеалахъ этихъ странниковъ скрыта святыня души народной.

«Странницы, всегда ходящія отъ святого мѣста къ святому мѣсту, отъ старца къ старцу, и всегда умилющіяся предъ всякой святыней и всякимъ старцемъ» — что можетъ быть отраднѣе этихъ обликовъ, вѣчно умиленныхъ, вѣчно благословляющихъ, никому не вредящихъ; однако, Толстой характеризуетъ ихъ сейчасъ же словами безпредметной злобы: «Отецъ Сергій зналъ этотъ обычный, самый нерелигіозный, холодный, условный типъ». Всѣ тянущіеся къ старчеству у Толстого: «отставные солдаты, отбившіеся отъ осѣдлой жизни, бѣдствующіе и по большей части запивающіе старики, шляющіеся изъ монастыря въ монастырь...»

О. Сергій, конечно, былъ не монахомъ, не священникомъ, не старцемъ, — онъ былъ во всѣ свои отвѣтственныя минуты Львомъ Николаевичемъ Толстымъ, не имѣющимъ общенія съ Живымъ Богомъ, изнемогающимъ въ безплодной борьбѣ съ самимъ собою и предпринимающимъ всѣ свои религіозныя рѣшенія на основаніи либо человѣческой страсти, либо отвлеченныхъ размышленій.

Конецъ разсказа до конца разоблачаетъ иночество о. Сергія... Какъ Толстой могъ каяться только предъ собою и предъ людьми, такъ поступаетъ и о. Сергій, никогда и ни въ чемъ не каявшійся Богу, хотя и одѣвшійся въ одежду иноческаго покаяннаго подвига.

Завершивши свой страшный духовный грѣхъ — грѣхъ внутренняго безбожія и непрестанной многолѣтней хулы на Духа Святого (въ обманѣ вѣрующихъ) — плотскимъ грѣхомъ, — о. Сергій сбрасываетъ съ себя иноческую одежду, убѣгаетъ изъ скита въ поле, гдѣ въ первый разъ является ему во снѣ вѣстникъ (несуществующаго для него міра!) — ангелъ, и велитъ итти къ одной дальней родственницѣ, предъ которой бывшій о. Сергій кается въ своихъ грѣхахъ и смиряется ниже пепла. О покаяніи предъ Христомъ — ни слова. Воскресеніе происходитъ безъ Христа, какъ безъ Него шла и вся жизнь. Но, какъ жизнь безъ Христа была у о. Сергія ложью, то и воскресеніе безъ Христа есть неправда». *)

*
* *

Желая для себя выяснить, что такое молитва, П. И. Бирюковъ, однажды, обратился къ Толстому съ вопросомъ «о молитвѣ», и сообщилъ ему свое опредѣленіе молитвы: «Молитва есть возстановленіе нарушеннаго общенія съ Богомъ».

«Быть можетъ, я не совсѣмъ ясно выразилъ свою мысль», — говоритъ Бирюковъ, — «къ тому же я вполнѣ сознаю, что она была узка, одностороння, и вотъ Л. Н—чъ въ отвѣтномъ письмѣ ко мнѣ исправляетъ мое опредѣленіе, даетъ свое и излагаетъ содержаніе своей молитвы того времени».

«Это такъ, я думаю. Молитва нужна.

Началъ такъ. Хотѣлъ согласиться съ вами, но спросилъ себя поглубже, увидалъ, что нѣтъ. Для меня не такъ. Молитва не есть только заглаживаніе своего разрыва съ Богомъ, молитва для меня есть, съ одной стороны, сознаніе моего отношенія къ Богу, съ другой стороны, есть увеличеніе моей духовной силы, есть какъ разведеніе паровъ, которые будутъ работать, размахиванье колеса, набираніе силы (я говорю тутъ только то, что знаю изъ опыта). Молюсь я часто, т. е. раза два-три въ день, и всегда «Отче нашъ». Пробовалъ я слагать свои молитвы — послѣднее время сложилъ молитву, выражавшую сознаніе того, что я есмь орудіе, органъ Бога, и что я желаю одного: исполнять свое назначеніе безъ небрежности и безъ напряженія, постоянно сознавая, что черезъ меня дѣйствуетъ сила Божія, и иногда я вспоминаю это».

---

*) «Церковь и міръ». Бѣлая Церковь. 1928.

«Ошибка главная въ томъ, чтобы молитву дѣлать обязательной. Мнѣ она полезна, а могутъ быть люди, иначе устанавливающіе свое отношеніе къ Богу. Вѣра для меня же только одна, и въ одно я вѣрю: въ то, что Отецъ, пославшій меня сюда — добръ — любовь. И наваливаюсь на Него, а Онъ дѣлай, что хочетъ, а все будетъ не то, что хорошо, а божественно.

Сколько васъ знаю, думаю, что вамъ нужна молитва — какъ выражаемое сознаніе своего отношенія къ Богу. Я всегда искалъ и ищу своего. Въ «Отче нашъ» я впадаю невольно.

Молитва это символъ вѣры (таковъ «Отче нашъ»), и повторить себѣ ясно, сжато, сильно всю сущность своего отношенія къ Богу, даетъ силу». (Бир.).

Изъ этого, важнаго для пониманія религіозности Толстого, объясненія сущности молитвенной жизни, можно съ достовѣрностью усмотрѣть, что Толстой былъ *чуждъ истинной молитвы*.

Это видно и изъ разсказа «Отецъ Сергій»; но здѣсь, въ предѣльно-искреннемъ раскрытіи души своей предъ любимымъ и любящимъ ученикомъ, Толстой съ еще большей ясностью обнаруживаетъ, что душа его не дышала молитвой предъ Богомъ. Молитва для него — «нравственное упражненіе», тренировка сознанія своего, мысленная уборка своей религіозной комнаты. Всѣ образы, которыми Толстой опредѣляетъ свою молитву — совсѣмъ не характерны для истинной молитвы. Если не имѣть собственнаго опыта молитвы — предстоянія предъ Живымъ Богомъ, то достаточно просмотрѣть всѣ опредѣленія истинной молитвы у созерцательныхъ и дѣятельныхъ подвижниковъ Христіанства, чтобы понять, что никакое «разведеніе паровъ. которые будутъ работать», или «размахиваніе колеса» — не опредѣляетъ молитву, но скорѣе мѣшаетъ ея опредѣленію. *Бирюковъ гораздо болѣе вѣрно опредѣлилъ молитву*, какъ «возстановленіе нарушеннаго общенія съ Богомъ». *Такъ — можно* опредѣлить молитву, ибо смыслъ молитвы есть единеніе съ Живымъ Богомъ, а это единеніе, *съ нашей стороны* непростанно нарушается, даже если не паденіемъ, то забвеніемъ о Богѣ, разсѣяніемъ души, увлеченіемъ неистинными цѣнностями, проявленіемъ своего эгоизма, въ томъ или иномъ видѣ. А разъ хоть какъ то нарушается единеніе съ Духомъ Божьимъ, значитъ надо возстанавливать. И, конечно, даже самые святые люди нуждаются въ непрестанномъ дыханіи молитвы, т. е. въ постоянномъ возстановленіи своего общенія съ Богомъ.

*
* *

Въ декабрѣ того же 1885 года Софья Андреевна пишетъ сестрѣ:

«Случилось то, что уже столько разъ случалось: Левочка пришелъ въ крайне нервное и мрачное настроеніе. Сижу разъ, пишу, входитъ: я смотрю — лицо страшное. До тѣхъ поръ жили прекрасно: ни одного слова непріятнаго не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришелъ сказать, что хочу съ тобой разводиться, жить такъ не могу, ѣду въ Парижъ или въ Америку».

«Понимаешь, Таня, если бы мнѣ на голову весь домъ обрушился, я бы не такъ удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?»

«Ничего, но если возъ накладываютъ все больше и больше, лошадь станетъ и не везетъ». — Что накладывалось, неизвѣстно. Но начался крикъ, упреки, грубыя слова, все хуже, хуже, и, наконецъ, я терпѣла, терпѣла, не отвѣчала ничего почти, вижу человѣкъ сумасшедшій, и когда онъ сказалъ, что «гдѣ ты, тамъ воздухъ зараженъ», я велѣла принести сундукъ и стала укладываться. Хотѣла ѣхать къ вамъ хоть на нѣсколько дней. Прибѣжали дѣти, ревъ. Таня говоритъ: «Я съ вами уѣду, за что это». Сталъ умолять остаться. Я осталась, но, вдругъ начались истерическія рыданія, ужасъ просто, подумай Левочка и всего трясетъ и дергаетъ отъ рыданій. Тутъ мнѣ стало жаль его, дѣти: Таня, Илья, Леля, Маша ревутъ на крикъ: нашелъ на меня столбнякъ, ни говорить, ни плакать, все хотѣлось вздоръ говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу. Такъ и кончилось. Но тоска, горе, разрывъ, болѣзненное состояніе отчужденности — все это во мнѣ осталось. — Понимаешь, я часто до безумія спрашиваю себя: ну теперь, за что же? Я изъ дому ни шагу не дѣлаю, работаю съ изданіемъ до трехъ часовъ ночи, тиха, всѣхъ такъ любила и помнила это время, какъ никогда, и за что? . . .»

Движеніе толстовскихъ колоній, къ этому времени, уже было скомпрометировано въ Россіи. Люди, увлеченные идеями Толстого, бросившіеся воплощать ихъ, не смогли создать никакого общежитія на этомъ духовномъ фундаментѣ.

«Къ сожалѣнію, у этихъ людей» — пишетъ Бирюковъ — «такъ легко смѣнившихъ свою одежду, не хватило смиренія настолько, чтобы не осуждать людей, еще не успѣвшихъ перемѣнить ее и ищущихъ иныхъ путей къ осуществленію своего иде-

ала. Это отсутствіе смиренія и замѣняющее его самомнѣніе многихъ отталкивало отъ нихъ».

Въ своемъ Дневникѣ, Толстой своеобразно оцѣниваетъ неудачу своихъ послѣдователей:

«Жить можно только перестращенными съ всякими людьми. Жить же святымъ вмѣстѣ нельзя. Они всѣ помрутъ».

*
* *

Духъ толстовства все болѣе опредѣляется...

9 марта 1890 года Толстой записываетъ въ своемъ Дневникѣ о картинѣ Н. Н. Ге «Что есть Истина» (послѣ слова «истина» нѣтъ вопросительнаго знака, согласно толстовскому толкованію вопроса Пилата).

«Церковь сдѣлала изъ Христа Бога, спасающаго, въ котораго надо вѣрить, и которому надо молиться. Очевидно, что примѣръ его сталъ не нуженъ. (Что это такое? Откуда такая мысль?! — А. І.). Работа истинныхъ христіанъ именно въ томъ, чтобы раздѣлать эту божественность (картина Ге). Если онъ человѣкъ, то онъ важенъ примѣромъ и спасетъ только такъ, какъ себя спасъ, т. е. если я буду дѣлать то же, что онъ».

По поводу запрещенія этой профанаціонной, для христіанскаго сознанія, картины, Толстой пишетъ Бирюкову: «... они должны были запретить. Не любя Христа, нельзя видѣть правдивое его изображеніе. Язычникамъ и жрецамъ не это нужно. Имъ нужно боготвореніе тѣла; духъ они не признаютъ и не любятъ».

*
* *

Къ серединѣ 90-хъ годовъ относится увлеченіе Льва Николаевича «письмами безъ обычныхъ обращеній». Толстому, вдругъ, показалось, что ему не слѣдуетъ подчиняться «общимъ» и обычнымъ правиламъ письменной вѣжливости, и онъ вдругъ начинаетъ всѣмъ писать безъ эпитетовъ, подчеркивая, что онъ это дѣлаетъ, не желая никакой условности въ отношеніяхъ съ людьми.

«Если я не пишу условленнаго эпитета «дорогой», то это не потому, что я на сколько нибудь измѣнился къ вамъ. Я также люблю и цѣню васъ, а я рѣшилъ бросить эти условные эпитеты,

всегда непріятные»... «Это нововведеніе» — замѣчаетъ біографъ — «продержалось недолго, всего месяца два».

Вскорѣ опять начали встрѣчаться признаки письменной «обрядности» въ перепискѣ Толстого; безъ нея ему показалось какъ-то неловко и холодно. Онъ возвращается къ «условнымъ эпитетамъ».

Если бы эта малая, такъ просто имъ рѣшенная задача, могла привести его къ пониманію рѣшенія задачъ болѣе глубокихъ, но разрѣшаемыхъ въ томъ же планѣ и духѣ.

Если бы онъ смогъ понять, что всѣ формы человѣческой жизни — не исключая и формъ церковныхъ — могутъ быть такъ же наполнены сердечной глубиной и теплотой, какъ и условный эпитетъ въ письмѣ къ другу.

*

* *

Толстой сознаетъ родственность себѣ только что возникшаго ученіе Christian Science. *)

«Я вамъ говорилъ о Christian Science, ученіи, которое недавно возникло въ Америкѣ. Они очень сочувствуютъ моимъ взглядамъ и пишутъ мнѣ и присылаютъ и книги и брошюры. Въ этомъ ученіи есть много гораздо болѣе важнаго, чѣмъ мнѣ это показалось сначала». «Слабая сторона ихъ, усиливаемая ихъ женщинами, въ томъ, что можно лѣчить болѣзни духовно, и это глупо»... **)

И страдальчески воспринимаетъ бѣдная Александра Андреевна въ Ясной Полянѣ чтеніе Толстымъ его сочиненія «Жизнь».

«Чтеніе продолжалось около двухъ часовъ. Я поняла гораздо болѣе, чѣмъ ожидала; были мѣста прекрасныя, но сердце мое не дрожало и не горѣло. Мнѣ казалось, что я ,то сижу въ анатомическомъ кабинетѣ, то, что я бѣгаю по кривымъ дорожкамъ въ полуосвѣщенномъ лабиринтѣ и все сбиваюсь, путаюсь и не могу вздохнуть свободно...»

---

*) Ученіе, проповѣданное во второй половинѣ 19 столѣтія Миссъ Беккеръ, Эдди (и нынѣ особенно распространенное въ англо-саксонскихъ странахъ), отрицаетъ первородный грѣхъ и, вообще всякую вину человѣка предъ Богомъ; отрицаетъ покаяніе предъ Богомъ; Божество Господа Іисуса Христа...

**) Единственно вѣрное утвержденіе «Христіанской науки», о возможности вообще «лѣчить духовно» тѣлесныя болѣзни, кажется Льву Николаевичу глупымъ. Все же остальное ему представляется важнымъ.

Въ сентябрѣ 1887 г. она рѣшается сказать Толстому свое послѣднее слово:

»... Я читаю данную вами мнѣ біографію Паркера*) съ интересомъ и грустью, съ тою же грустью, которую я испытала послѣ нѣкоторыхъ нашихъ бесѣдъ; говорю нѣкоторыхъ, потому что, какъ только слова ваши исходили изъ сердца, мое сердце откликалось на нихъ, и я чувствовала себя въ полномъ единеніи съ вами.

Анатомическій разборъ (вы бы сказали «философскій») вашей религіи возбуждалъ во мнѣ невыразимо тягостное чувство и сильное страданіе, какъ будто у меня вырывали жизнь до самаго корня.

Вы любите Христа, вы хотите слѣдовать за Нимъ (въ этомъ я убѣдилась съ радостью), и, однако, мы не можемъ вполнѣ понимать другъ друга, потому что вы упорствуете видѣть въ Немъ только величайшаго проповѣдника нравственныхъ законовъ, не признавая Его божественности. Это съ моей стороны не обвиненіе, а выраженіе глубокой печали. Согласіе на этой почвѣ было бы для меня неоцѣненно; но какъ же это сдѣлать? Голосъ, призывающій меня къ Истинѣ, слишкомъ разнится съ вашимъ ученіемъ.

Христосъ говоритъ мнѣ: «вѣрь и будешь спасена»; а вы говорите: «разумъ данъ для разсужденія — ему подчиняйтесь». Евангеліе проповѣдуетъ: «молитесь непрестанно, благодарите, стучите, и отворятъ вамъ»; а вы: «молитва — потеря времени; дѣлайте добро, раздавайте свое имущество, откажитесь отъ всего ради ближняго».

Но я безсильна дѣлать добро, лишать себя имущества и даже любить, не будучи предварительно соединена съ Спасителемъ той таинственной, но вполнѣ дѣйствительной связью, которая выше всякихъ умствованій, или, проще сказать, не имѣетъ съ ними ничего общаго, такъ какъ это есть откровеніе и сила, независящая отъ насъ.

Сознаніе ап. Павла: «Добра, котораго хочу, не дѣлаю, а дѣлаю зло, котораго не хочу» (Римл. VII, 19), должно повторяться въ душѣ всякаго разумнаго существа. Да, я хочу добра, а моя грѣховная природа противится этому желанію на каждомъ шагу моей жизни. Кто же поможетъ мнѣ побѣдить эту двойственность, кромѣ благодати Св. Духа, которую Христосъ в е-

*) Теодоръ Паркеръ, американскій богословъ, проповѣдникъ унитаріанской общины (1810—1860).

лить призывать и которую обѣщаетъ ниспослать всѣмъ, просящимъ ея горячо и неотступно.

Безъ этой помощи я впала бы несомнѣнно въ совершенное безсиліе, между тѣмъ какъ вы считаете возможнымъ выполнить ученіе Христово только силой собственной воли. По крайней мѣрѣ, эта мысль встрѣчается во всѣхъ вашихъ сочиненіяхъ.

Евангеліе есть солнце жизни; вы это сами сознаете, но тотчасъ прибавляете: «остерегайтесь видѣть въ каждомъ изъ его лучей одинаковый свѣтъ: нужно распредѣлять ихъ по мѣрѣ важности ихъ значенія; между ними есть безполезные и даже нелѣпые». А я, сознающая себя слабой, ничтожной, потерянной, не могу отказаться ни отъ одного изъ этихъ лучей, чтобы разогнать мракъ, въ который безпрестанно погружается моя душа, какъ скоро не поддерживаетъ, не оживляетъ ее полный свѣтъ, находящійся на каждой страницѣ Евангелія.

Христосъ, сказавши: «слушайте слова Мои», сказалъ тоже: «вѣрьте дѣламъ Моимъ», а вы говорите: «нѣтъ, вѣрьте только Его слову. Его дѣла, Его чудеса, Его жертва безполезна и искупленіе не имѣетъ никакого смысла. Онъ пришелъ только, чтобы преподать новое ученіе».

Какъ же намъ, со всѣми нашими недостатками, выполнить это божественное ученіе въ его обширномъ смыслѣ? Кто же загладитъ наши безчисленныя ежедневныя паденія и ту массу грѣховъ, совершенныхъ нами прежде, чѣмъ мы дошли до сознанія этого ученія? Есть ли въ нашемъ сердцѣ довольно силы, чтобы возбудить въ себѣ раскаяніе, соотвѣтствующее нашему паденію? Мы едва отдаемъ себѣ отчетъ въ малѣйшей части того зла, которое переполняетъ нашу жизнь.

Я восхищаюсь св. Павломъ, обновленное сердце котораго горитъ любовью къ Спасителю. Онъ смиренно выслушиваетъ все, что открывается ему свыше, и спѣшитъ увлекать за собою евреевъ и язычниковъ на этотъ единственный путь спасенія. Но я возстаю противъ смѣлости, можетъ быть, безсознательной, какого нибудь Паркера, какъ бы ни была полезна и прекрасна жизнь его и высокъ его умъ, когда онъ начинаетъ показывать мнѣ, что страданія и смерть Спасителя не могутъ искупить моего грѣха.

Если бы онъ убѣдилъ меня въ этомъ, то сразу отнялъ бы у меня надежду на безсмертіе и внесъ бы отчаяніе въ сердце, единственная опора котораго — безконечная благодать искупленія...

Вы проповѣдуете заповѣди Христа и хорошо дѣлаете; но ради Бога не дотрагивайтесь до тѣхъ истинъ, которыя несогласны съ Вашими вѣрованіями; онѣ, тѣмъ не менѣе, величайшей важ-

ности для христіанскаго міра, что и доказано массою людей въ продолженіе многихъ вѣковъ.

Я читала гдѣ-то, что китайцы упрекаютъ европейцевъ въ недостаточности чувства уваженія, которое считается у нихъ основой общественнаго строя.

Ваша любящая рука не захотѣла бы, конечно, никому причинить боли, а между тѣмъ у Васъ есть слова, глубоко оскорбляющія насъ, Вашихъ меньшихъ братій, и невольно мнѣ вспоминается библейское изреченіе: «сними обувь твою! мѣсто, на которомъ ты стоишь, свято. . .»

И Александра Андреевна исповѣдуетъ предъ Толстымъ Христа, какъ Полноту бытія и Божественной помощи человѣку:

«Отнявъ у людей эту Божественную помощь, Вы создадите путниковъ, голодныхъ и алчущихъ, лишенныхъ пищи и воды. Хватитъ ли у нихъ силы донести до конца тяготу обязанностей, лежащихъ на нихъ?

Вѣдь самоотверженіе — добродѣтель вовсе не легкая и не врожденная вообще человѣчеству. Не наступитъ ли часъ, когда удрученные сознаніемъ невозможности выполнить евангельскія предписанія въ ихъ буквальномъ смыслѣ, они запутаются въ мысляхъ и падутъ еще ниже, чѣмъ прежде, какъ ни склонны были къ добру.

Ваша отвѣтственность передъ ними устрашаетъ мое сердце».

НОЧНОЙ ГОЛОСЪ

Лѣтомъ 1891 г. двадцать губерній центральной и юго-восточной Россіи постигъ полный неурожай и начался голодъ — страшное знаменіе русской нераскаянности. У властей Россіи и общества проявилось единодушное сознаніе необходимости широкой помощи голодающему народу.

Левъ Николаевичъ, на своемъ особомъ и независимомъ пути, всегда бывшій — a priori — въ оппозиціи всякимъ «общимъ увлеченіямъ», и здѣсь проявилъ такое же отношеніе къ помощи голодающимъ. Онъ ѣдко критиковалъ взывающихъ о помощи и не сочувствовалъ такому безспорно Божьему — казалось бы — движенію русскихъ сердецъ.

Гр. А. А. Толстая, гостившая это лѣто у Толстыхъ, вспоминаетъ объ одномъ эпизодѣ:

«Одинъ изъ этихъ пріятныхъ вечеровъ былъ прерванъ пріѣздомъ тульскаго предводителя дворянства Раевскаго. Это была пора наступавшаго въ 1891 году голода; глубоко погруженный въ мысли объ этой напасти, Раевскій не могъ говорить ни о чемъ другомъ, и это раздражало Льва, не знаю почему; онъ противорѣчилъ каждому слову Раевскаго и бормоталъ про себя, что все это ужасный вздоръ, и что если бы и насталъ голодъ, то нужно только покориться волѣ Божьей и проч. и проч. Раевскій, не слушая его, продолжалъ сообщать графинѣ всѣ свои опасенія, а Левъ не переставалъ вить à la sourdine свою канитель, что производило на слушателей самое странное дѣйствіе».

Это настроеніе его отражается и въ Дневникѣ іюня и іюля... Одержимость (столь осязаемая въ спорѣ съ Раевскимъ) выливается предъ сознаніемъ Толстого въ формѣ сплетенія нѣкоей удивительной казуистики:

«Дѣти иногда даютъ бѣднымъ хлѣбъ, сахаръ, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они дѣлаютъ

нѣчто доброе. Дѣти не знаютъ, не могутъ знать, откуда хлѣбъ, деньги. Но большимъ надо бы знать это и понимать то, что не можетъ быть ничего добраго въ томъ, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многіе большіе не понимаютъ этого.

«Спасеніе жизни, матеріальное — спасеніе дѣтей погибающихъ, излеченіе больныхъ, поддержаніе жизни стариковъ и слабыхъ — не есть добро, а есть только одинъ изъ признаковъ его, точно такъ же, какъ наложеніе красокъ на полотно не есть живопись, хотя всякая живопись есть наложеніе красокъ на полотно. Матеріальное спасеніе, поддержаніе жизней людскихъ есть обычное послѣдствіе добра, но не есть добро. Поддержаніе жизни мучимаго работой раба, прогоняемаго сквозь строй, чтобы дать ему его 5000, — не есть добро, хотя и есть поддержаніе жизни. . .»

«Всѣ говорятъ о голодѣ, всѣ заботятся о голодающихъ, хотятъ помогать имъ, спасать ихъ. И какъ это противно. Люди, не думавшіе о другихъ, о народѣ, вдругъ почему-то возгораются желаніемъ служить ему. Тутъ или тщеславіе — высказаться, или страхъ; но добра нѣтъ».

Въ сентябрѣ Толстой еще уклоняется отъ участія въ дѣлѣ помощи голодающимъ. Его письмо Н. С. Лѣскову — слабо логически и еще слабѣе нравственно:

«Взять у правительства или вызвать пожертвованія, т. е. собрать побольше мамоны неправды и, не измѣняя подраздѣленія, увеличить количество корма, — я думаю не нужно, и ничего кромѣ грѣха не произойдетъ. Дѣлать этого рода дѣла есть тьма охотниковъ — людей, которые живутъ всегда не заботясь о народѣ, часто даже ненавидя и презирая его, которые вдругъ возгораются заботами о меньшомъ братѣ — и пускай ихъ это дѣлаютъ. Мотивы ихъ и тщеславіе и честолюбіе, и страхъ, какъ бы не ожесточить народъ. Я же думаю, что добрыхъ дѣлъ нельзя дѣлать вдругъ по случаю голода». . . и т. д., и т. д.

Когда же оставаться въ сторонѣ отъ голода не представляется уже возможнымъ, такому видному народолюбцу, какъ Толстой, — ему приходится выйти на помощь голодающимъ.

Онъ ни къ кому не присоединяется. Онъ создаетъ свое дѣло. Софья Андреевна пишетъ воззваніе и начинаетъ собирать въ Москвѣ средства. Толстой съ дѣтьми ѣдетъ на голодныя мѣста и погружается въ работу.

Какъ бы оправдывая свое прежнее, оставшееся непонятнымъ, сопротивленіе этому дѣлу, онъ пишетъ: «Я занимаюсь распредѣленіемъ блевотины богачей».

*
* *

Работая рядомъ съ отцомъ средь голодающихъ, Татьяна Львовна записываетъ:

19 ноября 1891 г.: «Сегодня утромъ былъ у папа съ Чистяковымъ разговоръ... Чистяковъ спрашивалъ папа, какъ онъ объясняетъ то, что онъ теперь принимаетъ пожертвованія и распоряжается деньгами, и считаетъ ли онъ это послѣдоватльнымъ съ его взглядами? Чистяковъ говорилъ слишкомъ рѣзко и хотя безъ малѣйшаго оттѣнка досады и съ большой любовью къ папа, но я видѣла, что папа это было больно до слезъ. Онъ говорилъ: «Спасибо, что вы мнѣ это сказали, какъ это хорошо, какъ это хорошо!» Но ему было больно. Онъ самъ прекрасно чувствовалъ и доходилъ до того, что это не то, и незачѣмъ было ему это говорить. Чистяковъ говоритъ, что отъ теперешней дѣятельности папа до благотворительныхъ спектаклей и до дѣятельности отца Іоанна *) совсѣмъ недалеко; что онъ нъ имѣетъ права вводить людей въ заблужденіе, такъ какъ многіе идутъ за нимъ и ждутъ отъ него указанія, и что за теперешнее его дѣло всѣ будутъ хвалить его, тогда какъ оно не хорошее. Папа сказалъ: Да, это какъ тотъ мудрецъ, который, когда ему стали рукоплескать во время его рѣчи, остановился и спросилъ себя: «не сказалъ ли я какой-нибудь глупости?»

Все характерно въ этой зарисовкѣ. И стиль друзей, окружающихъ Толстого и дезоріентированность его собственныхъ чувствъ. Какъ самимъ Львомъ Николаебичемъ, такъ и друзьями его, эта общественная работа воспринималась не въ простотѣ и бездумности истиннаго добра, но вызывала сложный комплексъ моральныхъ и соціальныхъ чувствъ. Нельзя было пребывать въ соціальномъ бездѣйствіи и литературномъ безмолвіи, когда рядомъ люди погибаютъ съ голоду. Но нельзя было и писать о голодѣ и по поводу голода, если самъ ничего не дѣлаешь для голодающихъ.

Въ глубинѣ души своей, самъ Толстой и ближайшіе его послѣдователи (въ этомъ отношеніи, Татьяна Львовна не была съ ними) считали, что для Льва Толстого можно было бы обличать общество и государство и не принимая матеріальнаго участія въ помощи голоднымъ. Участвуя въ общественной помощи,

---

*) Разумѣется дѣятельность о. Іоанна Кронштадтскаго по устройству «Домовъ Трудолюбія» въ Россіи.

дѣлали это лишь отчасти по непосредственно-нравственнымъ побужденіямъ. Былъ и мотивъ моральнаго престижа Учителя жизни. Надо было вызвать довѣріе къ слову учителя чрезъ его д ѣ л о, — дѣло всѣмъ понятное и всѣми одобряемое, даже восхваляемое. Но Толстой этимъ «оползалъ», спускался на «обычный путь». Онъ дѣлался «среднимъ» общественникомъ и благотворителемъ: собиралъ деньги съ тѣхъ богатыхъ, кого считалъ грабителями народнаго достоянія; обращался къ нимъ чрезъ жену съ просьбой о жертвѣ, и — самъ распоряжался этими «награбленными», выпрошенными у «тунеядцевъ» деньгами... Могла ли совѣсть Льва Николаевича быть спокойной? Конечно, здѣсь уже были вполнѣ достаточныя причины для недовольства собой. Ученики Толстого это чувствовали и безжалостно ставили точки на і. Имъ надо было сохранить престижъ Льва Николаевича въ ореолѣ сверхъ-оригинальнаго провозвѣстника новой жизни, не смѣшивающагося ни съ какой толпой — даже въ добромъ дѣлѣ. Помощь голодающимъ была какъ бы «прозой», а они были «поэты», пророки, возвѣстители «новаго бытія»...

Насколько иначе Церковь разсматриваетъ міръ и относится къ людямъ. «Богатыхъ въ настоящемъ вѣкѣ увѣщевай, чтобы они не высоко думали о себѣ и уповали не на богатство невѣрное, но на Бога живого, дающаго намъ все обильно для наслажденія; чтобы они благодѣтельствовали, богатѣли добрыми дѣлами, были щедры и общительны, собирая себя сокровище, доброе основаніе для будущаго, чтобы достигнуть вѣчной жизни».

Какъ глубокъ Духъ Церкви Христовой въ устахъ Павла... Онъ радуется на богатыхъ, к а к ъ н а у т ѣ ш е н н ы х ъ Г о с п о д о м ъ здѣсь на землѣ. Такъ смотрѣлъ на богатыхъ и русскій народъ до того, какъ «съѣлъ яблоко» и почувствовалъ, что онъ нагъ. З м і е в а з а в и с т ь это сдѣлала. Вѣдь Господь — податель всего «обильнаго для наслажденія»... Вотъ этимъ богатымъ, можетъ быть, лишеннымъ какихъ либо другихъ человѣческихъ даровъ, и подалъ Господь даръ избытка матеріальнаго. Можетъ быть, они въ душѣ несчастны и бѣдны, но апостолъ радъ и этой милости Божьей въ отношеніи ихъ. Онъ увѣщеваетъ ихъ не уповать на это временное богатство, временную милость Божію къ нимъ, но, чрезъ эту временную милость востекать благодарнымъ сердцемъ, къ постиженію безсмертныхъ сокровищъ и милостей Господа; и, в о й д я в ъ д у х ъ э т о й м и л о с т и, источать ее вокругъ себя въ міръ, причисляя и другихъ къ излившейся на насъ милости... Какое геніальное в н у т р е н н е е разрѣшеніе экономическихъ и соціальныхъ проблемъ! Ч и с т о т а в з о р а, умѣющаго, воистину въ свѣтѣ Божьей всеобъемлющей люб-

ви, смотрѣть на всѣ земныя вещи и явленія, и видѣть, прежде всего, человѣка.

А ранѣе (1 Тим. 6), въ отношеніи бѣдныхъ высказано апостоломъ то же самое. Тотъ же умиротворенный и просвѣтленный взглядъ... Добро не можетъ служить матеріальному прибытку. Если бѣдный или рабъ, чрезъ принятіе христіанства, надѣется быть матеріально свободнымъ и матеріально богатымъ, то здѣсь уже нѣтъ христіанской вѣры, а — коммерческій разсчетъ (бывавшій, увы, нерѣдко въ исторіи обращенія въ христіанство язычниковъ и евреевъ).

Церковь истинно вводитъ Царствіе Божіе внутрь человѣка. Л. Толстой раздражался противъ апостоловъ, и, особенно — противъ ап. Павла. Это психологически понятно. Ап. Павелъ раньше Толстого сказалъ истину «чистаго христіанства».

*

* *

Философско-соціальныя и моралистическія идеи Толстого вытекали изъ его установившагося въ концѣ 70-хъ годовъ міросозерцанія.

Въ этихъ идеяхъ, какова бы ни была ихъ тема, Толстой почти всегда высказываетъ правду одновременно съ неправдой. Неправду—въ правдѣ, и правду—въ неправдѣ. Религіозная неправда его оплетается вокругъ его религіозной правды, какъ ліана вокругъ дерева, и изсушаетъ дерево. Правда христіанская, какъ зеленый плющъ, обвивается вокругъ мертваго дерева толстовскихъ идей, и придаетъ этому дереву цвѣтущій видъ.

Нужна вѣра въ полноту евангельскаго Богооткровенія, нужно довѣріе къ святымъ учителямъ и пророкамъ Церкви, или глубокій опытъ неложной интуиціи, чтобы различить, гдѣ начинается у Толстого неправда, и гдѣ кончается его правда.

Стремившійся къ простотѣ, онъ почему-то отвергъ величайшую простоту: апостольскую вѣру, апостольское созерцаніе, насквозь овѣянное свѣтомъ только что отошедшаго отъ міра, но — не покинувшаго землю Царя-Христа.

Отвергнувъ апостоловъ и ихъ міросозерцаніе, — развѣ можно было не отвергнуть и Церкви?

Толстой отвергъ Церковь; не за духовную слабость ея священнослужителей, не за ея недолжную, тягостную для нея самой, излишнюю связанность съ государствомъ. Не за то или иное отношеніе Церкви къ соціальнымъ фактамъ. Даже, не за

чинъ ея богослуженія... Толстой отвергъ Церковь исключительно оттого, отчего онъ отвергъ и апостоловъ: за ея вѣру. Апостольская вѣра была ему чужда. Онъ не могъ выносить ее.

Беря изъ ап. Іоанна Богослова изреченія о любви, онъ игнорируетъ то, что этотъ же апостолъ писалъ о «Словѣ Жизни», о «Жизни, явившейся въ мірѣ», о Словѣ, ставшемъ Плотью, свидѣтелями чего апостолы были, что осязали своими руками, видѣли своими глазами, ... и — о возможности антихриста, о близости и присутствіи въ мірѣ его духа, пожирающаго — Агнца-Христа.

*
* *

Каковъ источникъ его пророческаго вдохновенія? .. —

Изъ записной книжки 25 мая 1889:

«(Ночью слышалъ голосъ, требующій обличенія заблужденій міра). Нынѣшней ночью голосъ говорилъ мнѣ, что настало время обличить зло міра. И въ самомъ дѣлѣ нечего медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего думать, какъ и что сказать. Жизнь не дожидается. Жизнь моя уже на исходѣ и всякую минуту можетъ оборваться. И если могу чѣмъ послужить людямъ, если могу чѣмъ загладить всѣ мои грѣхи, всю мою праздную, похотливую жизнь, то только тѣмъ, чтобы сказать людямъ-братьямъ то, что мнѣ дано понять яснѣе другихъ людей, то, что вотъ уже 10 лѣтъ мучаетъ меня и раздираетъ мнѣ сердце».

Что же говоритъ этотъ ночной голосъ?

«... Предсказаніе о томъ, что придетъ время, когда всѣ люди будутъ научены Богомъ, разучатся воевать, перекуютъ мечи на орала и копья на серпы, т. е., переводя на нашъ языкъ, всѣ тюрьмы, крѣпости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми, и всѣ висѣлицы, ружья, пушки останутся безъ употребленія, — уже не мечта, а опредѣленная новая форма жизни, къ которой съ все увеличивающейся быстротой приближается человѣчество»... Изъ прозрѣній Льва Толстого конца 19-го столѣтія. (Біографія, III).

*
* *

Въ книгѣ «Такъ что же намъ дѣлать?» есть такое свидѣтельство Льва Николаевича уже о человѣческихъ вліяніяхъ на него.

«За всю мою жизнь два русскихъ мыслящихъ человѣка имѣли на меня большое нравственное вліяніе и обогатили мою мысль и уяснили мнѣ мое міросозерцаніе. Люди эти были не русскіе поэты, ученые, проповѣдники; это были два живущіе теперь замѣчательныхъ человѣка, оба крестьяне: Сютаевъ и Бондаревъ».

Бондаревъ былъ писатель соціально-утопическій и религіозно-блуждающій. Во многомъ онъ напоминаетъ самого Толстого, будучи — конечно, болѣе мелкаго калибра... Нынѣ этотъ писатель совершенно неизвѣстенъ и просто не существуетъ въ русской литературѣ. Извѣстно лишь, что онъ былъ сектанттомъ-субботникомъ (іудействующимъ), былъ сосланъ въ г. Минусинскъ и тамъ умеръ.

Толстой высказалъ о Бондаревѣ удивительное пророчество, сравнивъ его будущее вліяніе на міръ съ вліяніемъ апостола Павла... Чтобы не быть заподозрѣнными въ искаженіи мысли Льва Николаевича — столь неожиданной, — мы приведемъ отрывокъ его статьи изъ словаря Венгерова:

«Какъ странно и дико показалось бы утонченно образованнымъ римлянамъ 1-го столѣтія, если бы кто-нибудь сказалъ имъ, что полуграмотныя, запутанныя, часто непонятныя письма странствующаго еврея къ своимъ друзьямъ и ученикамъ, будутъ въ сто, тысячу, въ сотню тысячъ разъ больше читаться, больше распространены и вліять на людей, чѣмъ всѣ любимыя утонченными людьми поэмы, оды, элегіи и элегантныя посланія сочинителей того времени. А между тѣмъ это случилось съ посланіями Павла. Точно такъ же странно и дико должно показаться людямъ теперешнее мое утвержденіе, что сочиненіе Бондарева, надъ наивностью котораго мы снисходительно улыбаемся съ высоты своего умственнаго величія, переживетъ всѣ тѣ сочиненія, которыя описаны въ этомъ лексиконѣ и произведетъ большее впечатлѣніе на людей, чѣмъ всѣ они, взятыя вмѣстѣ. А между тѣмъ я увѣренъ, что это будетъ такъ».

* * *

Отрицая нужность и цѣнность какой-бы то ни было власти и внѣшней силы на землѣ, Толстой естественно встрѣчалъ ото всѣхъ, не покоренныхъ его идеями людей неизбѣжный вопросъ: «А что если разбойникъ при мнѣ нападетъ на ребенка и будетъ

его убивать? ... что я долженъ? Уйти? или увѣщать разбойника своими нравственными аргументами? Непоколебимо надѣяться на силу своего добра и на силу добра въ разбойникѣ, и остаться лишь свидѣтелемъ насилій надъ беззащитными и ближними? ...»

Толстой всегда отбѣгалъ въ сторону отъ этихъ прямыхъ вопросовъ, съ нескрываемымъ раздраженіемъ.

«Фантастическаго разбойника никто не видалъ, а стонущій отъ насилія міръ предъ глазами всѣхъ. А между тѣмъ никто не видитъ, не хочетъ видѣть того, что борьба, которая можетъ освободить человѣчество отъ насилія, не есть борьба съ фантастическимъ разбойникомъ, а съ тѣми реальными разбойниками, которые насилуютъ людей. Непротивленіе злу насиліемъ вездѣ означаетъ только то, что средства взаимодѣйствія разумныхъ существъ другъ на друга должны состоять не въ насиліи, которое можно допустить только по отношенію къ низшимъ организмамъ, лишеннымъ разсудка, а въ разумномъ убѣжденіи; и что къ этой замѣнѣ насилія разумнымъ убѣжденіемъ и должны стремиться всѣ люди, желающіе службы благу человѣчества» (отвѣтъ Брайану). Въ предисловіи къ сочиненіямъ Гаррисона, Толстой пишетъ, что люди потому такъ трудно воспринимаютъ это ученіе, о непротивленіи злу насиліемъ, что «боятся потерять свое привилегированное положеніе».

Легко видѣть, что это, нравственно осуждающее многихъ людей, толкованіе, совсѣмъ не характеризуетъ христіанскаго отношенія къ сознательному пріятію властей, какъ воли Божіей въ этомъ несовершенномъ мірѣ.

Вѣра Евангелія — не утопична. Слово Божіе призываетъ отдавать «кесарево-кесарю» послѣ того, какъ Божье отдано Богу. Оно призываетъ не только признать и «оправдывать», но чтить властей, отъ Бога поставленныхъ на охраненіе добрыхъ и беззащитныхъ людей отъ злыхъ и вооруженныхъ на зло. «Начальникъ — Божій слуга», «не напрасно мечъ носитъ»... Такова концепція апостоловъ.

Вл. С. Соловьевъ, правильно интерпретируя апостольское міросозерцаніе въ вопросѣ отношенія къ гражданскимъ властямъ (отвѣчая одновременно какъ соціализму, такъ и толстовству), говоритъ: «Государство не имѣетъ цѣли устанавливать на землѣ рай; оно стремится не допустить на землѣ ада».

Но Толстой не вѣрилъ, что есть опасность наступленія на землѣ ада, если устранится государство съ его аппаратами принужденія, связыванія и устрашенія злыхъ. Толстой вѣдь не вѣрилъ (какъ вѣруетъ Церковь и учитъ Библія), что человѣкъ извращенъ, въ доброй природѣ своей, съ самаго зачатія, отъ

общаго первороднаго грѣха! Толстовство не вѣрило въ то, что если не сдерживать человѣчество страхомъ наказанія и внѣшней силой сопротивленія человѣческому преступленію, — то земля сразу же превратится въ то, во что превращались мѣста Украйны во время хозяйничанья тамъ «зеленыхъ» грабителей. Отстраните всякую вооруженную силу отъ городовъ и объявите, что съ завтрашняго дня преступленія будутъ лишь «морально» осуждаться философами и поэтами, — что будетъ?

Не трудно это вообразить...

Въ этомъ мірѣ, Христовъ духъ дѣйствуетъ, какъ закваска, не отмѣняя — до Послѣдняго Суда — никакихъ формъ ветхаго міра: ни соціальныхъ, ни біологическихъ... Лишь стремленіе преобразить изнутри всякое плотское явленіе и посвящаетъ его добру, свѣту, Христу.

Только достигшіе благодатной жизни во Христѣ, отрѣшенія отъ всѣхъ цѣнностей міра и своей души, люди возвышаются надъ необходимостью имѣть для себя «сдерживающее начало» въ лицѣ государственныхъ властей... Такихъ людей и государство въ исторіи нерѣдко освобождало отъ государственныхъ попеченій. (Въ Царской Россіи напр. монашество не призывалось на войну...)

Но для всего міра еще не преображеннаго во Христѣ служеніе любви имѣетъ и государственныя формы, гдѣ христіане проявляютъ свой духъ, свою соль, и испытываются въ вѣрности Богу.

Христіанинъ — лучшій гражданинъ во всѣхъ смыслахъ. Объ этомъ свидѣтельствовали древніе христіанскіе апологеты, это утверждали мученики и являли глазамъ міра такіе воины, какъ Георгій Побѣдоносецъ, Ѳеодоръ Стратилатъ, Іоаннъ-воинъ и множество иныхъ слугъ Божіихъ — на всѣхъ путяхъ сего міра.

Въ послѣдній періодъ своего проповѣдничества, Толстой, окруженный всѣми правдивыми доводами противъ своего «непротивленія», внесъ нѣкоторую поправку въ свое ученіе: оговоривъ его необходимостью постепеннаго прихода къ этой истинѣ, не насильственнаго. Но эта поправка была бы морально цѣнной только въ томъ случаѣ, если бы Толстой честно призналъ необходимость — хотя бы «пока»! войскъ, полиціи, государственнаго принужденія, судовъ. Но Толстой не только не призналъ этой, хотя бы временной необходимости государственнаго принудительнаго аппарата, но до конца своихъ долгихъ дней не уставая боролся со всякой властью, разлагая

и дискредитируя самый ея аппаратъ, самое основаніе и смыслъ ея. Казалось бы — логически и христіански — надо было заботиться только объ открытіи людямъ добра, свѣта, справедливости ,трезвости, любви... Это было бы выраженіемъ и самой свѣтлой вѣры въ силу свѣта... Однако, Толстой возстаетъ противъ власти, какъ таковой, противъ этого «начальника, носящаго мечъ въ наказаніе злымъ», которому ап. Павелъ завѣщалъ оказывать уваженіе, какъ человѣку, занимающемуся добрымъ, полезнымъ для людей дѣломъ.

Иногда кажется, что Толстой говоритъ, какъ христіанинъ. Вѣдь христіане совсѣмъ не считаютъ идеальной и окончательной ту форму жизни міра, которая нынѣ выражается часто несправедливыми судами, нравственно-несовершенными правителями, корыстными и жестокими воинами. Отличительная черта истинныхъ христіанъ есть томленіе по «новому небу и новой землѣ», на «которыхъ правда живетъ». Какъ глубоко предъ Богомъ оправданы эти томленія русскаго народа «по градѣ Китежѣ» затонувшемъ, и — всѣхъ народовъ по «золотому вѣку». Это есть въ большей или меньшей мѣрѣ осознаваемая и проявленная вѣра людей въ Небесный Городъ Іерусалимъ, гдѣ «ворота не будутъ запираться днемъ, а ночи тамъ не будетъ». Гдѣ луна, и звѣзды, и солнце, всѣ цари и власти передадутъ свой свѣтъ и силу и власть — Единому Царю міра и обновленнаго человѣчества — Господу Іисусу Христу, «Агнцу, побѣдившему міръ», силой Своей любви, и открывшему новое бытіе, послѣ апокалиптическо-огненнаго уничтоженія временнаго несовершеннаго порядка, «ветхаго неба и ветхой земли», на которыхъ правда, хотя и живетъ, отчасти, но только какъ гонимая и умерщвляемая...

Но — далеко толстовское видѣніе несовершенствъ міра отъ этого богооткровеннаго Свѣта.

Узкая, анти-телеологическая мораль; горчайшее осужденіе всякаго проявленія «власти», внѣшне-сдерживающаго начала въ мірѣ; отсутствіе видѣнія христіанскаго конца исторіи и цѣли человѣческой жизни, какъ — личнаго и мірового спасенія въ вѣчности, — все это дѣлаетъ религіозно-безсодержательнымъ и то вѣрное, что говорилъ Толстой о злѣ и лицемѣріи христіанскаго общества.

*

* *

Послѣ цареубійства 1-го марта, мысль и чувства Льва Николаевича обратились всецѣло и только въ сторону возможной казни цареубійцъ... «О томъ, какъ на меня подѣйствовало 1-ое марта, не могу ничего сказать опредѣленнаго особенно. Но судъ надъ убійцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно изъ самыхъ сильныхъ впечатлѣній моей жизни. Я не могъ перестать думать о нихъ, но не столько о нихъ, сколько о тѣхъ, кто готовился участвовать въ ихъ убійствѣ и особенно объ Александрѣ III. Мнѣ такъ ясно было, какое радостное чувство онъ могъ испытать, простивъ ихъ. Я не могъ вѣрить, что ихъ казнятъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ боялся и мучился за ихъ убійцъ. Помню, съ этой мыслію я послѣ обѣда легъ внизу на кожаный диванъ и неожиданно задремалъ и во снѣ, въ полуснѣ, подумалъ о нихъ и о готовящемся убійствѣ, и почувствовалъ такъ ясно, какъ будто это все было наяву, что не ихъ казнятъ, а меня, и казнятъ не... съ палачами и судьями, а я же и казню ихъ, и я съ кошмарнымъ ужасомъ проснулся. И тутъ написалъ письмо».

Подъ вліяніемъ этого сна, его потрясшаго «кошмарнымъ ужасомъ», Толстой написалъ письмо Императору. Вотъ его текстъ въ первоначальной (лучшей, какъ думаетъ Бирюковъ) редакціи:

«Ваше Императорское Величество!»... Черезъ двадцать лѣтъ Толстой, обращаясь къ новому русскому Императору, будетъ писать уже «Любезный братъ»... Но теперь еще художественное чувство мѣры и вкуса не покинуло его.

«Я ничтожный, не призванный и слабый, плохой человѣкъ, пишу русскому Императору и совѣтую ему, что ему дѣлать въ самыхъ сложныхъ, трудныхъ обстоятельствахъ, которыя когда либо бывали. Я чувствую, какъ это странно, неприлично, дерзко, и все таки пишу...» и т. д.

Ничего, конечно, страннаго не было въ томъ, что Толстой рѣшился писать Императору. Государямъ писали нерѣдко.

Письмо Толстого интересно намъ сейчасъ не по основному своему содержанію: призыву помиловать убійцъ Императора-отца, дать имъ денегъ, услать въ Америку и написать «манифестъ со словами вверху: «Я говорю: любите враговъ своихъ»... (За этотъ актъ Толстой обѣщался быть «собакой, рабомъ» новаго Государя и плакать отъ умиленія»), сколь — по отсутствію убѣжденія въ Толстомъ, что обязанности Царя, какъ верховнаго правителя Россіи, з а к л ю ч а ю т ъ в ъ с е б ѣ о т в ѣ т с т в е н н о с т ь п р е д ъ Б о г о м ъ... Удивительно, до какой степени Толстой не по христіански воспринимаетъ великую отвѣтственность предъ Богомъ правителя страны!

«Богъ не спроситъ Васъ объ исполненіи обязанности царя,

не спроситъ объ исполненіи царской обязанности, а спроситъ объ исполненіи человѣческихъ обязанностей». «Положеніе Ваше ужасно...» «На Вашу долю выпало ужаснѣйшее изъ искушеній. Но какъ ни ужасно оно, ученіе Христа разрушаетъ его»... и далѣе слѣдуетъ 6 цитатъ изъ Нагорной Проповѣди, ни одна не имѣющая прямого отношенія къ тому вопросу, о которомъ пишетъ Толстой.

Единственное нравственное оправданіе, которое могло коснуться цареубійцъ, это — смерть отъ того меча, который они неправедно подняли и въ чемъ раскаяться не хотѣли; ибо «взявшій мечъ, отъ меча погибнетъ». Толстой хотѣлъ лишить ихъ послѣдняго нравственнаго оправданія — страданія за свои убѣжденія. Мы не говоримъ сейчасъ съ точки зрѣнія властей... Власти не только не могли помиловать преступниковъ (совсѣмъ къ тому же не раскаивающихся и готовыхъ на безчисленныя новыя убійства), но власти согрѣшили бы предъ Богомъ, если бы оставили безъ удовлетворенія правосудія этотъ вопросъ, наградивъ убійцъ деньгами и давъ имъ благополучно — на пролитой ими невинной царской крови — устроить свою благодушную жизнь въ Америкѣ, или же — просубсидировать такимъ прямымъ образомъ расширеніе ихъ террористической безбожной организаціи.

То, что Толстой предлагалъ Царю, доказывало всю нежизненность, духовную нереальность его моральной и соціальной мысли, могшей только легко цитировать нѣсколько — оторванныхъ отъ контекста всего Евангелія — текстовъ

Предложи Толстой Государю замѣнить смертную казнь пожизненной каторгой или крѣпостью, — это было бы въ предѣлахъ соціальной и духовной реальности, какъ бы ни смотрѣть на этотъ вопросъ. Но то, что писалъ Толстой, это просто было — внѣ реальности... Реальный же шумъ изъ этого создавался и расшатывалась власть, которую надо было христіанину охранять и беречь.

Искренно и правдиво отвѣтилъ Толстому столь осмѣиваемый имъ К. П. Побѣдоносцевъ (чрезъ котораго Толстой хотѣлъ передать это свое письмо Государю):

«Не взыщите, достопочтеннѣйшій графъ Левъ Николаевичъ, во 1-хъ то, что я оставилъ до сего времени безъ отвѣта письмо Ваше, врученное мнѣ Н. Н. Страховымъ. Это произошло не изъ неучтивости или равнодушія, а отъ невозможности опознаться вскорѣ въ той суетѣ и путаницѣ мыслей и заботъ, которая одолѣвала и не перестаетъ еще одолѣвать меня послѣ 1-го марта.

Во вторыхъ не взыщите за то, что я уклонился отъ исполненія Вашего порученія. Въ такомъ важномъ дѣлѣ все должно дѣ-

латься по вѣрѣ. А прочитавъ письмо Ваше, я увидѣлъ, что вѣра Ваша одна, а моя и церковная другая, и что нашъ Христосъ — не Вашъ Христосъ.

Своего я знаю мужемъ силы и истины, исцѣляющимъ разслабленныхъ, а въ Вашемъ показались мнѣ черты разслабленнаго, который самъ требуетъ исцѣленія. Вотъ почему я по своей вѣрѣ и не могъ исполнить Ваше порученіе.

Душевно уважающій и преданный Вамъ
К. Побѣдоносцевъ».
Петербургъ, 15 іюня 1881 г.

*
* *

Льву Николаевичу, какъ художнику и моралисту, бывало дано, иногда, благо — видѣть въ зеркалѣ души другого человѣка свои собственныя черты; и, даже, узнавать ихъ. Но душа его не пробуждалась и отъ такихъ видѣній.

По возвращеніи его съ голодныхъ мѣстъ, пріѣхалъ къ нему въ Ясную шведъ. Въ письмѣ къ Софьѣ Андреевнѣ, Левъ Николаевичъ признаетъ его «похожимъ» на себя. Это былъ, по описанію В. И. Скороходова, «старикъ лѣтъ 70».

«На немъ былъ надѣтъ какой-то сѣрый плащъ, соломенная шляпа, опорки на босу ногу, длинная рубаха и подштанники; длинные сѣдые волосы ложились по плечамъ, и лицо обрамлено большой сѣдой бородой; изъ подъ нависшихъ бровей смотрѣли ясные и вдохновенные глаза. Съ собой у него былъ джутовый мѣшокъ, служившій ему постелью, и пустая бутылка вмѣсто подушки и для воды. Такъ онъ пришелъ со станціи верстъ за 30, по морозу, пѣшкомъ. Онъ разсказалъ, что давно уже посвятилъ свою жизнь исканію истины и съ этой цѣлью путешествовалъ по всему міру. Познакомившись по книгамъ съ міровоззрѣніемъ Толстого, онъ почувствовалъ свою духовную близость къ нему и теперь пріѣхалъ для того, чтобы прожить остатокъ дней въ братскомъ трудѣ со Львомъ Николаевичемъ и осуществить свою завѣтную мечту, добывать себѣ хлѣбъ собственными руками, не насилуя никого, даже животныхъ, при помощи лопатной культуры. Шведъ этотъ, когда говорилъ, напоминалъ собою вдохновеннаго пророка. Онъ произвелъ огромное впечатлѣніе на Л. Н—ча, который почувствовалъ какъ бы укоръ совѣсти за то, что онъ не вполнѣ проводитъ въ жизнь то, что ему уяснилось. Съ юношескимъ увлеченіемъ Л. Н—чъ сталъ хлопотать о томъ, чтобы съ

открытіемъ весны начать проводить на дѣлѣ то, что предлагалъ ему братъ по духу. Шведъ этотъ оказался строгимъ вегетарьянцемъ, питался только фруктами, овощами и лепешками изъ толченаго, а не молотаго зерна, и пилъ только воду. Когда за завтракомъ подали большой самоваръ, шведъ поднялся и, какъ пророкъ, съ укоризной произнесъ, указывая на самоваръ: «И вы поклоняетесь этому идолу! Я имѣю миссію отъ китайцевъ, которые страдаютъ отъ того, что лучшія ихъ земли заняты чайными плантаціями, и негдѣ имъ сѣять хлѣба насущнаго. Это происходитъ отъ спроса на чай. Вы должны отказаться отъ употребленія чая, если вы знаете, что, употребляя чай, вы этимъ участвуете въ отнятіи насущнаго хлѣба у нашихъ братьевъ китайцевъ». Левъ Николаевичъ со смущеніемъ перевелъ намъ это съ англійскаго и предложилъ послѣдовать этому призыву».

«Пересталъ самъ пить чай, его замѣнили ячменнымъ кофе, и самоваръ былъ убранъ. Когда Левъ Н—чъ предложилъ ему чашку кофе, объяснивъ, что это мѣстный продуктъ, то шведъ, остудивъ предварительно, попробовлъ и сказалъ: «Грѣшно портить такъ хлѣбъ!» и не сталъ пить.

«Левъ Н—чъ окончательно смутился и постепенно довелъ свою скромную вегетарьянскую пищу почти до того-же, какъ и шведъ... Его организмъ не могъ перенести такой грубой пищи. Въ то время Л. Н. страдалъ отъ камней въ печени, болѣзнь усилилась, и послѣ мучительныхъ припадковъ, онъ съ большимъ прискорбіемъ долженъ былъ снова вернуться къ менѣе строгому вегетарьянству, допуская молоко и яйца. Весной они таки устроили хлѣбный огородъ, но шведа этого выслали изъ Россіи, такъ какъ онъ не признавалъ паспорта».

Личность шведа освѣщаетъ и В. М. Величкина:

«Одинъ разъ, вернувшись откуда-то, я увидѣла въ столовой на столѣ рваную войлочную шляпу.

— «А у насъ интересный гость, Вѣра Михайловна, — сказалъ мнѣ улыбаясь Левъ Николаевичъ.

— Кто такой?

— А вотъ увидите.

И, войдя въ комнату, гдѣ у насъ лежали разные журналы и бумаги, я дѣйствительно увидѣла на полу въ углу чьи-то торчащія голыя ноги. Эти ноги принадлежали «интересному гостю». Гостемъ оказался старикъ, лѣтъ 70-ти, маленькій, заморенный, одѣтый въ какую-то совсѣмъ вытертую куртку, босой, растрепанный, но съ живымъ и какимъ-то ненормальнымъ блескомъ глазъ. Выраженіе его лица не привлекало къ себѣ, и, правду сказать, не-

смотря на всю свою оригинальность, сначала и до конца онъ мнѣ не былъ интересенъ.

Что же касается до Льва Николаевича и до большинства остальныхъ товарищей, то они почти всѣ въ высшей степени заинтересовались этимъ философомъ-натуралистомъ. Самое появленіе его у насъ было необыкновенно. Когда его спросили, откуда онъ явился, онъ отвѣтилъ: «изъ пространства». На вопросъ, куда онъ направляется, послѣдовалъ отвѣтъ: «въ пространство». А настоящее его мѣстожительство? «Здѣсь». Пришлось помириться пока на этомъ. Потомъ онъ далъ нѣкоторыя свѣдѣнія о себѣ.

При немъ оказался даже какой-то билетъ на жительство, который требовался нашей полиціей, не признававшей неопредѣленнаго «пространства».

По національности нашъ гость оказался шведомъ. Онъ разсказалъ намъ, что былъ когда-то богатымъ коммерсантомъ, но потомъ понялъ всю несправедливость своего богатства, роздалъ его до копейки бѣднымъ и вотъ уже тридцать лѣтъ странствуетъ по всему свѣту, былъ въ Индіи и въ Китаѣ и сейчасъ явился къ намъ откуда-то съ востока.

Онъ рѣшилъ сажать картошку на какомъ-то клочкѣ земли, который ему предоставили для этого занятія... Слабый, истощенный старикъ работалъ, разумѣется, очень плохо.

Разъ онъ какъ-то увидѣлъ, какъ быстро и ловко вскапывалъ лопатой поле М. Ал., и залюбовался имъ. — Онъ можетъ прокормить трехъ женъ и десять человѣкъ дѣтей, — заявилъ онъ. Его натуральной философіи нисколько не противорѣчило имѣть этихъ трехъ женъ и десять человѣкъ дѣтей, разъ онъ ихъ можетъ прокормить. Эта сторона его философіи, какъ мнѣ казалось, стала немножко отталкивать Льва Н—ча. Но его остроумная и безпощадная критика богатыхъ людей и несправедливаго экономическаго строя жизни могла дѣйствительно серьезно заинтересовать его собесѣдниковъ.

Философъ нашъ не только не признавалъ мебели, но почти не признавалъ и костюма, и его собственный нищенскій костюмъ былъ, до нѣкоторой степени, только уступкой полиціи. Но случалось, что онъ сидѣлъ завернутый только въ одно одѣяло, но, къ счастью, не выходилъ въ такомъ видѣ въ залу. Обуви онъ никогда не носилъ, и въ холодные дни намъ было очень жалко старика. Вмѣсто подушки онъ спалъ на бутылкѣ, находя, что подушка портитъ слухъ.

Однажды онъ захотѣлъ приготовить хлѣбъ по своему методу.

«Лучше всего, разумѣется, ѣсть зерна сырыми, — говорилъ

снъ, — но какъ уступку человѣческой слабости, разрѣшалъ и печеніе хлѣба. Муку же онъ толокъ самъ изъ зеренъ. Принесли ему зерна, ступку, и онъ принялся за дѣло. Но бѣдный старикъ былъ такъ слабъ, что и здѣсь пришлось ему помогать. Смѣшавъ приготовленную муку съ водой, — молока старикъ тоже не употреблялъ, говоря, что его собственная мать уже умерла, — онъ приготовилъ какую-то лепешку и испекъ ее. Лепешку подали къ обѣду, и Левъ Н—чъ, которому вреденъ былъ и хорошій черный хлѣбъ, увлекся и поѣлъ этой знаменитой, непропеченной, непромѣшанной лепешки.

На другой день съ утра ему сдѣлалось очень дурно. Поднялись боли, въ печени стали проходить камни. Марья Львовна страшно взволновалась, и когда я хотѣла идти куда-то по дѣлу, она не пустила меня.

— Не оставляй меня сегодня, пожалуйста, одну, — попросила она.

Я осталась. Ужасный день провели мы. Боли у Льва Н—ча все усиливались и сдѣлались совершенно невыносимыми. Онъ началъ страшно стонать. Марья Львовна клала ему припарки изъ льняного сѣмени; я изготовляла ихъ; но, очевидно, помогали онѣ плохо. Стоны все раздавались, и эти ужасные стоны просто терзали душу, а мы были, конечно, безсильны.

Такъ продолжалось нѣсколько часовъ. Только къ вечеру боли мало по малу стали уменьшаться, стоны стихли, и, измученный страданіями, Левъ Н—чъ наконецъ заснулъ.

Марья Львовна послала телеграмму Софьѣ Андреевнѣ, и когда я ее спросила, зачѣмъ, то она сказала мнѣ, что во время такого припадка Левъ Н—чъ можетъ внезапно умереть.

Когда на другое утро Левъ Н—чъ вышелъ въ столовую, его нельзя было просто узнать — такъ страшно измѣнился онъ за эти сутки. Тяжело было смотрѣть на его похудѣвшее, смертельно блѣдное лицо, и мы невольно ходили и говорили тихо. Но къ вечеру онъ немного повеселѣлъ, и у насъ поднялся снова одинъ изъ самыхъ задушевныхъ разговоровъ.

Вдругъ у крыльца послышался звонъ колокольчика, затѣмъ какое-то движеніе, и съ балкона въ залу вошла Софья Андреевна. Всѣ сразу стихли и какъ-то смутились.

Софья Андреевна пріѣхала взволнованная, сердитая, и стала разспрашивать, что случилось. Философъ въ это время мирно спалъ на полу, выставивъ какъ-то свои ноги. Софья Андреевна скоро замѣтила его.

— А это еще что за голыя ноги?

Пришлось разсказать ей всю исторію и познакомить съ об-

ладателемъ голыхъ ногъ... Софья Андреевна осталась у насъ нѣсколько дней и съ своимъ хозяйственнымъ умѣньемъ стала приводить въ порядокъ нашу довольно таки безпорядочную жизнь».

*
* *

Душа Толстого сильно притянула къ себѣ душу русской интеллигенціи, не только своимъ художественнымъ талантомъ, но и своимъ этическимъ максимализмомъ.

Отрекаясь отъ всѣхъ условностей и многихъ цѣнностей міра, которымъ русскій человѣкъ никогда не придавалъ рѣшающаго значенія въ жизни, Толстой взывалъ къ правдѣ, которую любитъ русскій человѣкъ, даже на всѣхъ ступеняхъ своего паденія. И Толстой часто высказывалъ эту правду жизни своимъ художественно-правдивымъ голосомъ.

Но, отошедшій отъ Церкви русскій человѣкъ, не видѣлъ, что Толстой неправедно похищалъ, какъ Прометей, огнь духовнаго, религіознаго разумѣнія, своей художественной «душевной» интуиціей.

За исключеніемъ единицъ, русское общество не осознавало этого и не замѣчало лже-пророческихъ признаковъ въ его пророческомъ вдохновеніи.

Религіозная неправда Толстого утверждалась его удивительной художественной правдой. Ею онъ видѣлъ многія язвы и раны современнаго ему общества.

Г. П. Данилевскій *) приводитъ намъ слова Толстого, которыя и сейчасъ способны взволновать насъ своей этической правдой.

«Болѣе тридцати лѣтъ назадъ», сказалъ Л. Н—чъ, «когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать — въ стомилліонномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь, послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ, они, по всей вѣроятности, считаются милліонами. И эти милліоны русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчата съ раскрытыми ртами, и говорятъ намъ: господа, родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи: пишите для насъ, жаждущихъ живого, литературнаго слова, избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Еруслановъ Лазаревичей, Милор-

———

*) «Историческій Вѣстникъ» т. III. 1886.

довъ Георговъ и прочей рыночной пищи. Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился, по мѣрѣ силъ, попытаться на этомъ поприщѣ»...

Но чѣмъ же самъ Толстой отвѣтилъ на муки этого духовнаго голода въ русскомъ народѣ?

Переводами Мопасана, Марка Аврелія, Конфуція, Канта, Генри Джорджа? Размышленіями надъ Евангеліемъ лѣво-протестантскихъ американцевъ раціоналистовъ? ... Своимъ собственнымъ «изложеніемъ» Евангелія, гдѣ удостовѣрялась безсмысленность всего самаго глубокаго и истиннаго въ Словѣ Божьемъ?

*
* *

Откинувъ, какъ шелуху, барскую затѣю, всѣ евангельскія слова автора новаго «матеріалистическаго» евангелія, Ленинъ вѣрно почувствовалъ въ нравственныхъ обличеніяхъ Толстого страшную, ему нужную, разрушающую силу. Правда Толстого взрывала міръ, старое міросозерцаніе православной христіанской Россіи. Не грѣхи русскаго народа она ампутировала, но — самую Россію въ ея святынѣ народной. Не грѣхи міра, но весь міръ, во всемъ его строѣ и порядкѣ... Это, какъ разъ, нужно было Ленину! Въ положительное ученіе Толстого Ленинъ не вѣрилъ; и, не только лично не вѣрилъ, но не вѣрилъ, вообще, что въ него можно вѣрить.

«Какъ у агнца», были рога у Толстого, въ отношеніи многихъ сторонъ жизни... И это проявлялось въ его отреченіи отъ міра и отъ всего въ мірѣ — безъ прихода ко Христу, безъ нахожденія всего міра во Христѣ.

Нѣкій псевдо-иноческій духъ отреченія владѣлъ Толстымъ; аскетизмъ, не христіанскій, а духовно-нигилистическій.

Это былъ духъ разрушенія міра, безъ его воскресенія.

*
* *

Совѣтскіе публицисты не безъ нѣкоторой правдивости, въ своемъ цинизмѣ обнаруживаютъ въ Толстомъ зарядъ нужной имъ революціи.

«Левъ Толстой никогда не скрывалъ своего отношенія къ

буржуазной интеллигенціи. Онъ видѣлъ въ ней прислужницу тѣхъ, кто обманываетъ и угнетаетъ народъ... Но забывъ о глубокомъ презрѣніи, которое всегда испытывалъ Левъ Толстой къ буржуазной интеллигенціи, ея барды и выразители — отъ кадетовъ до меньшевиковъ — единодушно оскверняли свѣжую могилу фарисейскими славословіями, напыщенной и пустой болтовней. Эта попытка угнетателей народа нажить политическій капиталъ на смерти великаго художника была разоблачена В. И. Ленинымъ. Онъ сорвалъ маски съ либеральныхъ фарисеевъ, пытавшихся прикрыть свое предательство тѣнью великаго художника. Напыщенно называя Льва Толстого «совѣстью человѣчества», «глашатаемъ вѣчной истины», либеральные публицисты всячески замалчивали конкретное содержаніе его критики. Они не могли высказать прямо и ясно своей оцѣнки взглядовъ Толстого на частную поземельную собственность, на капитализмъ» — писалъ В. И. Ленинъ... Ленинъ разсматривалъ Льва Толстого — художника, мыслителя и проповѣдника — неразрывно въ его противорѣчивомъ единствѣ. И въ самыхъ противорѣчіяхъ Льва Толстого онъ видѣлъ не случайность и не личную особенность геніальнаго художника, но отраженіе опредѣленной исторической дѣйствительности, онъ видѣлъ въ немъ зеркало слабости, недостатковъ нашего крестьянскаго возстанія, отраженіе мягкотѣлости патріархальной деревни. Лвъ Толстой вмѣстѣ съ многомилліоннымъ крестьянствомъ ненавидѣлъ Барина и чиновника. Эта ненависть въ его творчествѣ перерастала (вѣроятно, авторъ хотѣлъ сказать — вырастала А. І.) въ могучую критику окружающей дѣйствительности. Но критика эта находила свое разрѣшеніе не въ организованной борьбѣ съ угнетателями, но въ резонерствѣ, молитвѣ, упованіи на небеса. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошенія и посылала ходателей совсѣмъ въ духѣ Льва Николаевича Толстого, — писалъ В. И. Ленинъ. Левъ Толстой, умолявшій Столыпина внять голосу Генри Джорджа, развѣ не былъ такимъ крестьянскимъ ходателемъ, вѣрившимъ, что словомъ и убѣжденіемъ можно двигать горами? Чѣмъ непримиримѣе бичевалъ Левъ Толстой капиталистическое общество, тѣмъ безпомощнѣе становились его попытки реформировать человѣчество на основахъ новой религіи, найти разрѣшеніе всѣмъ бѣдамъ въ системѣ «бужуазного націонализатора земли» Генри Джорджа. Въ своемъ отрицаніи Левъ Толстой былъ суровъ и прямолиненъ...» *)

---

*) А. Старчаковъ. «Новый Міръ», 1935. XI. Москва.

Для безфилософичнаго, «шорнаго», утилитаристичнаго ленинизма, несовершенство Толстого только въ томъ, что онъ «не былъ организованъ», не боролся съ правительствомъ чрезъ созданіе «революціонной организаціи».

Но, именно, благодаря своей обособленной критикѣ всѣхъ и вся (а въ томъ числѣ и самихъ организующихся революціонеровъ), Толстой смогъ остаться свободнымъ въ Россіи, и сотворить наиболѣе удобно всю свою идеологическую работу по разложенію русской государственности и подрыву православной вѣры.

Сила «мягкотѣлыхъ» писемъ Толстого къ императорамъ и министрамъ была разрушительнѣе многихъ революціонныхъ пироксилиновъ и динамитовъ.

* * *

Толстой отрицалъ не только русское, бывшее въ его время правительство, но и всѣ правительства и власти въ мірѣ. Отрицалъ не въ силу нравственнаго несовершенства данныхъ правительствъ, но принципіально, идеологически, считая всякую власть «не отъ Бога». Онъ считалъ, что лишь безъ властей, безъ правительствъ, безъ войска, безъ полиціи, безъ судовъ, люди заживутъ мирно и счастливо. Законъ Божій будетъ въ ихъ сердцахъ. «Всѣ будутъ научены Богомъ» — эту мысль пророка Исаіи, относящуюся къ Новому преображенному міру, гдѣ царствовать будетъ Мессія, и гдѣ въ его волѣ и всецѣлой покорности ему всѣ будутъ жить, онъ прилагалъ къ этому, несовершенному, падшему міру, находящемуся подъ непрестаннымъ вліяніемъ злыхъ невидимыхъ, но реально дѣйствующихъ силъ.

Ни на чемъ научно-историческомъ или религіозно-богооткровенномъ не основанная мысль, и никакимъ опытомъ жизни не подтвержденная, была принята Толстымъ и фанатически имъ усвоена, какъ новая величайшая религіозная идея, могущая всѣхъ людей вдохновить и сдѣлать счастливыми.

Пророческую глубину посадки его религіозно-соціальнаго корабля, можно видѣть изъ слѣдующей записи:

«8-го мая. Нынче получилъ письмо матроса изъ Портъ-Артура: «Угодно ли Богу или нѣтъ, что насъ начальство заставляетъ убивать?» — Есть это сомнѣніе и я пишу о немъ, но знаю тоже, что есть великій мракъ въ огромномъ числѣ людей. Но какъ Кантъ говоритъ, какъ только ясно выражена истина, она не

можетъ не побѣдить все... Думается мнѣ, что для того, чтобы кончились войны (и съ войнами узаконенное насиліе), нужны вотъ какія историческія событія: нужно «1) чтобы Англія и Америка были въ войнахъ разбиты государствами, введшими общую воинскую повинность; 2) чтобы онѣ, вслѣдствіе этого, ввели общую воинскую повинность, и 3) что тогда только всѣ люди опомнятся».

Да не подумаетъ кто, что послѣдователи его несерьезно отнеслись къ этимъ предсказаніямъ. Сообщая эту запись въ своей Біографіи, Бирюковъ добавляетъ: «Часть этого пророчества исполнилась. Въ послѣдней міровой войнѣ Англія была временно побѣждена, по крайней мѣрѣ ей угрожало пораженіе Германіей. И Англія, а потомъ и Америка, ввели обязательную воинскую повинность. Конечно, это значительно подвинуло дѣло мира. Всѣ народы узнали всѣ ужасы войны. Теперь уже нельзя никого обмануть патріотизмомъ. Революціонное выступленіе Россіи какъ будто задерживаетъ рѣшеніе этого вопроса, а можетъ быть, и ускоряетъ, т. к. исчерпываетъ послѣднее оправданіе войны. И мы вѣримъ, что конецъ ея близокъ...» Такъ пишетъ въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія одинъ изъ самыхъ вдумчивыхъ учениковъ Толстого. *)

Но — ученики Христовы не забудутъ словъ своего Учителя: «Берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ; ибо многіе придутъ подъ именемъ Моимъ... услышите о войнахъ и военныхъ слухахъ. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежитъ всему тому быть. Ибо возстанетъ народъ на народъ, и царство на царство, и будутъ глады, моры и землетрясенія по мѣстамъ; все же это начало болѣзней... и многіе лжепророки возстанутъ и прельстятъ многихъ» (Мѳ. 24)...

---

*) Одна изъ самыхъ далекихъ, конечно, отъ Евангелія идей — идея всеобщаго вѣчнаго благоденствія народовъ, среди этого порядка міра, т. е. среди людей, въ огромной массѣ своей — совершенно нераскаянныхъ, исполненныхъ зависти, злобы и матеріализма.

ДНЕВНИКЪ СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ

Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος
ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται [ὑμῖν]
παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,
ἀνάθεμα ἔστω.

Πρὸς Γαλάτας I. 8

1901 *) 6 января. Кончила старый и начала новый годъ въ большомъ горѣ. Въ день Рождества, 25 декабря, получила извѣстіе о смерти Левушки, скончавшагося наканунѣ въ 9 час. вечера. Несмотря на нездоровье, я тотчасъ же уложила наскоро вещи и уѣхала въ Ясную. Проводилъ меня Илья. Пріѣхала вечеромъ, Дора бросилась въ мои объятья съ страшнымъ рыданьемъ. Лева — худой, нервный, обвиняющій и себя и жену и всѣхъ за смерть сына.

Потомъ извѣстіе, что Таня родила мертвую дѣвочку. Это такъ и ошеломило меня.

8 января. Весь день провела въ хлопотахъ: была въ банкѣ, клала деньги... Л. Н. боленъ, то зябнетъ, то животъ болитъ, унылъ и скученъ ужасно. Умирать ему не хочется, и когда онъ себѣ это представитъ, то видно, какъ это его ужасно огорчаетъ и пугаетъ.

10 января. Не весело и не бодро живется. У Л. Н. печень болѣзненна и опять разстройство пищеваренія; и онъ очень угнетенъ духомъ. Всю жизнь онъ, къ всегдашнему моему брезгливому удивленію, былъ необыкновенно озабоченъ тѣмъ, какъ дѣйствуетъ желудокъ.

14 января. Л. Н. худѣетъ и слабѣетъ нынѣшній годъ очень очевидно и это меня сильно огорчаетъ...

---

*) Въ данныхъ отрывкахъ записей года отлученія не пропущенъ ни одинъ день.

Л. Н. не работаетъ, унылъ, и странно! пробудилось въ немъ ко мнѣ любовное чувство...

19 января. Эти дни забота о здоровьѣ Льва Николаевича... Умственно онъ совсѣмъ завялъ, и это гнететъ его...

21 января. Живу, точно вихремъ меня несетъ.

28 января. Сегодня извѣстіе отъ Маши бѣдной, что ребенокъ опять въ ней умеръ и она лежитъ со схватками, грустная, огорченная обманутой надеждой, какъ и Таня. Мнѣ все время плакать хочется, и ужасно, ужасно жаль бѣдныхъ моихъ дѣвочекъ, изморенныхъ вегетарьянствомъ и принципами отца. Онъ, конечно, не могъ предвидѣть и знать того, что онѣ истощаются пищей настолько, что не въ состояніи будутъ питать въ утробѣ своихъ дѣтей.

31 января. Сегодня обвѣнчали Мишу съ Линой Глѣбовой... Мнѣ уже не бываетъ ни отъ чего весело. Я, къ сожалѣнію, знаю жизнь со всѣми ея осложненіями...

Л. Н. всю свадьбу просидѣлъ дома... Вечеромъ у него были сектанты изъ Дубовки и разные темные... *)

12 февраля. Еще рядъ событій: сегодня тяжелое извѣстіе о рожденіи мертваго мальчика у Маши Оболенской, дочери моей. Бѣдная, жалкая!..

Дѣти всегда такъ рады меня осудить и напасть на меня. Таня осуждала за безпорядокъ въ домѣ, Миша, уѣзжая съ Линой заграницу, за мою суету во время путешествій... И работаю я одна на всѣхъ и за всѣхъ. Веду всѣ дѣла одна, безъ мужа, безъ сыновей, дѣлаю мужское дѣло, и веду хозяйство дома, воспитаніе дѣтей, отношенія съ ними и людьми — тоже одна. Глаза слѣпнутъ, душа тоскуетъ, а требованія, требованія безъ конца... Всѣ эти дни онъ (Л. Н.) мраченъ, потому что слабъ и боится смерти ужасно. На-дняхъ спрашивалъ онъ у Янжула, боится ли тотъ смерти? Какъ не хочется Льву Николаевичу уходить изъ этой жизни.

Былъ у насъ 9-го числа музыкальный вечеръ... Всѣмъ было хорошо и весело въ этотъ вечеръ. Но Л. Н. очень старался придать всему отрицательный и насмѣшливый характеръ, и дѣти мои заражались, какъ всегда, его недоброжелательствомъ ко мнѣ и моимъ гостямъ.

Когда всѣ порядочные люди уже разъѣхались и Л. Н. уже надѣлъ халатъ и шелъ спать, въ залѣ остались студенты, кое кто барышни и Климентова-Муромцева. Стали всѣ (выпивъ за ужи-

---

*) «Темными» Софья Андреевна именовала послѣдователей Льва Николаевича, такъ наз. «толстовцевъ».

номъ) пѣть пѣсни русскія, цыганскія, фабричныя, Гиканье, подплясыванье, дикость... Я ушла внизъ, а Л. Н. сѣлъ въ уголокъ и началъ ихъ всѣхъ поощрять и одобрять и долго сидѣлъ.

15 февраля. ... Особенно жаль мнѣ все это время Л. Н. страхъ ли смерти, нездоровье ли, или что нибудь затаенное мучаетъ его; но я не помню въ немъ такого настроенія, постояннаго недовольства и убитости какой-то.

16 февраля. Больна Саша горломъ.

17 февраля. Опять къ Сашѣ докторъ, смазывалъ горло; все еще налетъ, жаръ меньше... Убирала дѣтскія вещи, которыя готовила Таниному и Машиному ребенку — и оба родились мертвые. Ужасно грустно! Заботъ много съ дѣтьми, а радости мало!

18 февраля. Вчера легла поздно подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ религіозныхъ разговоровъ Льва Николаевичъ и Булыгина. Говорили о томъ, что попъ въ парчевомъ мѣшкѣ даетъ пить скверное красное вино и это называется религіей. Левъ Николаевичъ глумился и грубо выражалъ свое негодованіе предъ Церковью. Булыгинъ говорилъ, что видитъ всегда въ церкви дьявола въ огромныхъ размѣрахъ.

Мнѣ стало и досадно и грустно все это слышать, и я стала громко выражать свое мнѣніе, что настоящая религія не можетъ видѣть ни парчеваго мѣшка священника, ни фланелевой блузы Льва Николаевича, ни рясы монаха. Все это безразлично.

20 февраля. Саша здорова, а Л. Н. все жалуется на запоръ, на боль печени, худѣетъ и наводитъ на меня мрачную грусть.

Сегодня онъ обѣдалъ одинъ, я подошла къ нему, поцѣловала его въ голову, — онъ такъ безучастно на меня посмотрѣлъ, а у меня точно упало сердце. — Вообще что-то безнадежное въ душѣ...

(Газетная вырѣзка, вклеенная въ дневникъ)

Божіей милостью

Святѣйшій Всероссійскій Синодъ вѣрнымъ чадамъ православныя каѳолическія греко-россійскія церкви

о Господѣ радоватися.

Молимъ вы, братіе, блюдитеся отъ творящихъ распри и раздоры, кромѣ ученія, ему же вы научистеся, и уклонитеся отъ нихъ (Римл. 16, 17).

Изначала Церковь Христова терпѣла хулы и нападенія отъ многочисленныхъ еретиковъ и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать въ существенныхъ ея основаніяхъ, утверждающихся на вѣрѣ во Христа, Сына Бога Живого. Но всѣ силы ада, по обѣтованію Господню, не могли одолѣть Церкви Святой, которая пребудетъ неодолѣнною во вѣки. И въ наши дни, Божіимъ попущеніемъ, явился новый лжеучитель, графъ Левъ Толстой. Извѣстный міру писатель, русскій по рожденію, православный по крещенію и воспитанію своему, графъ Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко возсталъ на Господа и на Христа Его и на святое Его достояніе, явно передъ всѣми отрекся отъ вскормившей и воспитавшей его матери, Церкви Православной, и посвятилъ свою литературную дѣятельность и данный ему отъ Бога талантъ на распространеніе въ народѣ ученій, противныхъ Христу и Церкви, и на истребленіе въ умахъ и сердцахъ людей вѣры отеческой, вѣры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселѣ держалась и крѣпка была Русь святая. Въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, въ множествѣ разсѣиваемыхъ имъ и его учениками по всему свѣту, въ особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, онъ проповѣдуетъ съ ревностью фанатика ниспроверженіе всѣхъ догматовъ православной Церкви и самой сущности вѣры христіанской; отвергаетъ личнаго живого Бога, во Святой Троицѣ славимаго, создателя и промыслителя вселенной, отрицаетъ Господа Іисуса Христа — Богочеловѣка, Искупителя и Спасителя міра, пострадавшаго насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія и воскресшаго изъ мертвыхъ, отрицаетъ божественное зачатіе по человѣчеству Христа Господа и дѣвство до рождества и по рождествѣ Пречистой Богородицы, Присноdѣвы Маріи, не признаетъ загробной жизни и мздовоздаянія, отвергаетъ всѣ таинства Церкви и благодатное въ нихъ дѣйствіе Святаго Духа и, ругаясь надъ самыми священными предметами вѣры православнаго народа, не содрогнулся подвергнуть глумленію величайшее изъ таинствъ, святую Евхаристію. Все сіе проповѣдуетъ графъ Толстой непрерывно, словомъ и писаніемъ, къ соблазну и ужасу всего православнаго міра, и тѣмъ неприкровенно, но явно предъ всѣми, сознательно и намѣренно отвергъ себя самъ отъ всякаго общенія съ Церковью Православной. Бывшія же къ его вразумленію попытки не увѣнчались успѣхомъ. Посему Церковь не считаетъ его своимъ членомъ и не можетъ считать, доколѣ онъ не раскается и не возстановитъ своего общенія съ нею. Нынѣ о семъ свидѣтельствуемъ передъ всею Церковью къ утвержденію правостоящихъ и къ вразумленію за-

блуждающихся, особливо же къ новому вразумленію самого графа Толстого. Многіе изъ ближнихъ его, хранящихъ вѣру, со скорбію помышляютъ о томъ, что онъ, на концѣ дней своихъ, остается безъ вѣры въ Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись отъ благословеній и молитвъ Церкви и отъ всякаго общенія съ нею.

Посему, свидѣтельствуя объ отпаденіи его отъ Церкви, вмѣстѣ и молимся, да подастъ ему Господь покаяніе въ разумъ истины (2 Тим. 2, 25). Молимтися, милосердный Господи, не хотяй смерти грѣшныхъ, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.

Подлинное подписали:

Смиренный АНТОНІЙ, митрополитъ с.-петербургскій и ладожскій.

Смиренный ФЕОГНОСТЪ, митрополитъ кіевскій и галицкій.

Смиренный ВЛАДИМІРЪ, митрополитъ московскій и коломенскій.

Смиренный ІЕРОНИМЪ, архіепископъ холмскій и варшавскій.

Смиренный ІАКОВЪ, епископъ кишиневскій и хотинскій.

Смиренный ІАКОВЪ, епископъ.

Смиренный БОРИСЪ, епископъ.

Смиренный МАРКЕЛЪ, епископъ.

2 февраля 1901 г.

6 марта.

Пережили много событій не домашнихъ, а общественныхъ. 24 февраля было напечатано во всѣхъ газетахъ отлученіе отъ Церкви Льва Николаевича. Приклеиваю его тутъ-же, такъ какъ это событіе историческое, на предыдущей страницѣ. Бумага эта вызвала негодованіе въ обществѣ, недоумѣніе и неудовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подрядъ дѣлали оваціи, приносили корзины съ живыми цвѣтами, посылали телеграммы письма, адресы. До сихъ поръ продолжаются эти изъявленія сочувствія Л. Н. и негодованіе на Синодъ и митрополитовъ. Я написала въ тотъ же день и разослала свое письмо Побѣдоносцеву и митрополитамъ. Приложу его здѣсь-же.

Глупое отлученіе это совпало съ студенческими безпорядками. 24-го былъ уже третій день движенія въ университетѣ и среди всего населенія Москвы. Московскіе студенты поднялись вслѣдствіе того, что кіевскихъ отдали въ солдаты за безпорядки.

Но небывалое явленіе то, что прежде народъ былъ противъ студентовъ, теперь-же, напротивъ, всѣ сочувствія на сторонѣ студентовъ. Извозчики, лавочники, особенно рабочіе, всѣ говорятъ, что за правду стоятъ, что за бѣдныхъ заступаются студенты.

Въ то-же воскресенье, 24 февраля, Л. Н. шелъ съ Дунаевымъ по Лубянской площади, гдѣ была толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ. Кто-то, увидавъ Л. Н., сказалъ: «Вотъ онъ дьяволъ въ образѣ человѣка». — Многіе оглянулись, узнали Л. Н., и начались крики: «Ура, Л. Н., здравствуйте, Л. Н., привѣтъ великому человѣку! Ура!»

Толпа все прибывала; крики усиливались; извозчики убѣгали...

Наконецъ, какой-то студентъ-техникъ привелъ извозчика, посадилъ Льва Николаевича и Дунаева, а конный жандармъ, видя, что толпа хватается за вожжи и держитъ подъ узцы лошадь, вступился и сталъ отстранять толпу.

Нѣсколько дней продолжается у насъ въ домѣ какое-то праздничное настроеніе; посѣтителей съ утра до вечера — цѣлыя толпы...

26 марта.

Очень жалѣю, что не писала послѣдовательно событія, разговоры и проч. Самое для меня интересное были письма, преимущественно изъ-за границы, сочувственныя моему письму къ Побѣдоносцеву и тремъ митрополитамъ. Никакая рукопись Л. Н. не имѣла такого быстраго распространенія, какъ это мое письмо. Оно переведено на всѣ иностранные языки. Меня это радовало, но я не возгордилась, слава Богу! Написала я его быстро, сразу, сгоряча. Богъ мнѣ велѣлъ это сдѣлать, а не моя воля.

... Здоровье Льва Николаевича лучше, если не считать еще боли въ рукахъ. Внѣшнія событія какъ будто придали ему бодрости и силы. Со мной онъ ласковъ и опять очень страстенъ. Увы! это почти всегда вмѣстѣ.

Начинаю говѣть... Съ Сашей было немного непріятно въ вербную субботу. Я звала ее съ собой къ всенощной; она воспротивилась, ссылаясь на невѣріе. Я ей говорю, что она, если хочетъ итти путемъ отца, то должна, какъ и онъ, пройти весь кругъ: онъ нѣсколько лѣтъ былъ крайне православнымъ, уже долго послѣ женитьбы. Потомъ отрекся отъ Церкви въ пользу чистаго христіанства, и вмѣстѣ отрекся отъ благъ земныхъ. Саша-же, какъ и многія мои дѣти, сразу хочетъ сдѣлать скачекъ къ тому, что легче, — не ходить въ церковь и только. Я даже

заплакала. Она пошла къ отцу совѣтоваться, онъ ей сказалъ: «Разумѣется, иди, и, главное, не огорчай мать».

Она пришла въ пріютскую церковь, простояла всенощную, и теперь будетъ со мною говѣть. (И не говѣла). *)

(Газетная вырѣзка, вклеенная).

По телефону. (Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ, 24 марта. Въ № 17 «Церковныхъ Вѣдомостей», издающихся при Святѣйшемъ Правительствующемъ Синодѣ, въ неоффиціальной части, опубликовано письмо графини С. А. Толстой къ митрополиту Антонію и отвѣтъ Митрополита. Письмо графини слѣдующаго содержанія: «Ваше Высокопреосвященство! Прочитавъ вчера въ газетахъ жестокое распоряженіе Синода объ отлученіи отъ Церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидя въ числѣ подписей пастырей Церкви и Вашу подпись, я не могла остаться къ этому вполнѣ равнодушна. Горестному негодованію моему нѣтъ предѣловъ. И не съ точки зрѣнія того, что отъ этой бумаги погибаетъ духовно мой мужъ: это не дѣло людей, а дѣло Божіе. Жизнь души человѣческой съ религіозной точки зрѣнія никому, кромѣ Бога, не вѣдома и, къ счастью, не подвластна. Но съ точки зрѣнія той Церкви, къ которой я принадлежу и отъ которой никогда не отступлю, которая создана Христомъ для благословенія именемъ Божіимъ всѣхъ значительнѣйшихъ моментовъ человѣческой жизни: рожденій, браковъ, смертей, горестей и радостей людскихъ... которая громко должна провозглашать законъ любви, всепрощенія, любовь къ врагамъ, къ ненавидящимъ насъ, молиться за всѣхъ — съ этой точки зрѣнія для меня непостижимо распоряженіе Синода. Оно вызоветъ не сочувствіе (развѣ только «Московскихъ Вѣдомостей»), а негодованіе въ людяхъ и большую любовь и сочувствіе Льву Николаевичу. Уже мы получаемъ такія изъявленія — и имъ не будетъ конца — отъ всего міра. Не могу не упомянуть еще о горѣ, испытанномъ мною отъ той безсмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретномъ распоряженіи Синода священникамъ не отпѣвать въ церкви Льва Николаевича въ случаѣ его смерти. Кого же хотятъ наказывать? — умершаго, не чувствующаго уже ничего человѣка, или окружающихъ его, вѣрующихъ и близкихъ ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпѣвать моего мужа и молиться за него въ церкви, я не найду — или такого

---

*) «И не говѣла» — приписано позже.

порядочнаго священника, который не побоится людей передъ настоящимъ Богомъ любви, или непорядочнаго, котораго я подкуплю для этой цѣли большими деньгами? Но мнѣ этого и не нужно. Для меня Церковь есть понятіе отвлеченное, и служителями ея я признаю только тѣхъ, кто истинно понимаетъ значеніе Церкви. Если же признать Церковью людей, дерзающихъ своею злобой нарушить высшій законъ — любовь Христа, то давно бы всѣ мы, истинно вѣрующіе и посѣщающіе церковь, ушли бы отъ нея. И виновны въ грѣшныхъ отступленіяхъ отъ Церкви не заблудившіеся, ищущіе истину люди, а тѣ, которые гордо признали себя во главѣ ея, и вмѣсто любви, смиренія и всепрощенія, стали духовными палачами тѣхъ, кого вѣрнѣе проститъ Богъ за ихъ смиренную, полную отреченія отъ земныхъ благъ, любви и помощи людямъ жизнь, хотя и внѣ Церкви, чѣмъ носящихъ бриллiантовыя митры и звѣзды, но карающихъ и отлучающихъ отъ Церкви пастырей ея. Опровергнуть мои слова лицемѣрными доводами легко. Но глубокое пониманіе истины и настоящихъ намѣреній людей — никого не обманетъ.

Графиня Софія Толстая.

26 февраля 1901 г.

Отвѣтъ митрополита Антонія.

«Милостивая Государыня графиня Софья Андреевна!

Не то жестоко, что сдѣлалъ Синодъ, объявивъ объ отпаденіи отъ Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что онъ самъ съ собою сдѣлалъ, отрекшись отъ вѣры въ Іисуса Христа, Сына Бога Живаго, Искупителя и Спасителя нашего. На это-то отреченіе и слѣдовало давно излиться Вашему горестному негодованію. И не отъ клочка, конечно, печатной бумаги гибнетъ мужъ Вашъ, а отъ того, что отвратился отъ Источника жизни вѣчной. Для христіанина немыслима жизнь безъ Христа, по словамъ Котораго «вѣрующій въ Него имѣетъ жизнь вѣчную и переходитъ отъ смерти въ жизнь, а невѣрующій не увидитъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ» (Ін. 3, 15—16, 36; 5, 24), и потому объ отрекающемся отъ Христа одно только и можно сказать, что онъ перешелъ отъ жизни въ смерть. Въ этомъ и состоитъ гибель Вашего мужа, но и въ этой гибели повиненъ только онъ самъ одинъ, а не кто либо другой. Изъ вѣрующихъ во Христа состоитъ Церковь, къ которой Вы себя считаете принадлежащей, и для вѣрующихъ, для членовъ своихъ

Церковь эта благословляетъ именемъ Божіимъ всѣ значительные моменты человѣческой жизни: рожденій, браковъ, смертей, горестей и радостей людскихъ, но никогда не дѣлаетъ она этого и не можетъ дѣлать для невѣрующихъ, для язычниковъ, для хулящихъ имя Божіе, для отрекшихся отъ нея и не желающихъ получать отъ нея ни молитвъ, ни благословеній, и вообще для всѣхъ тѣхъ, которые не суть члены ея. И потому, съ точки зрѣнія этой Церкви, распоряженіе Синода вполнѣ постижимо, понятно и ясно, какъ Божій день. И законъ любви и всепрощенія этимъ ничуть не нарушается. Любовь Божія безконечна, но и она прощаетъ не всѣхъ и не за все. Хула на Духа Святого не прощается, ни въ сей, ни въ будущей жизни (Мѳ. 13, 32). Господь всегда ищетъ человѣка Своею любовію, но человѣкъ иногда не хочетъ итти навстрѣчу этой любви и бѣжитъ отъ лица Божія, а потому и погибаетъ. Христосъ молился на крестѣ за враговъ Своихъ, но и Онъ въ Своей первосвященнической молитвѣ изрекъ горькое для любви Его слово, что погибъ сынъ погибельный (Ін. 17, 12). О Вашемъ мужѣ, пока живъ онъ, нельзя еще сказать, что онъ погибъ, но совершенная правда сказана о немъ, что онъ отъ Церкви отпалъ и не состоитъ ея членомъ, пока не покается и не возсоединится съ нею. Въ своемъ посланіи, говоря объ этомъ, Синодъ засвидѣтельствовалъ лишь существующій фактъ, и потому негодовать на него могутъ только тѣ, которые не разумѣютъ, что творятъ. Вы получаете выраженія сочувствія отъ всего міра. Не удивляюсь сему, но думаю, что утѣшаться тутъ Вамъ нечѣмъ. Есть слава человѣческая и есть слава Божія. «Слава человѣческая какъ цвѣтъ на травѣ: засохла трава, и цвѣтъ ея отпалъ; но слово Господне пребываетъ во вѣкъ» (Птр. 1, 24—25). Когда въ прошломъ году газеты разнесли вѣсть о болѣзни графа, то для священнослужителей во всей силѣ всталъ вопросъ: слѣдуетъ ли его, отпавшаго отъ вѣры и Церкви, удостоивать христіанскаго погребенія и молитвъ? Послѣдовали обращенія къ Синоду, и онъ въ руководство священнослужителямъ секретно далъ и могъ дать только одинъ отвѣтъ: не слѣдуетъ, если умретъ, не возстановивъ своего общенія съ Церковью. Никому тутъ никакой угрозы нѣтъ, и иного отвѣта быть не могло. И я не думаю, чтобы нашелся какой нибудь, даже непорядочный, священникъ, который бы рѣшился совершить надъ графомъ христіанское погребеніе, а если бы и совершилъ, такое погребеніе надъ невѣрующимъ было бы преступной профана-

ціей священнаго обряда. Да и зачѣмъ творить насиліе надъ мужемъ Вашимъ? Вѣдь, безъ сомнѣнія, онъ самъ не желаетъ совершенія надъ нимъ христіанскаго погребенія? Разъ Вы, живой человѣкъ, хотите считать себя членомъ Церкви, и она дѣйствительно есть союзъ живыхъ, разумныхъ существъ во имя Бога живого, то ужъ падаетъ само собою Ваше заявленіе, что Церковь для насъ есть понятіе отвлеченное. И напрасно Вы упрекаете служителей Церкви въ злобѣ и нарушеніи высшаго закона любви, Христомъ заповѣданной. Въ синодальномъ актѣ нарушенія этого закона нѣтъ. Это, напротивъ, есть актъ любви, актъ призыва мужа Вашего къ возврату въ Церковь и вѣрующихъ къ молитвѣ о немъ. Пастырей Церкви поставляетъ Господь, а не сами они гордо, какъ Вы говорите, признали себя во главѣ ея. Носятъ они бриллiантовыя митры и звѣзды, но это въ ихъ служеніи совсѣмъ не существенное. Оставались они пастырями, одѣваясь и въ рубище, гонимые и преслѣдуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы и въ рубище пришлось имъ опять одѣться, какъ бы ихъ ни хулили и какими бы презрительными словами ни обзывали. Въ заключеніе прошу прощенія, что не сразу Вамъ отвѣтилъ. Я ожидалъ пока пройдетъ первый острый порывъ Вашего огорченія. Благослови Васъ Господь и храни, и графа — мужа Вашего — помилуй!

Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій.

27 марта.

На дняхъ получила отвѣтъ митрополита Антонія на мое письмо. Онъ меня совсѣмъ не тронулъ. Все правильно и все бездушно. А я свое письмо написала однимъ порывомъ сердца — и оно обошло весь міръ и просто заразило людей искренностью. — Но для меня все это уже отошло на задній планъ, и жизнь идетъ впередъ, впередъ, неумолимо, сложно и трудно...

Внѣшне событія меня утомили, и опять очи мои обратились внутрь моей душевной жизни; но и тамъ — не радостно и не спокойно.

30 марта.

Съ Сашей вышло очень непріятно. Она говѣть со мной не стала: то отговариваясь, что ногу натерла, а то наотрѣзъ отказалась. Это новый шагъ къ нашему разъединенію...

... Говѣла я безъ настроенія, но серьезно, разумно, и рада

была просто потрудиться и душой и тѣломъ: рано вставать, стоять долго на молитвѣ, и, стоя въ церкви, разбираться въ своей душевной жизни.

Дома сегодня опять тяжело: пѣсни Суллержицкаго подъ громкій аккомпаниментъ Сережи, крикливый, мучительный голосъ Булыгина, хохотъ безсмысленный Саши, Юліи Ивановны и Маріи Васильевны — все это ужасно.

13 мая.

Только теперь, когда пережила много горя, когда видишь упадокъ силъ и жизни Льва Николаевича, когда усложнилась своя внутренняя жизнь — на всемъ отпечатокъ грусти, томленія, точно что-то приходитъ къ концу...

6 іюня. Жарко, душно, лѣниво и скучно.

14 іюня. Уѣхали Лева, Дора и Павликъ въ Швецію. Ужасно, ужасно больно было съ ними разставаться. Я ихъ особенно сильно принимаю къ сердцу, особенно чувствую ихъ жизнь, ихъ горе и радости. Послѣднихъ мало имъ было въ этомъ году!...

20 іюня. Сегодня дождь, вѣтеръ. Прихожу къ Л. Н. узнать о его здоровьѣ, встрѣчаю стѣну между нами, о которую бьюсь. Сколько разъ это бывало въ жизни, и какъ это все надоѣло! Сказала ему между прочимъ, чтобы онъ написалъ Андрюшѣ письмо, увѣщевая его лучше и добрѣе относиться къ своей женѣ. «Что ты меня учишь?» злобно сказалъ Л. Н. Я говорю, что не учу, а прошу его заступиться за Ольгу... потому именно, что Л. Н. умнѣе и лучше это сдѣлаетъ, чѣмъ я или другой. «А если я умнѣе, то нечего меня учить», — отвѣтилъ онъ.

3 іюля. Подходитъ нѣчто ужасное, хотя всегда всѣми ожидаемое, но совершенно неожиданное, когда дѣйствительно подойдетъ — это конецъ жизни.

Состояніе моего сердца я еще не понимаю, оно окаменѣло, я не должна его слушать, чтобы сохранить силу и бодрость для ухода за нимъ.

Заболѣлъ Левъ Николаевичъ съ 27 на 28 іюня въ ночь...

... Сегодня онъ мнѣ говоритъ: «Я теперь на распутьи: и впередъ (къ смерти) хорошо, и назадъ (къ жизни) хорошо. Если и пройдетъ теперь, то только отсрочка». Потомъ онъ задумался и прибавилъ: «Еще многое есть и хотѣлось бы сказать людямъ»...

... Сижу я въ его комнатѣ, читаю Евангеліе, въ которомъ

Львомъ Николаевичемъ отмѣчены тѣ мѣста, которыя онъ считаетъ важнѣйшими, и онъ мнѣ говоритъ: «Вотъ какъ наростаютъ слова: въ первомъ Евангеліи сказано, что Христосъ просто крестился. Во второмъ наросли слова: И увидѣлъ небеса отверстыми, а въ третьемъ уже еще прибавлено: слышалъ слова: «сей есть сынъ мой» и т. д. *)

14 іюля. .... Наконецъ, заболѣла я: сильный жаръ цѣлую ночь, боли...

... Врачи всѣ нашли, что причина общаго заболѣванія (Л. Н.) и ослабленія сердца — присутствіе малярійнаго яда въ организмѣ. Давали хининъ...

Грустно часто слышать отъ него упреки за леченіе мнѣ и докторамъ. Какъ только ему лучше, онъ сейчасъ же высказываетъ рядъ обвиненій. А когда плохо, всегда лечится.

22 іюля. Когда вчера Л. Н. говорилъ о томъ, что теперь, когда онъ заболѣетъ, приличіе требуетъ, чтобы онъ умеръ, я говорю: «скучно жить въ старости ,и я хотѣла бы поскорѣй умереть». А Л. Н. вдругъ оживился, и у него какъ-то вырвался горячій протестъ: «Нѣтъ, надо жить, жизнь такъ прекрасна! ...»

30 іюля. Вчера вечеромъ опять захворалъ Л. Н .Пищевареніе испортилось, желчь не отдѣляется и былъ жаръ...

Живу уныло, сижу весь день у двери больного мужа, вяжу шапки въ пріютъ, и совсѣмъ потухла во мнѣ жизнь и энергія.

3 августа. ... Чувство, что все приходитъ къ концу, мучительно преслѣдуетъ. Что-то должно кончиться.

26 августа. Собираемся въ Крымъ... Л. Н. опять почувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо... Живу совсѣмъ не по душѣ...

2 декабря. Крымъ. Гаспра. Съ 8 сентября живемъ здѣсь для здоровья Льва Николаевича, которое плохо поправляется. Двѣ жизни не проживешь, ему минуло въ августѣ 73 года, и онъ очень постарѣлъ, ослабъ, измѣнился за этотъ годъ...

... Какое я почувствовала вчера ночью душевное и физическое одиночество! Съ Львомъ Николаевичемъ вышло какъ разъ то, что я предвидѣла: когда отъ его дряхлости прекратились (очень недавно) его отношенія къ женѣ, какъ къ любовницѣ, на этомъ мѣстѣ явилось не то, о чемъ я тщетно мечтала всю жизнь,

---

*) Характерный образчикъ того «многаго», что хотѣлъ еще «сказать людямъ» Левъ Николаевичъ, лежа на смертномъ одрѣ. (Между прочимъ, почти всѣ ученые экзегеты сходятся на томъ, что Евангеліе отъ Марка было первымъ, по времени составленія).

— тихая, ласковая дружба, а явилась полная пустота. Утромъ и вечеромъ онъ холоднымъ ,выдуманнымъ поцѣлуемъ здоровается и прощается со мною; заботы мои о немъ спокойно принимаетъ, какъ должное, часто досадуетъ и безучастно смотритъ на окружающую его жизнь...

3 декабря. ... Левъ Николаевичъ ѣздилъ въ Алупку верхомъ, вечеръ весь проигралъ въ шахматы съ Сухотинымъ. А пріѣхавшіе сыновья Илья и Андрюша, Саша, Наташа Оболенская, Классенъ, Ольга — все играли въ карты, чего я не люблю...

4 декабря. ... Боялась за усталость Льва Николаевича и простуду.

7 декабря. ... Лучшее состояніе здоровья не дѣлаетъ его лучше духовно. Напротивъ, появляется что-то животное, еще болѣе эгоистическое. Сегодня я хотѣла ему помочь при сборахъ въ Ялту, чтобы онъ суетясь не потѣлъ. Онъ такъ грубо, брюзгливо на меня окрысился, что я чуть не заплакавъ, молча удалилась.

Получила письмо отъ графини Александры Андреевны Толстой. Какая удивительная духовная гармонія въ этой прелестной женщинѣ! Сколько настоящей любви и участія даетъ она людямъ.

Начинаю еще болѣе склоняться къ мнѣнію, что сектантство всякое, включая и ученіе моего мужа, сушитъ сердце людей и дѣлаетъ ихъ гордыми. Знаю двухъ женщинъ близко: это сестру Льва Николаевича — Машеньку, монахиню. и вышеупомянутую Александру Андреевну, и обѣ, не уходя изъ Церкви, стали добрѣе, возвышеннѣе.

... Моя бѣдная Таня, родивъ опять мертваго ребенка — мальчика (12 ноября), еще болѣе привязалась къ своему..... мужу....

Проводивъ Льва Николаевича въ Ялту, пошла къ обѣднѣ, пѣли дѣвочки хорошо, и мнѣ было хорошо и молитвенно спокойно.

8 декабря. Вчера, проводивъ его, мнѣ вдругъ стало тоскливо, не при чемъ жить. Сегодня легче...

9 декабря. Какъ я и думала, Левъ Николаевичъ въ Ялтѣ немного захворалъ и явились опять сердечные перебои... Передъ отъѣздомъ онъ съ жадностью вдругъ напустился сразу на вареники, виноградъ, грушу, шоколадъ...

Теперь идетъ такъ: чуть поправится, все истратитъ невоздержаніемъ въ ѣдѣ, движеніяхъ. Испугается, опять лечится; опять лучше, опять трата... такъ и идетъ правильнымъ кругомъ.

Была у обѣдни. Прекрасно пѣли дѣвушки. Настроеніе хо-

рошее, спокойное, привычное. Мнѣ не мѣшаютъ, какъ другимъ, безсмыслицы въ родѣ «дориносима чинми», «одесную Отца» и пр. *) Помимо этого, Церковь — мѣсто напоминанія намъ Бога, мѣсто, куда столько милліоновъ людей приносило свою вѣру, свое возвышенное религіозное чувство, свои горести, радости во всѣ моменты измѣнчивой судьбы.

13 декабря. Меня сначала по телефону успокоили, а потомъ встревожили состояніемъ здоровья Льва Николаевича, и я тотчасъ же послѣ обѣда уѣхала въ Ялту, Застала Льва Николаевича довольно бодрымъ, но въ постели; говорили, что даже докторъ испугался; перебои были значительные въ сердцѣ...

Сегодня.... привезли его домой, въ Гаспру... вечеромъ игралъ двѣ партіи въ шахматы съ Сухотинымъ... стало тошнить, опять ослабѣлъ и, наконецъ, легъ. А весь вечеръ его уговаривали лечь, по предписанію доктора, а онъ не хотѣлъ.

У Сухотиныхъ горе, Сережа ихъ заболѣлъ тифомъ... телеграммы, что положеніе серьезно. Таня очень жалка, плакала, и у нея дѣтское отношеніе къ судьбѣ, что ее кто-то все обижаетъ.

14 декабря. Левъ Николаевичъ поселился внизу со вчерашняго дня... Комната его рядомъ съ моей, опустѣла, и эта мертвая тишина наверху какая-то зловѣщая и мучительная...

15 декабря. Былъ докторъ, который его тутъ лечитъ, Альтшулеръ, пріятный, даровитый еврей, совсѣмъ не похожій на евреевъ, и Левъ Николаевичъ ему вѣритъ и слушается его и даже любитъ. Сегодня дѣлали тридцатое вспрыскиваніе подкожное мышьяка и пять гранъ хинину принялъ.

16 декабря. День пустой...

---

*) Характерно, что русское образованное общество, учившееся говорить на нѣсколькихъ языкахъ и учившее многія тысячи ранѣе непонятныхъ иностранныхъ словъ, не могло (не желало, какъ отчасти и до сихъ поръ недостаточно желаетъ) выучить буквально нѣсколько десятковъ славянскихъ словъ, чтобы открыть себѣ полный доступъ къ пониманію великой цѣнности, столь, казалось бы, почитаемаго церковнаго богослуженія... Графиня Софья Андреевна образованная, пожилая, подчеркивающая здѣсь свою православность женщина, воспитавшая 9 человѣкъ дѣтей, не знаетъ, что «одесную» есть «по правую сторону» (т. е. символическое выраженіе абсолютной близости Сына Божія къ Отцу), а «... дориносима» — означаетъ «носимаго на копьяхъ»; «чинми» — чинами (ранѣе сказано — ангельскими). Извѣстенъ обычай у древнихъ воиновъ носить военачальника-побѣдителя на копьяхъ. Побѣдителя Христа ангельскіе чины — воинства, какъ Начальника своего, носятъ на копьяхъ. Образъ высокой поэзіи и глубочайшаго смысла. Во время этой литургической пѣсни совершается Великій Входъ, символизирующій шествіе Христа на страданія и Крестъ (Противоположеніе — уничиженія и, одновременно, великой славы Христа)...

23 декабря. ... Я начинаю любить Крымъ. Слава Богу, тоска моя прошла, главное потому, что Льву Николаевичу стало гораздо лучше. Надолго ли!

Вчера уѣхалъ Сухотинъ, пріѣхалъ Андрюша, больной, добродушный, но непріятно несдержанный, особенно съ женой.

24 декабря. ... Вечеромъ игралъ Левъ Николаевичъ со своими дѣтьми и Классеномъ въ винтъ. Всѣ кричали, приходили въ волненіе отъ большого шлема безъ козырей, и очень странны мнѣ всегда эти настроенія при карточной игрѣ, точно всѣ вдругъ лишаются разсудка и кричатъ вздоръ.

Левъ Николаевичъ опять жалуется на боли въ рукахъ... Что-то потускнѣло въ жизни, перестала радоваться на поѣздку въ Москву, и просто тяжело это будетъ: и скучно, и холодно, и хлопотно. А будетъ ли какая радость?

25 декабря. Празднично проведенное Рождество.

26 декабря. Собираюсь со страхомъ въ Москву...

27 декабря. Левъ Николаевичъ ходитъ опять гулять, пишетъ о свободѣ совѣсти и опять переправляетъ «О религіи». Вечеромъ, когда легъ, спросилъ у меня теплаго молока, онъ теперь его постоянно пьетъ, и пока ему разогрѣвали и я прощалась со своими скучными гостями, Левъ Николаевичъ вдругъ въ одномъ бѣльѣ показался въ дверяхъ и нетерпѣливо и сердито сталъ торопить, чтобы ему дали молока.

Саша засуетилась, и пока я сняла съ керосинки теплое молоко и донесла до его комнаты, онъ вторично выскочилъ съ досадой въ дверь.

29 декабря. ... Онъ кротокъ и добръ сегодня, и всѣ мы дружны и радостны, такое счастье. Днемъ недовольна: фотографія, шила и больше ничего.

30 декабря. Утромъ приходили къ Льву Николаевичу самые разнообразные люди: трое рабочихъ-революціонеровъ, озлобленныхъ на богатыхъ... потомъ шесть человѣкъ сектантовъ, отпавшихъ отъ Церкви... Еще приходилъ старый человѣкъ, состоятельный и болѣе интеллигентный, который хочетъ на Кавказѣ, на берегу моря, основать монастырь на новыхъ началахъ. Чтобы братія вся была высшаго образованія, чтобы монастырь этотъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ центромъ науки и цивилизаціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы монахи сами обрабатывали землю и кормились своимъ трудомъ. Задача сложная но хорошая.

31 декабря. Вотъ еще годъ какъ будто прошелъ. Последній день довольно сложнаго труднаго года! Лучше ли будетъ новый? Все какъ будто хуже живется, да и сама не лучше дѣлаешься.

День какъ то весь пропалъ въ суетѣ...

Переписывала первую главу «О религіи» Льва Николаевича, и пока еще мнѣ не особенно нравится: новаго мало сказано, да и бѣдно какъ-то содержаніе. Что дальше будетъ! Не понравилось мнѣ сравненіе Л. Н. съ отросткомъ кишки — отброшенная людьми вѣра въ необходимость религіи».

ПАВЛОВО ОТЛУЧЕНІЕ

Апостолъ Павелъ, отлучая отъ Церкви коринѳянина, горѣлъ къ этому человѣку, соблазнявшему міръ, послѣдней любовью: «... сдѣлавшаго такое дѣло, въ собраніи вашемъ, во имя Господа Іисуса Христа, обще съ моимъ духомъ, силою Господа нашего Іисуса Христа, предать сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ въ день Господа нашего Іисуса Христа»... (1 Кор. 5).

Праведное отлученіе отъ Церкви всегда значительно, не въ идейномъ только смыслѣ, а и въ метафизическомъ.

Конечная цѣль церковнаго отлученія — спасеніе духа человѣческаго. Ближайшая цѣль — смиреніе души, чрезъ отъятіе благословенія на ея земную жизнь («изможденіе плоти»)... Великая тайна скрыта не только въ благословляющихъ, но и въ отвергающихъ словахъ Церкви.

Отлученіе Толстого было страшнымъ предупрежденіемъ Божіимъ — Россіи...

. . .

«ОТВѢТЪ

на опредѣленіе Синода отъ 20—22 февраля и полученныя мною по этому случаю письма».

«He who begins by loving Christianity better than Truth will proceed by loving his own Sect or Church better than Christianity, and end in loving himself better than all».

Coleridge.

«Я не хотѣлъ сначала отвѣчать на постановленіе обо мнѣ Си-

нода, *) но постановленіе это вызвало очень много писемъ, въ которыхъ неизвѣстные мнѣ корреспонденты — одни бранятъ меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другіе увѣщеваютъ меня повѣрить въ то, во что я не переставалъ вѣрить, и третьи выражаютъ со мной единомысліе, которое едва ли въ дѣйствительности существуетъ, и сочувствіе, на которое я едва ли имѣю право; и я рѣшилъ отвѣтить и на самое постановленіе, указавъ на то, что въ немъ несправедливо, и на обращеніе ко мнѣ моихъ неизвѣстныхъ корреспондентовъ.

Постановленіе Синода вообще имѣетъ много недостатковъ. Оно незаконно или же умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кромѣ того, содержитъ въ себѣ клевету и подстрекательство къ дурнымъ чувствамъ и поступкамъ.

Оно незаконно, или умышленно двусмысленно — потому, что если оно хочетъ быть отлученіемъ отъ церкви, то оно не удовлетворяетъ тѣмъ церковнымъ правиламъ, по которымъ можетъ произноситься такое отлученіе; если же это есть заявленіе о томъ, что тотъ, кто не вѣритъ въ церковь и ея догматы, не принадлежитъ къ ней, то это само собой разумѣется, и такое заявленіе не можетъ имѣть никакой другой цѣли, какъ только ту, чтобы, не будучи въ сущности отлученіемъ, оно бы казалось таковымъ, что собственно и случилось, потому что оно такъ и было понято.

Оно произвольно, потому что обвиняетъ одного меня въ невѣріе во всѣ пункты, выписанные въ постановленіи, тогда какъ не только многіе, но почти всѣ образованные люди раздѣляютъ такое невѣріе и безпрестанно выражали и выражаютъ его въ разговорахъ, и въ чтеніи, и въ брошюрахъ и книгахъ.

Оно неосновательно потому, что главнымъ поводомъ его появленія выставляется большое распространеніе моего совращающаго людей лжеученія, тогда какъ мнѣ хорошо извѣстно, что людей, раздѣляющихъ мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространеніе моихъ писаній о религіи, благодаря цензурѣ, такъ ничтожно, что большинство людей, прочитавшихъ постановленіе синода, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о томъ, что мною написано о религіи, какъ это видно изъ получаемыхъ мною писемъ.

Оно содержитъ въ себѣ явную неправду, такъ какъ въ немъ

---

*) «На Льва Николаевича этотъ эпизодъ (отлученіе) произвелъ слабое впечатлѣніе» — говоритъ біографъ. «Характерно то, что Л. Н—чъ послѣ этого отлученія болѣе интересуется общественными вопросами, не имѣющими прямого отношенія къ его отлученію, и отвѣтъ свой на отлученіе пишетъ значительно позже, чрезъ полтора мѣсяца послѣ обнародованія синодскаго посланія».

сказано, что со стороны церкви были сдѣланы относительно меня не увѣнчавшіяся успѣхомъ попытки вразумленія. Ничего подобнаго никогда не было.

Оно представляетъ изъ себя то, что на юридическомъ языкѣ называется клеветой, такъ какъ въ немъ заключаются завѣдомо несправедливыя, клонящіяся къ моему вреду утвержденія.

Оно есть, наконецъ, подстрекательство къ дурнымъ чувствамъ и поступкамъ, такъ какъ вызвало, какъ и должно было ожидать, въ людяхъ непросвѣщенныхъ и неразсуждающихъ озлобленіе и ненависть ко мнѣ... *(Далѣе, Толстой приводитъ нѣсколько выдержекъ изъ писемъ, его осуждающихъ)...* Признаки такого же озлобленія послѣ постановленія синода замѣчаю и при встрѣчахъ съ нѣкоторыми людьми. Въ самый день 25 февраля, когда было опубликовано постановленіе, я, проходя по площади, слышалъ слова: «вотъ дьяволъ во образѣ человѣка», и если бы толпа была иначе составлена, очень можетъ быть, что меня бы избили, какъ избили, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, человѣка у Пантелеймоновской часовни.

Такъ что постановленіе синода вообще очень нехорошо; то, что въ концѣ постановленія сказано, что лица, подписавшія его, молятся, чтобы я сталъ такимъ же, какъ они, не дѣлаетъ его лучше.

Это такъ вообще; въ частности же постановленіе это несправедливо въ слѣдующемъ. Въ постановленіи сказано: «Извѣстный міру писатель, русскій по рожденію, православный по крещенію и воспитанію, графъ Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко возсталъ на Господа и на Христа Его и на святое Его достояніе, явно предъ всѣми отрекся отъ вскормившей и воспитавшей его Матери Церкви православной».

То, что я отрекся отъ церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо.

Но отрекся я отъ нея не потому, что я возсталъ на Господа, а, напротивъ, только потому, что всѣми силами души желалъ служить Ему. Прежде чѣмъ отречься отъ церкви и единенія съ народомъ, которое мнѣ было невыразимо дорого, я, по нѣкоторымъ признакамъ усомнившись въ правотѣ церкви, посвятилъ нѣсколько лѣтъ на то, чтобы изслѣдовать теоретически и практически ученіе церкви: теоретически — я перечиталъ все, что могъ, объ ученіи церкви, изучилъ и критически разобралъ догматическое богословіе; практически — строго слѣдовалъ, въ продолженіе болѣе года, всѣмъ предписаніямъ церкви, соблюдая всѣ посты и всѣ церковныя службы. И я убѣдился, что ученіе церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собраніе са-

мыхъ грубыхъ суевѣрій и колдовства, скрывающее совершенно весь смыслъ христіанскаго ученія. *(Въ выноскѣ Толстой подробно останавливается на Таинствахъ и молитвахъ Церкви, называя ихъ «различными пріемами колдовства»:* «Стоитъ только почитать требникъ, послѣдить за тѣми обрядами, которые не переставая совершаются православнымъ духовенствомъ и считаются христіанскимъ богослуженіемъ, чтобы увидать, что всѣ эти обряды не что иное, какъ различные пріемы колдовства, приспособленные ко всѣмъ возможнымъ случаямъ жизни»... *Молитвы Толстой такъ же именуетъ «заклинаніями»...* «для всего этого и тысячи другихъ обстоятельствъ есть извѣстныя заклинанія, которыя въ извѣстномъ мѣстѣ за извѣстныя приношенія произносятся священникомъ»).

И я дѣйствительно отрекся отъ церкви, пересталъ исполнять ея обряды и написалъ въ завѣщаніи своимъ близкимъ, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мнѣ церковныхъ служителей, и мертвое мое тѣло убрали бы поскорѣй, безъ всякихъ надъ нимъ заклинаній и молитвъ, какъ убираютъ всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мѣшала живымъ.

То же, что сказано, что «я посвятилъ свою литературную дѣятельность и данный мнѣ отъ Бога талантъ на распространеніе въ народѣ ученій, противныхъ Христу и церкви и т. д.», и что «я въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, во множествѣ разсѣиваемыхъ мною такъ же, какъ и учениками моими, по всему свѣту, въ особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, проповѣдую съ ревностью фанатика ниспроверженіе всѣхъ догматовъ православной церкви и самой сущности вѣры христіанской», — то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространеніи своего ученія. Правда, я самъ для себя выразилъ въ сочиненіяхъ свое пониманіе ученія Христа и не скрывалъ эти сочиненія отъ людей, желавшихъ съ ними познакомиться, но никогда самъ не печаталъ ихъ; говорилъ же людямъ о томъ, какъ я понимаю ученіе Христа, только тогда, когда меня объ этомъ спрашивали. Такимъ людямъ я говорилъ то, что думаю, и давалъ, если онѣ у меня были, мои книги. *(Слѣдуетъ кощунственное изложеніе вѣрованій Церкви)...*

Сказано также, что я отвергаю всѣ таинства. Это совершенно справедливо. Всѣ таинства я считаю низменнымъ, грубымъ, несоотвѣтствующимъ понятію о Богѣ и христіанскому ученію колдовствомъ и, кромѣ того, нарушеніемъ самыхъ прямыхъ указаній евангелія. Въ крещеніи младенцевъ вижу явное извращеніе всего того смысла, который могло имѣть крещеніе для взрослыхъ, сознательно принимающихъ христіанство, въ совершеніи таинства

брака надъ людьми, завѣдомо соединившимися прежде, и въ допущенiи разводовъ, и въ освященiи браковъ разведенныхъ, вижу прямое нарушенiе и смысла и буквы евангельскаго ученiя.

Въ перiодическомъ прощенiи грѣховъ на исповѣди вижу вредный обманъ, только поощряющiй безнравственность и уничтожающiй опасенiе передъ согрѣшенiемъ.

Въ елеосвященiи такъ же, какъ и въ миропомазанiи, вижу прiемы грубаго колдовства, какъ и въ почитанiи иконъ и мощей и какъ и во всѣхъ тѣхъ обрядахъ, молитвахъ, заклинанiяхъ, которыми наполненъ требникъ. *(Снова, страницы кощунствъ, заставляющихъ содрогаться и трепетать Александру Андреевну и многiя другiя души).*

... Такъ вотъ, что справедливо и что несправедливо въ постановленiи обо мнѣ синода. Я дѣйствительно не вѣрю въ то, во что они говорятъ, что вѣрятъ. Но я вѣрю во многое, во что они хотятъ увѣрить людей, что я не вѣрю.

Вѣрю я въ слѣдующее: вѣрю въ Бога, котораго понимаю какъ Духъ, какъ Любовь, какъ начало всего. Вѣрю въ то, что Онъ во мнѣ и я въ Немъ. *(Это — послѣ всего, что написано и какъ написано).* Вѣрю въ то, что воля Бога яснѣе, понятнѣе всего выражена въ ученiи человѣка Христа, котораго понимать Богомъ и которому молиться — считаю величайшимъ кощунствомъ. Вѣрю въ то, что истинное благо человѣка — въ исполненiи воли Бога, воля же Его въ томъ, чтобы люди любили другъ друга и вслѣдствiе этого поступали бы съ другими такъ, какъ они хотятъ, чтобы поступали съ ними, какъ и сказано въ евангелiи, что въ этомъ весь законъ и пророки. Вѣрю въ то, что смыслъ жизни каждаго человѣка, поэтому, только въ увеличенiи въ себѣ любви *(сколь наивная вѣра, что человѣкъ можетъ самъ свою любовь увеличить въ себѣ);* что это увеличенiе любви ведетъ отдѣльнаго человѣка въ жизни этой ко все большему и большему благу, даетъ послѣ смерти тѣмъ большее благо, чѣмъ больше будетъ въ человѣкѣ любви, и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе всего другого содѣйствуетъ установленiю въ мiрѣ царства Божiя, то есть такого строя жизни, при которомъ царствующiе теперь раздоръ, обманъ и насилiе будутъ замѣнены свободнымъ согласiемъ, правдой и братской любовью людей между собой. Вѣрю, что для преуспѣянiя въ любви есть только одно средство: молитва — не молитва общественная въ храмахъ, прямо запрещенная Христомъ (Мѳ. 6, 5—13). *(Никогда не запрещалъ Христосъ молиться въ храмѣ!)* — а молитва, образецъ которой данъ намъ Христомъ, — уединенная, состоящая въ возстановленiи и укрѣпленiи въ своемъ сознанiи смысла своей жизни и своей зависимости только

отъ воли Бога *(Какое удивительное непониманіе сущности молитвы!)*.

Оскорбляютъ, огорчаютъ или соблазняютъ кого-либо, мѣшаютъ чему нибудь и кому нибудь или не нравятся эти мои вѣрованія, — я такъ же мало могу ихъ измѣнить, какъ свое тѣло. Мнѣ надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никакъ иначе вѣрить, какъ такъ, какъ я вѣрю, готовясь итти къ тому Богу, отъ котораго исшелъ *(выраженіе, уподобляющее автора — Христу и Духу Святому)*. Я не вѣрю, чтобы моя вѣра была одна несомнѣнно на всѣ времена истинна *(въ чемъ же тогда ея абсолютная цѣнность?)*, но я не вижу другой — болѣе простой, ясной и отвѣчающей всѣмъ требованіямъ моего ума и сердца *(какъ неглубоки, оказывается, религіозныя требованія того, кто столь требователенъ ко всему и всѣмъ...)*; если я узнаю такую, я сейчасъ же приму ее потому, что Богу ничего, кромѣ истины не нужно. Вернуться же къ тому, отъ чего я съ такими страданіями только что вышелъ, я никакъ уже не могу, какъ не можетъ летающая птица войти въ скорлупу того яйца, изъ которого она вышла.

«Тотъ, кто начнетъ съ того, что полюбитъ христіанство болѣе истины, очень скоро полюбитъ свою церковь или секту болѣе, чѣмъ христіанство, и кончитъ тѣмъ, что будетъ любить себя (свое спокойствіе) больше всего на свѣтѣ», сказалъ Кольриджъ.

Я шелъ обратнымъ путемъ. Я началъ съ того, что полюбилъ свою православную вѣру *(когда это было?)* болѣе своего спокойствія, потомъ полюбилъ христіанство болѣе своей церкви, теперь же люблю истину болѣе всего на свѣтѣ. И до сихъ поръ истина совпадаетъ для меня съ христіанствомъ, какъ я его понимаю. И я исповѣдую это Христіанство; и въ той мѣрѣ, въ какой исповѣдую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь къ смерти».

*

* *

Прочтя этотъ «Отвѣтъ», Розановъ написалъ: «Объ одномъ сомнѣніи гр. Л. Н. Толстого.

... «Я не понимаю таинствъ, въ нихъ нѣтъ смысла, они суть колдовство». Такъ выразился гр. Толстой въ отвѣтѣ на его оффиціальное отлученіе отъ Церкви. Не критикуя другихъ сторонъ въ его «Отвѣтѣ», психологически и субъективно очень глубокихъ и интересныхъ, остановимся на одной этой. — Кто-же ихъ «понимаетъ»? и не отъ того-ли они и получили имя «та-

инствъ», «тайнъ», «непостижимаго», — что стоятъ внѣ разумѣнія? Можетъ быть не выше и не ниже, но просто внѣ! Въ «Войнѣ и мирѣ» онъ даже войну 12-го года и въ частности Бородинское сраженіе призналъ «таинствомъ», «непостижимымъ». Онъ написалъ объ этомъ цѣлую главу, съ чрезвычайнымъ упорствомъ и горячностью. Позднѣе онъ перемѣнялъ объекты этого имени: но два объекта, рожденіе и смерть, кажется никогда не переставалъ считать «таинствами».

— «Они — колдовство», утверждаетъ онъ. Значитъ, онъ соглашается, что они есть. Можно-ли назвать какимъ-нибудь именемъ и даже опредѣлить качества того, чего нѣтъ, не существуетъ?! Итакъ, по его же признанію, въ христіанствѣ содержатся тайныя вещи, именующіяся у христіанъ таинствами. Только онъ ихъ не хочетъ и порицаетъ («колдовство»), христіане же ихъ хвалятъ и хотятъ. Еще что сказалъ онъ о нихъ, и, даже, что онъ единственно о нихъ сказалъ? То, что они суть колдовство. Радуемся, что суть ихъ, какъ непостижимости, онъ схватилъ въ этомъ словѣ; но какія онъ приписалъ имъ качества? Колдовство есть злое, ко злу направленное и чрезъ злого человѣка. Но таинства — внѣ «во врачеваніе души и тѣла», и, кажется, совершаются чрезъ добрыхъ или приблизительно добрыхъ людей. Онъ не видитъ колдуна, а толкуетъ о колдовствѣ; не видитъ вреда (врачевательство) и все же кричитъ о колдовствѣ. Безсильный крикъ, который никого не смутитъ.

Но, можетъ быть, его задача — показать, что таинство съ виду похоже на колдовство и такъ же ничего не содержитъ въ себѣ, какъ и подлинное колдовство; что таинства суть пустыя безсодержательности, немощныя вещи? Таковая мысль содержала-бы раціонализмъ и утверждала бы невѣріе его собственно не въ христіанскія таинства, но вообще во все чудесное и таинственное въ мірѣ. «Ничего нѣтъ, кромѣ Иловайскаго, Иловайскій же достовѣренъ». Это есть настроеніе ума, предрасположеніе ума, на которое можно отвѣтить только: «у меня — не такое. Кто любитъ капусту, а кто — супъ съ картофелемъ; одинъ читаетъ Иловайскаго, а другой — Пушкина. Толстой такъ не любитъ все чудесное, что въ передѣлываніяхъ Евангелія даже не остановился вниманіемъ на чудесномъ, сверхъестественномъ Откровеніи (Апокалипсисъ) Іоанна Богослова. Но онъ хочетъ увидѣть чудо? Согласенъ указать его: такое чудо есть творческо-художественный геній самого отрицателя чудесъ. Вполнѣ чудо, что я не имѣю такого. Вѣдь зачаты-то мы съ нимъ доволь-

но одинаково, и родители наши были довольно равные люди; тѣ и другіе — обыкновенные, сѣренькіе люди. Считая «по обыкновенному», всѣ безъ исключенія люди должны бы родиться приблизительно одинаково и разниться не болѣе, чѣмъ березы въ березовой рощѣ. Но какая между ними разница! Мнѣ подъ 50 лѣтъ и хоть я пытался писать повѣсти, но даже и малой повѣстушки не вышло. А онъ, подите, въ двадцать съ немногимъ лѣтъ написалъ вдохновенное «Дѣтство и отрочество». И вотъ, его даръ сравнительно съ моимъ великое есть чудо, и онъ самъ, какъ творецъ и человѣкъ, есть чудо по необъяснимости происхожденія и необъяснимой природѣ.

Нужно очень мало бояться Бога, чтобы, получивъ отъ Него чудесный даръ, съ магическимъ дѣйствіемъ на души человѣческія, начать употреблять этотъ даръ на отрицаніе всѣхъ прочихъ чудесъ Божіихъ, которыя предназначены служить людямъ въ скорбяхъ ихъ и въ бѣдахъ, для утѣшенія и для поддержанія». *)

* * *

Голосъ православнаго русскаго священства раздался въ словахъ молодого епископа Ямбургскаго, Сергія:

«Итакъ, послѣ этой новой исповѣди можно ли назвать гр. Толстого принадлежащимъ къ православной Церкви и вѣрующимъ по православному? Если у кого либо до сихъ поръ возможны были въ этомъ сомнѣнія и колебанія, то теперь всѣ эти сомнѣнія разсѣиваются. Гр. Толстой не только сознательно и послѣдовательно отвергаетъ самые основные догматы христіанства, не только отрицаетъ и хулитъ православную Церковь и ея таинства и всю церковную жизнь и практику представляетъ какимъ-то сцѣпленіемъ лжи, обмана и грубаго суевѣрія, но и сознательно бросилъ Церковь, завѣщавъ своимъ близкимъ ни напутствовать, ни хоронить его по православному (нежеланіе быть погребеннымъ по православному, какъ извѣстно, предполагалъ въ немъ и Владыка-Митрополитъ Петербургскій въ отвѣтѣ своемъ на письмо графини). Относительно отпаденія графа отъ Церкви, т. о., не можетъ быть двухъ мнѣній, и самъ графъ признаетъ это. Мы скажемъ болѣе, имѣлъ ли даже право Св. Синодъ, зная объ ученіи гр. Толстого и зная, что это ученіе извѣстно всему міру и привлекаетъ къ себѣ, если не послѣдователей, то всеобщее вниманіе, имѣлъ ли право Св. Синодъ оставаться къ этому равно-

*) «Около церковныхъ стѣнъ», т. I.

душнымъ и предоставлять вѣрнымъ сынамъ Церкви соблазняться этимъ равнодушіемъ и терять вѣру въ Церковь? Имѣлъ ли право Св. Синодъ допустить, чтобы надъ графомъ, лицомъ всемірно извѣстнымъ, совершенъ былъ по смерти православный обрядъ погребенія, къ злорадному посмѣянію всѣхъ враговъ Церкви и къ соблазну и недоумѣнію всѣхъ вѣрующихъ? Повторяемъ относительно этого не можетъ быть различныхъ мнѣній. Св. Синодъ, издавъ свое постановленіе, не только воспользовался своимъ неотъемлемымъ и вполнѣ естественнымъ правомъ, но и исполнилъ непремѣнную свою обязанность, отъ исполненія которой онъ никакъ не могъ уклониться. Дай только Богъ, чтобы и впредь наша родная Церковь также безбоязненно и твердо предъ лицемъ всего міра произносила свое исповѣданіе, исповѣдала вѣру въ себя и свое Божественное призваніе.

Соглашаясь съ основной мыслью постановленія, что онъ отпалъ отъ Церкви, графъ Толстой возражаетъ противъ умѣстности такого постановленія и противъ нѣкоторыхъ его частныхъ утвержденій и мыслей. Прежде всего, ему кажется несправедливымъ отлучать именно его, тогда какъ многіе и въ разговорахъ, и въ письмахъ, и въ печати высказываютъ свое невѣріе, и никто ихъ не объявляетъ отпавшими отъ Церкви. И какъ бы предвидя возраженіе, что его, гр. Толстого, всемірно извѣстнаго писателя, къ слову котораго прислушиваются всѣ, сочиненія котораго переводятся на всѣ языки почти въ моментъ ихъ появленія на русскомъ языкѣ, нельзя же сравнивать съ мелкими литературными и просто словесными сошками, графъ прибавляетъ, что его послѣдователей мало, что распространеніе его писаній ничтожно. Съ этимъ нельзя согласиться. Если мало настоящихъ, искреннихъ послѣдователей Толстого, то ученіе его, по крайней мѣрѣ въ его основныхъ положеніяхъ, извѣстно всюду, гдѣ только извѣстно имя Толстого, а это имя извѣстно всему читающему міру. Если у насъ, въ Россіи не знаетъ этого имени неграмотный народъ, то вѣдь такое положеніе вещей не можетъ продлиться въ вѣчность. Будетъ время, когда всѣ будутъ грамотны, необходимо и это имѣть въ виду и будущихъ оградить отъ соблазна. Эта то особенная извѣстность имени гр. Толстого и была причиной, почему Церковь, уже давно не пользовавшаяся своимъ правомъ отлученія, на этотъ разъ рѣшилась прибѣгнуть къ нему. Такова практика Церкви со времени ея основанія. Снисходя къ немощамъ человѣческимъ, Церковь произносила анаѳему только въ крайнихъ случаяхъ, когда соблазнъ былъ чрезвычайнымъ, и когда не было надежды исправить человѣка иными средствами. Дѣйствуя такимъ образомъ Церковь поступала вполнѣ основательно и послѣдова-

тельно. Она всегда помнила, что конечная участь человѣка зависитъ «не отъ клочка писанной или печатной бумаги», не отъ самого церковнаго отлученія, а отъ того внутренняго отступленія людей отъ Источника жизни и истины, о которомъ церковное отлученіе только свидѣтельствуетъ. Поэтому, если бы, по нерадѣнію-ли предстоятелей церковныхъ, по ихъ-ли излишней снисходительности, какой нибудь зараженный членъ и остался въ обществѣ вѣрующихъ, отъ невидимаго Суда Божія онъ укрыться не можетъ и святости церковнаго тѣла не повредитъ. А съ другой стороны, анаѳема никогда, по существу своему, не была орудіемъ кары, какъ бы нѣкоторымъ отмщеніемъ грѣшнику за совершенный грѣхъ. «Мнѣ отмщеніе, Азъ воздамъ», говоритъ Господь, и Церковь, болѣе чѣмъ кто либо, помнитъ эти слова. Церковная анаѳема, поэтому, всегда имѣла въ виду или исправленіе грѣшника, или, если этого нельзя ожидать, то служила оповѣщеніемъ церковнаго общества о появившемся заблужденіи, съ цѣлью огражденія неопытныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ была исповѣданіемъ церковной вѣры. Поэтому-то Церковь и употребляла это средство только въ исключительныхъ случаяхъ, а такой исключительный случай и явился теперь.

Графъ находитъ неумѣстнымъ синодальное постановленіе потому еще, что оно можетъ оказаться подстрекательствомъ къ дурнымъ поступкамъ и мыслямъ, чего ему приходилось видѣть примѣры. Все сказанное выше можетъ служить отвѣтомъ и на это недоумѣніе. «Если, скажемъ словами самого гр. Толстого, чувашинъ мажетъ своего идола сметаной или его сѣчетъ, я могу не оскорблять его вѣрованія и равнодушно пройти мимо, потому что онъ дѣлаетъ это во имя чуждаго мнѣ своего суевѣрія и не касается того, что для меня священно». И Церковь, конечно, прошла бы мимо графа, если бы его проповѣдь не касалась самаго дорогого церковнаго достоянія, если бы не имѣла цѣлью подкопать самое священное сокровище Церкви. Теперь же Церковь должна была оградить это сокровище и вмѣстѣ тѣ тысячи и милліоны ея чадъ, которымъ угрожало лишеніе его. Пусть этотъ шагъ Церкви «оскорбляетъ, огорчаетъ или соблазняетъ кого либо, мѣшаетъ чему нибудь и кому нибудь, или не нравится», пусть нѣкоторые ревностные, но не разсуждающіе члены Церкви въ этомъ шагѣ найдутъ поводъ къ непохвальнымъ выходкамъ, Церковь о всемъ этомъ можетъ пожалѣть, но поступить, ради этихъ возможныхъ выходокъ, иначе не можетъ, какъ не поступилъ бы иначе и самъ графъ, если бы находился въ подобномъ положеніи.

Далѣе, графъ называетъ постановленіе «тѣмъ, что на юридическомъ языкѣ называется клеветой, такъ какъ въ немъ заклю-

чаются завѣдомо несправедливыя, клонящіяся къ его вреду утвержденія». Примѣромъ такихъ утвержденій служитъ, можетъ быть, то, что Св. Синодъ приписываетъ графу фанатическую ревность о распространеніи его ученія. «Это, говоритъ Л. Н., несправедливо. Я никогда не заботился о распространеніи своего ученія». Читателю такое заявленіе Л. Н., конечно, можетъ показаться весьма страннымъ, какъ бы софизмомъ. Онъ же зналъ, что его сочиненія, особенно въ послѣднее время, всѣ до единой строки будутъ напечатаны и разойдутся въ тысячахъ экземпляровъ? Какъ же онъ можетъ думать, что онъ не виноватъ въ распространеніи своего лжеученія? Св. Синодъ, говоря о томъ, что гр. Толстой съ ревностью фанатика уже много лѣтъ не перестаетъ проповѣдывать ниспроверженіе всѣхъ догматовъ православной Церкви, конечно, говорилъ о всей литературной дѣятельности графа, совсѣмъ не касаясь того, самъ ли Л. Н. ходилъ въ народъ и проповѣдывалъ, самъ ли отсылалъ въ типографію свои рукописи, или это дѣлали за него его друзья и почитатели. Кто подноситъ человѣку ядъ, конечно, виноватъ; но еще болѣе виноватъ тотъ, кто этотъ ядъ составилъ, зная, что онъ будетъ поднесенъ. Вообще, этотъ пунктъ въ письмѣ гр. Толстого представляется страннымъ и порождаетъ недоумѣніе.

Не менѣе страннымъ является и тотъ пунктъ, гдѣ графъ совершенно недвусмысленно обвиняетъ Св. Синодъ въ сознательной и намѣренной лжи, «въ явной неправдѣ». Это — относительно «не увѣнчавшихся успѣхомъ попытокъ увѣщанія». «Ничего подобнаго (не обинуясь утверждаетъ графъ) никогда не было». Тутъ какое-то трудно понятное недоразумѣніе. Къ Л. Н. приходили священники и говорили съ нимъ о вѣрѣ. Нѣкоторые изъ этихъ священниковъ приходили къ нему говорить о вѣрѣ совсѣмъ не по собственному почину, а были нарочно для этой цѣли посылаемы епархіальнымъ начальствомъ. Графъ съ этими священниками говорилъ, дѣлился потомъ со своими знакомыми и посѣтителями впечатлѣніями отъ этихъ бесѣдъ. Графъ зналъ, что эти священники посланы къ нему отъ архіереевъ (напр., тульскаго), и своимъ знакомымъ потомъ признавался, что бесѣды священника ему нравятся, только непріятно знать, что священника прислалъ архіерей для его увѣщанія (говоримъ это на основаніи дѣйствительныхъ событій). Какъ же послѣ этого графъ утверждаетъ, что со стороны Церкви не было попытокъ увѣщанія, и что Св. Синодъ говоритъ «явную неправду», упоминая объ этихъ попыткахъ? Отвѣчать на обвиненіе во лжи такимъ же обвиненіемъ мы не думаемъ, а только утверждаемъ, что графъ Л. Н., во имя истины, самъ долженъ печатно оговориться, или же дать своему

утвержденію какой нибудь непрямой смыслъ. Можетъ быть, онъ подумалъ, что Св. Синодъ говоритъ о попыткахъ непосредственно самого Св. Синода. Можетъ быть, онъ думалъ, что мѣстный архіерей послалъ къ нему священника независимо отъ Синода. Во всякомъ случаѣ, оговориться необходимо, иначе на доброе имя писателя ложится странная и ни для кого не желательная тѣнь.

Графъ утверждаетъ, что оставилъ онъ Церковь только послѣ того, какъ теоретически и практически изучилъ и испробовалъ церковное ученіе, послѣ того какъ прочиталъ всю богословскую литературу и болѣе года слѣдовалъ предписаніямъ Церкви, соблюдая посты и пр. Все это, по словамъ графа, только усилило его сомнѣнія и укрѣпило его разочарованіе въ церковномъ христіанствѣ.—Фактъ, конечно, весьма печальный, но, къ сожалѣнію, не единственный и даже не рѣдкій, и происходитъ онъ не отъ ложности церковнаго ученія, не отъ ложности церковной жизни, а отъ душевнаго расположенія и настроенія того, кто къ этому ученію и въ особенности къ этой жизни приступаетъ. Психологію этого особеннаго отношенія къ Церкви и ея таинствамъ прекрасно изобразилъ самъ же гр. Л. Н. Толстой въ своемъ романѣ «Анна Каренина», именно тамъ, гдѣ описывается молебенъ у постели умирающаго Николая Левина. Этотъ давнишній невѣръ, жившій вдали отъ Церкви, по своимъ законамъ и пр., предъ смертью вдругъ рѣшаетъ служить молебенъ, думая, что у него вдругъ откуда-то появится въ душѣ вѣра, и эта вѣра исцѣлитъ его отъ чахотки. Онъ тупо и безсмысленно смотритъ на икону, усиленно крестится, старается разгорячить себя, но, конечно, ничего изъ этого не получается: послѣ молебна онъ со злостью велитъ убрать икону, разочаровавшись въ ея чудодѣйственности. Это тотъ грубый духовный матеріализмъ, ужасающій примѣръ котораго представилъ Л. Н. въ «Воскресеніи», думая, что передаетъ ученіе Церкви. Человѣкъ не хочетъ понять, что дѣло спасенія совершается путемъ долгаго нравственнаго развитія, что общенія съ Богомъ можно достигнуть только въ святости. Человѣку хочется вдругъ посредствомъ какихъ либо внѣшнихъ пріемовъ очутиться на вершинѣ духовнаго развитія и вкусить всѣхъ плодовъ его. Таинства для него представляются какими-то лекарствами, онъ приготовляется сейчасъ же ощущать ихъ дѣйствіе внутри себя. То-же самое и съ другими церковными установленіями. Конечно, никакихъ немедленныхъ слѣдствій принятія таинствъ и исполненія церковныхъ предписаній человѣкъ не замѣчаетъ потому, что нравственное развитіе духовное, для котораго установлены таинства и въ предѣлахъ котораго они дѣйствуютъ, для человѣка представляется безразличнымъ и неинтереснымъ,

онъ ищетъ только плодовъ этого развитія, представляющихся для него пріятными. Результатомъ этого неправильнаго отношенія къ духовной жизни (неправильнаго потому, что корень всякаго грѣха и зла — самолюбіе — здѣсь не только не отрицается, но служитъ главнымъ двигателемъ) получается у нѣкоторыхъ самообманъ, то, что на монашескомъ языкѣ называется прелестью, когда человѣкъ начинаетъ посредствомъ какихъ нибудь искусственныхъ пріемовъ разжигать свое воображеніе, горячить чувство, принимая это искусственное и тѣлесное разгоряченіе за дѣйствіе благодати и въ концѣ доходитъ до галлюцинацій. Натуры же болѣе критическаго ума, или болѣе мірскія обыкновенно успѣваютъ видѣть, что никакихъ непосредственныхъ полутѣлесныхъ, полудуховныхъ измѣненій въ ихъ природѣ отъ таинствъ не происходитъ, и начинаютъ утверждать, что никакого дѣйствія отъ таинствъ и нѣтъ, что молитва не помогаетъ, что, наконецъ, все ученіе Церкви сплошной обманъ. Л. Н., къ сожалѣнію, пошелъ тѣмъ же путемъ. Ему, геніальному писателю и художнику, конечно, трудно было смириться предъ чьимъ бы то ни было авторитетомъ. Рѣшаясь испробовать церковный путь, онъ захотѣлъ въ то же время и наблюдать, какъ на него будетъ дѣйствовать это новое средство, и, конечно, это средство и этотъ путь скоро ему надоѣли, ощутительныхъ послѣдствій въ себѣ графъ не замѣчалъ и. . . обвинилъ во всемъ этомъ не себя, а Церковь и ея таинства. Но Церковь и таинства спасительны не въ видѣ лекарствъ, а подъ условіемъ внутренняго самоотреченія, распятія своей самости, жертвы собой Богу. Такъ понимаетъ себя Церковь, такъ понимаютъ свою жизнь и всѣ православные подвижники, такъ понимаетъ отношеніе къ таинствамъ и нашъ простой народъ, вездѣ и всюду, гдѣ только ему представляется поводъ и возможность выразить въ словахъ и въ дѣйствіяхъ это свое пониманіе. И, конечно, наши священники и простые люди придутъ въ ужасъ, прочитавъ въ «Воскресеніи», какъ графъ понимаетъ таинство причащенія; имъ никогда и въ голову не придетъ самая возможность понимать таинство такъ грубо, матеріалистически, съ такими вопіющими подробностями.

Еще одно замѣчаніе. Въ концѣ своего письма Л. Н. утверждаетъ, что измѣнить свои мысли онъ можетъ, если ему представятъ другое, болѣе цѣнное пониманіе жизни, но возвратиться въ Церковь онъ не можетъ, «какъ не можетъ летающая птица войти въ скорлупу того яйца, изъ котораго она вышла». Много правды въ этомъ пророчествѣ, и правды самой грустной, трагической. По этому поводу мнѣ вспоминаются слова авторитетнаго обличителя гр. Толстого, преосвященнаго Антонія, епископа уфимскаго (ка-

жется, еще не попавшія въ печать). Преосв. какъ-то высказался, что гр. Толстой, какъ мыслитель, долженъ обратиться, потому что его жизнепониманіе, все его моральное ученіе требуетъ христіанскихъ, православныхъ посылокъ; но, прибавилъ владыка, едва ли графъ обратится, какъ человѣкъ. И, дѣйствительно, графъ утверждаетъ, что онъ вѣруетъ въ Бога — Духа, Бога — любовь, и думаетъ, что это соединеніе нѣсколькихъ названій вполнѣ выражаетъ его вѣру. Но что такое Богъ — любовь, если въ то же время Онъ не Личность? Имѣетъ ли эта любовь вѣчное, всемірное значеніе, значеніе непреложнаго и всеобщаго закона міровой жизни, если нѣтъ Бога въ Троицѣ, въ которой любовь эта вѣчно дѣйствительна, вѣчно осуществляется? Не заимствуетъ ли Л. Н. терминъ отъ вѣры, имъ осмѣянной и оставленной? Точно также и относительно безсмертія и мздовоздаянія. Если нѣтъ личнаго, вполнѣ опредѣленнаго и сознаваемаго безсмертія, тогда нѣтъ, конечно, и никакой загробной участи, нѣтъ никакого воздаянія, потому что природа всегда себѣ равна, она не умираетъ и въ общей суммѣ своей никогда не измѣняется. Кто же будетъ переживать и сознавать или, по крайней мѣрѣ, служить объектомъ ожидаемаго графомъ мздовоздаянія и безсмертія? Опять Л. Н., отрицая церковныя понятія о безсмертіи и мздовоздаяніи, влагаетъ въ эти слова, однако, тотъ смыслъ, сопровождаетъ ихъ тѣми чувствами, какими эти слова сопровождаются только въ церковномъ пониманіи, и какія (чувства) не могутъ имѣть мѣста, если брать слова въ ихъ безличномъ смыслѣ, какъ ихъ въ теоріи (но не на практикѣ) понимаетъ гр. Толстой. Получается довольно странное положеніе: человѣкъ любитъ, молится, почитаетъ что-то, весь смыслъ своей жизни полагаетъ въ томъ, чтобы исполнять волю кого-то — и въ то же время упорно твердитъ, что этотъ кто-то или что-то совсѣмъ не имѣетъ ни воли, ни сознанія, что, слѣдовательно ни почитать, ни любить его нельзя, и, конечно, на любовь и правду его разсчитывать также нельзя. Помнится, В. С. Соловьевъ весьма зло осмѣялъ такую странную религіозность и жизнь по вѣрѣ: молиться предмету и просить помощи отъ предмета, который завѣдомо ничего ни сдѣлать, ни даже услышать не можетъ. Если признается возможность и необходимость молитвы, если основа жизни — любовь и Богъ, если человѣкъ долженъ исполнить волю Его, тогда этотъ Богъ — личный и живой, именно Тотъ Богъ, въ Котораго вѣруетъ и Котораго проповѣдуетъ православная Церковь, и Котораго графъ теоретически отрицаетъ. Моральное ученіе графа, т. о., должно бы привести его къ Церкви, но вотъ можно ли надѣяться на то, чтобы такъ это и случилось въ дѣйствительности? Святитель Тихонъ Задонскій одна-

жды думалъ о томъ, какъ можетъ пастырь спастись, когда все время онъ долженъ думать о спасенiи другихъ. И вотъ онъ видитъ сонъ. Представляется ему, что онъ поднимается на высокую гору, поднимается съ трудомъ и усилiями совершенно одинъ. Но вотъ является кто-то, начинаетъ ему помогать, потомъ подбѣгаетъ еще человѣкъ, и еще, и еще, пока, наконецъ, не собирается около него цѣлая толпа людей; всѣ они поддерживаютъ его, помогаютъ идти, почти несутъ вверхъ, и онъ уже не чувствуетъ прежней усталости и труда. Такъ ученики помогаютъ учителю восходить все далѣе и далѣе къ совершенству, укрѣпляютъ его въ данномъ направленiи. То же и съ графомъ можетъ быть, только въ обратномъ направленiи. Тѣ же ученики, которыхъ онъ увлекъ за собой изъ Церкви, теперь послужатъ для него величайшей помѣхой къ обращенiю и покаянiю. *) Ему обратиться теперь труднѣе, чѣмъ кому бы то ни было. Но покуда онъ здѣсь, съ нами, покуда не пробилъ для него часъ явиться предъ Престоломъ нашего Судiи, до тѣхъ поръ мы еще можемъ надѣяться на милость Божiю и можемъ молиться, и усердно молиться, да помилуетъ и да обратитъ Господь раба Своего, и да даруетъ намъ опять вмѣстѣ съ нимъ единымъ сердцемъ и едиными усты восхвалять Его святое Имя.» **)

СЕРГIЙ, епископъ Ямбургскiй.
23 мая 1901 г. С.-Петербургъ.



«Нельзя подойти къ глубочайшимъ философскимъ проблемамъ», пишетъ, уже въ наши дни, Н. А. Лосскiй, «не обладая способностью видѣть взаимопроникновенiе противуположныхъ категорiй въ живомъ бытiи». «Въ конечномъ итогѣ, это видѣнiе обязываетъ, путемъ рацiональнаго мышленiя дойти до признанiя сверхрацiональныхъ основъ бытiя, путемъ пониманiя признать существованiе непонятнаго, доступнаго лишь мистическому созерцанiю. Такимъ образомъ подлинная логичность осуществлена лишь въ тѣхъ философскихъ системахъ, которыя содержатъ въ себѣ мистическiй аспектъ; чистый рацiонализмъ, лишенный этого аспекта, оказывается не достаточно рацiональнымъ, недостаточно логичнымъ, потому что, дойдя до то-

*) Сбылось слово епископа. А. I.

**) «Мысли православнаго епископа по прочтенiи новой исповѣди графа Л. Толстого». 1901.

го пункта, гдѣ раціональное логически требуетъ перехода къ сверхраціональному, онъ боится этого требованія логики и пытается поставить на мѣсто сверхлогическаго производныя мнимо логическія конструкціи, используя только раціональные элементы, усматривая въ мірѣ только низшія сферы бытія. Обѣдняя составъ міра, такой мыслитель становится нестерпимо одностороннимъ и слишкомъ положительный умъ его оказывается недалекимъ отъ глупости. Въ художественномъ произведеніи такой односторонности быть не можетъ: художникъ застрахованъ отъ нея самымъ существомъ своего художественнаго дара, состоящаго въ конкретномъ видѣніи бытія. Поэтому когда геній, какъ Толстой, рѣшается перейти отъ художественнаго творчества къ философскому, мы надѣемся найти въ его философіи сочувственное пониманіе всего безконечнаго разнообразія и богатства жизни и сложнѣйшій философскій синтезъ всѣхъ сторонъ ея. Но какъ велико наше разочарованіе, когда мы приступаемъ къ чтенію его философскихъ произведеній! То самое, что Толстой ясно видитъ, какъ художникъ, онъ старательно отрицаетъ, какъ философъ. Я уже не буду говорить о томъ, что, какъ философъ, онъ обнаруживаетъ непониманіе цѣнности науки, искусства, государства, націи, права и всего того, что составляетъ сферу духовной жизни, кромѣ элементарной морали; я остановлюсь только на одномъ примѣрѣ того, что всего ближе мнѣ, какъ представителю философіи, занимающейся изслѣдованіемъ самыхъ общихъ категоріальныхъ основъ строенія бытія». Здѣсь Лосскій приводитъ отрывокъ изъ тома III, ч. II, гл. 10 «Войны и мира», какъ княжна Марья «думаетъ не своими мыслями». «Для нея лично было все равно, гдѣ бы ни оставаться и что бы съ нею ни было; но она чувствовала себя вмѣстѣ съ тѣмъ представительницей своего покойнаго отца и князя Андрея. Она невольно думала ихъ мыслями и чувствовала ихъ чувствами».

Сліяніе дочери съ отцомъ и братомъ въ одно существо — удивительное и тѣмъ не менѣе несомнѣнное дѣйствительное явленіе. Еще удивительнѣе сліяніе множества лицъ въ одинъ цѣлостный организмъ полка или арміи, такъ прекрасно изображенное Толстымъ въ описаніи марша батальоновъ егерскаго полка передъ атакой (т. I, ч. II, гл. 18) или въ описаніи смотра въ Ольмюцѣ (т. I, ч. III, гл. 8).

Но всего поразительнѣе то взаимопроникновеніе человѣка, природы и неодушевленныхъ вещей, которое дано въ миѳическомъ воспріятіи дѣйствительности. Способностью таковаго воспріятія былъ одаренъ капитанъ Тушинъ (т. I, ч. II, гл. 20).

Даромъ миѳическаго воспріятія обладаютъ первобытные на-

роды всѣхъ частей свѣта и всѣхъ временъ; и въ культурной средѣ эта способность очень часто встрѣчается у дѣтей и у очень многихъ художниковъ. Этотъ типъ воспріятія міра вовсе не есть только фантастическое искаженіе дѣйствительности: исходя изъ него можно прійти, правда, къ нелѣпѣйшимъ баснямъ и суевѣріямъ, но и наоборотъ, осторожно критически пользуясь данными этого богатаго сложнаго видѣнія, можно проникнуть въ глубочайшіе тайники подлиннаго непрестанно творчески измѣняющагося бытія. Транцендированіе всякаго бытія за предѣлы самого себя въ пространствѣ и времени, возникающее отсюда взаимопроникновеніе элементовъ міра, нисхожденіе высшихъ царствъ бытія въ низшія и наоборотъ, причастіе низшаго бытія высшему, возникающій отсюда символическій характеръ многихъ событій и процессовъ (въ смыслѣ реальнаго символизма, а не условнаго — только), всѣ эти трудно постижимыя стороны міра открыты миѳическому видѣнію. Миѳическое міропониманіе стало въ наше время предметомъ усиленнаго вниманія ученыхъ и философовъ... Рѣзко иначе строитъ свое міровоззрѣніе Толстой. Какъ мыслитель-философъ, онъ свелъ все содержаніе міра только къ матеріальнымъ чувственно-даннымъ элементамъ и психическимъ процессамъ, а форму къ разсудочно мыслимымъ отношеніямъ. Эта отвлеченная разсудочность достигаетъ крайнихъ степеней, производящихъ впечатлѣніе чего-то уже почти курьезнаго, въ его книгѣ «Критика догматическаго богословія», гдѣ онъ пытается изобразить православное богословіе, какъ гнѣздо противорѣчій и неумныхъ жалкихъ компромиссовъ. Насмѣхаясь надъ догматомъ Троичности и опровергая его на основаніи отвлеченно разсудочнаго аргумента, что три не можетъ быть равно одному, Толстой самоувѣренно утверждаетъ, что никто никогда въ дѣйствительности не вѣрилъ въ этотъ догматъ, и что онъ лишенъ какого бы то ни было метафизическаго и нравственнаго значенія. Такія смѣлыя заявленія производятъ странное впечатлѣніе особенно въ наше время, когда вновь пробудился интересъ къ религіи и къ богословію и напримѣръ въ русской литературѣ появляются статьи и книги, открывающія глубокое значеніе всѣхъ догматовъ христіанства и въ особенности догмата Троичности...

Съ неумолимой рѣзкостью Толстой устраняетъ все глубинное и возвышенное содержаніе таинствъ и обрядовъ, все смысловое и цѣнное эстетическое въ искусствѣ, все духовное, сверхличное въ строеніи общества, государства, націи. Крещеніе для него «купанье въ водѣ», причастіе — простое съѣданіе кусочка хлѣба съ виномъ; выходъ священника изъ Царскихъ Вратъ со Святою Чашею онъ описываетъ такъ: «Взявъ въ руку золотую чашку,

священникъ вышелъ съ нею въ среднія двери и пригласилъ желающихъ поѣсть тѣла и крови Бога, находившихся въ чашкѣ» («Воскресеніе», ч. II, гл. 39). Какъ геніально-просты эти пріемы устраненія мистической стороны таинствъ. Вставленъ звукъ въ слово чаша, употреблено слово «поѣсть» и, смотришь, умъ читателя уже стилизованъ такъ, что перестаетъ видѣть значительность и безконечную содержательность Пріобщенія Святыхъ Таинъ, непререкаемо данную въ опытѣ всякому религіозному человѣку; налицо остается только плоская дѣйствительность, лишенная глубины.

Потрясающая односторонность Толстого, какъ мыслителя, вопіющее огрубленіе міра, производимое имъ, давно уже были подмѣчены и мѣтко охарактеризованы Достоевскимъ. Толстой «претъ въ одну точку», говоритъ онъ. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ умовъ, которые, «чтобы разглядѣть, что стоитъ въ сторонѣ, очевидно не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противуположное, такъ какъ они всегда строго искренни». («Дневникъ писателя», 1877).

«Геній всегда однако остается геніемъ», говоритъ Лосскій; «само огрубленіе міра, производимое Толстымъ, выходитъ за предѣлы того, что способенъ совершить обыкновенный человѣкъ, и пріобрѣтаетъ титаническій характеръ». *)

---

*) «Толстой, какъ художникъ и мыслитель. «Совр. Зап.» № 37. Изъ самыхъ послѣднихъ трудовъ о Толстомъ слѣдуетъ отмѣтить проникновенный очеркъ К. I. Зайцева. Харбинъ, 1937.

«ЦАРСТВІЕ БОЖІЕ»

«Сквозь зіяющія трещины человѣческаго разсудка видна бываетъ лазурь вѣчности».
о. Павелъ Флоренскій.

«Въ послѣднее время на англійскомъ языкѣ появилось новое его сочиненіе, которое очевидно имѣетъ своею цѣлію систематизировать въ одно цѣльное міровоззрѣніе всѣ разбросанныя имъ въ прежнихъ религіозно-философскихъ сочиненіяхъ мнѣнія. Это двухтомное сочиненіе явилось подъ заглавіемъ «Царство Божіе внутри васъ есть». Мы еще не успѣли ознакомиться съ этимъ сочиненіемъ, въ его полномъ видѣ, но часть его (въ видѣ извлеченія) напечатана въ январьской книжкѣ англійскаго журнала «Новое Обозрѣніе» (The New Review), и по этой части можно судить о цѣломъ... Въ разсматриваемой статьѣ Толстой усиливается отстоять свое ученіе о «непротивленіи злу» отъ выставленныхъ противъ него возраженій, и отстаиваетъ не такъ, какъ это дѣлается въ серьезной полемикѣ или критикѣ, а съ непостижимымъ высокомѣріемъ умственной непогрѣшимости, такъ что читатели обязаны на слово вѣрить графу, что истина всецѣло на его сторонѣ, а всѣ его противники — лжецы и безстыдные ханжи. По его воззрѣнію, всѣ существующія церкви основаны на лжи, и всѣ служители ихъ — лицемѣры, сознательно или несознательно поддерживающіе эту ложь. Но мало того, не только церкви, а и всѣ христіанскія государства съ ихъ теперешнимъ соціальнымъ строемъ — тоже основаны на лжи и вся де задача государственныхъ людей состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать эту ложь и, становясь на сторону угнетателей всякаго рода, помогать имъ держать подъ собою угнетенную ропщущую массу»... Такъ отзывается «Церковный Вѣстникъ» *)

*) Ц. В. № 6, отъ 10 февр. 1894.

на появленіе перваго заграничнаго изданія «Царство Божіе внутри васъ или христіанство не какъ мистическое ученіе, а какъ новое жизнепониманіе».

Въ 1895 году опубликовывается въ Харьковѣ разборъ уже русскаго изданія «Царство Божіе внутри васъ». Неизвѣстный авторъ, вспоминая эту статью «Церковнаго Вѣстника» говоритъ: «. . . къ сожалѣнію въ настоящее время положеніе дѣла значительно измѣнилось къ худшему: сочиненіе Толстого уже издано и на русскомъ языкѣ, и усердно распространяется, какъ мы знаемъ изъ документальныхъ данныхъ, не только вообще среди русскаго общества, но въ особенности — среди рабочихъ и крестьянъ».

Какъ извѣстно, Толстой, ранѣе, чрезъ газеты оповѣстилъ міръ, что изданіе своихъ сочиненій послѣдняго времени онъ предоставляетъ всѣмъ и каждому. Но на обложкѣ этого его сочиненія «Царство Божіе. . .» стоитъ надписаніе, что «единственное, авторомъ разрѣшенное изданіе» этого сочиненія принадлежитъ Берлинскому Библіографическому Бюро.

Въ этомъ своемъ сочиненіи, Толстой говоритъ сперва о христіанствѣ и воинской повинности; далѣе о непротивленіи и о причинахъ непониманія христіанства «людьми вѣрующими» и «людьми научными». Потомъ снова говоритъ о войнѣ и о величайшемъ злѣ — общей воинской повинности; о неизбѣжности принятія людьми ученія о «непротивленіи злу насиліемъ». . . Выводъ книги: все зло нашей жизни — въ существующемъ государственномъ устройствѣ; въ уничтоженіи его — благо.

Значеніе своихъ послѣдователей Левъ Николаевичъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ: «Соціалисты, коммунисты, анархисты со своими бомбами, бунтами и революціями далеко не такъ страшны правительствамъ, какъ эти разрозненные люди, съ разныхъ сторонъ заявляющіе свои отказы на основаніи одного и того же всѣмъ знакомаго ученія» (ч. II, стр. 30).

И Толстой указываетъ рядъ случаевъ, когда неповиновеніе властямъ (въ отношеніи присяги, податей) оставалось безнаказаннымъ по слабости и робости правительства. . . «Эти факты окрыляютъ его вѣру въ близкое торжество своихъ идей», замѣчаетъ харьковскій рецензентъ.

*

*   *

Толстой, отрицающій всякое государственное устройство, составляетъ «единый фронтъ» съ современными крайними шовинистами и обоготворителями Государства. Какъ толстовцы, такъ и современные язычествующіе шовинисты отрицаютъ Ветхій Завѣтъ. Въ Евангеліи же видятъ лишь нѣкій «морально-философическій» элементъ, безъ вѣры въ Боговоплощеніе и Воскресеніе Христово...

«Заблуждаетесь, не зная писаній, ни силы Божіей», говоритъ Спаситель такимъ саддукеямъ.

Толстой, тоже, слышать ничего не хочетъ о религіозномъ значеніи Ветхаго Завѣта. Ветхій Завѣтъ совсѣмъ не подходитъ къ его размышленіямъ.

Онъ объ этомъ говоритъ уже въ предисловіи къ своему «евангелію» (стр. 9—24).

Радикализмъ его въ этомъ отношеніи можетъ быть сравнимъ только съ радикализмомъ генерала Людендорфа.

Оторвать Евангеліе отъ Библіи хочетъ въ мірѣ еще и третья сила: раввинизмъ. Современные послѣдователи Талмуда, такъ же не вѣруютъ въ Искупителя міра, Истиннаго Богочеловѣка Христа и отвергаютъ Его слово, чтобы народъ ихъ имѣлъ только національную религію... (Парадоксальныя сопоставленія, но показывающія ясно, что богопротивленіе въ мірѣ и возстаніе противъ Божественной Истины, въ сущности, — одно).

*
* *

«Изслѣдуйте Писанія», говоритъ Спаситель, «ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную. А они свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Не думайте, что Я буду обвинять васъ предъ Отцемъ: есть на васъ обвинитель Моисей, на котораго вы уповаете. Ибо если бы вѣровали Моисею, то повѣрили бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его писаніямъ не вѣрите, — какъ повѣрите Моимъ словамъ?» (Іоан. V, 39. 45—47)... «О, несмысленные и медлительные сердцемъ, чтобы вѣровать всему, что предсказывали пророки! Не такъ ли надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою? И, начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ сказанное о Немъ во всемъ писаніи» (Лук. XXIV, 25—27)...

Но — многіе, говорящіе о Писаніяхъ, не думаютъ чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную. А Спаситель говоритъ лишь съ тѣми, для тѣхъ и отвѣчаетъ лишь тѣмъ, которые

ищутъ жизнь вѣчную и думаютъ ее имѣть чрезъ истину св. Библіи. *)

*
* *

Слова Льва Николаев. въ 1884 г.

«Я читалъ не одну нагорную проповѣдь, я читалъ всѣ Евангелія, всѣ богословскіе комментаріи на нихъ... 1) И вотъ послѣ многихъ, многихъ тщетныхъ исканій, изученій того, что было писано объ этомъ въ доказательство божественности этого ученія и въ доказательство небожественности его... 2) Читаю посланія ап. Павла... 3) Справляюсь (о томъ же непротивленіи злу) съ учителями церкви первыхъ вѣковъ... 4) Обратился къ толкованіямъ Церкви съ пятаго вѣка... 5) Справляюсь у греческихъ, католическихъ, протестантскихъ писателей и писателей тюбингенской школы и школы исторической... 6) Справляюсь, какъ переводятся въ Евангеліяхъ эти слова на разные языки... въ Вульгатѣ, у Лютера... 7) Справляюсь съ общимъ лексикономъ... Справляюсь съ лексикономъ Новаго Завѣта...

Слова Льва Никол. въ 1894 г.

«Я очень мало знаю, какъ и всѣ мы, о томъ, что дѣлалось и было проповѣдуемо и писано въ прежнее время по вопросу о непротивленіи злу. Я зналъ только, что было высказано объ этомъ предметѣ у отцовъ церкви — Оригена, Тертулліана 1) и другихъ (?),—зналъ и о томъ, что существуютъ нѣкоторыя такъ называемыя секты Меннонитовъ, Гернгутеровъ, Квакеровъ, которыя не допускаютъ для христіанина употребленія оружія и не идутъ въ военную службу; но что было сдѣлано этими такъ называемыми сектами для разъясненія этого вопроса, было мнѣ мало извѣстно». 2)

---

*) Отношеніе учениковъ Христовыхъ къ ветхозавѣтнымъ писаніямъ: Рим. I, 17; II, 24; Ш, 4. 10; IV, 7, 23; VШ, 35; IX, 13, 33; X, 15; XI, 8. 26; XII, 19; XIV, 11; XV, 3. 9. 21; 1 Кор. I, 19; П, 9; Ш, 19; X, 7; XV, 45; 2 Кор. VШ, 15; IX, 9; IV, 13; Гал. Ш, 10. 13; IV, 22. 27; 1 Петр. I, 16; II, 6; Рим. I, 2; П, 27. 29; IV, 3; IX, 17; X, 8. 11; XI, 2; XIV, 25; XV, 4; 1 Кор. XV, 3. 4; Гал. Ш, 8. 22; IV, 30; 1 Тим. V, 18; 2 Тим. Ш, 15. 16; Іак. II, 8. 23; IV, 5; 1 Петр. II, 6; 2 Петр. Ш, 16; II, 5; I, 10; Іак. V, 10; 1 Кор. XП, 28; XIV, 32; Ефес. П, 2; Ш, 5; Евр. I, 1; XI, 32; 2 Петр. Ш, 2 и мн. др.

Справляюсь съ контекстами... 8) Хорошо зная академическую литературу... 9) Справляюсь съ варіантами. Справляюсь по Грисбаху»... 10) и т. д.

Слова Л. Н. въ 1884 г.

«Открытіе это (ученіе о непротивленіи злу) сдѣлано было мною такъ... 1) Но долго я не могъ привыкнуть къ той странной мысли, что послѣ 1800 лѣтъ исповѣданія Христова закона милліардами людей, послѣ тысячъ людей, посвятившихъ свою жизнь на изученіе этого закона, теперь мнѣ пришлось, какъ что то новое открывать законъ Христа. Но какъ ни странно это было, это было такъ. 2)

Слова Л. Н. въ 1894 г.

«Ученіе о непротивленіи злу насиліемъ съ самаго основанія христіанства исповѣдывалось и исповѣдуется меньшинствомъ людей». 3)

*
* *

«Ошибка Толстого», говоритъ авторъ харьковскаго изслѣдованія, «прежде всего состоитъ въ томъ, что онъ понялъ ученіе Христа о непротивленіи злу только въ буквальномъ смыслѣ, т. е. въ томъ именно смыслѣ, которому Христосъ всегда противился, обличая за такое буквальное пониманіе Божественнаго Откровенія фарисеевъ, и противъ котораго, собственно говоря, была направлена вся Нагорная проповѣдь. Но ученіе Христа теряетъ всю свою силу и все свое значеніе когда его понимаютъ только въ буквальномъ смыслѣ и внѣ связи со всѣмъ Его ученіемъ вообще. Укажемъ примѣръ, какъ можно извратить

1) «Въ чемъ моя вѣра?», стр. 10. 2) Тамъ же, стр. 11. 3) стр, 31, 4) стр. 32, 5) стр. 33, 6) тамъ же, 7) стр. 34, 8) «Въ чемъ моя вѣра?» — Женевское изданіе, стр. 35, 9) стр. 187, 10) стр. 68.

1) «Въ чемъ моя вѣра?», стр. 6, 2) Тамъ же, стр. 46—47.

1) Оригена и Тертулліана Толстой, конечно, по невѣдѣнію называетъ не учителями, а отцами Церкви.

2) «Царство Божіе внутри васъ» стр. 1—2.

3) «Царствіе Божіе внутри васъ», ч. 1, стр. 1.

ученіе Христа при буквальномъ, отрывочномъ пониманіи его, согласно пріемамъ Толстого. «Не противься злу (или злому). Можно понять и такъ, что нельзя противиться только злому, а доброму противиться можно».

Богъ «далъ намъ способность быть служителями Новаго Завѣта, не буквы, но духа, потому что буква убиваетъ, а духъ животворитъ» (2 Кор. III, 6).

Въ книгѣ «Въ чемъ моя вѣра», на стр. 223 самъ Толстой, пытаясь уклониться отъ явно безсмысленныхъ выводовъ своей теоріи, говоритъ: «Не могу употреблять какое бы то ни было насиліе противъ какого бы то ни было человѣка, за исключеніемъ ребенка и только для избавленія его отъ предстоящаго ему тотчасъ же зла».

У автора «Въ чемъ моя вѣра» не духовное, конечно, а «душевное», «плотское» пониманіе словъ: «зло», «противленіе», «сила».

Внѣшнее противленіе внѣшнему проявленію внутренняго зла совсѣмъ не предполагаетъ непремѣнно злого состоянія духа сопротивляющагося. Можно примѣнить и внѣшнюю силу — совершенно безъ зла; наоборотъ по чувству любви, жертвенности, дѣйственнаго «практическаго» жизненнаго добра, столь цѣнимаго самимъ Толстымъ.

Необходимость и внѣшняго несопротивленія злодѣямъ, во всѣхъ случаяхъ жизни, даже когда мы духовно не готовы къ этому, онъ доказываетъ такими аргументами: «Если мы позволимъ себѣ признать какихъ либо людей злодѣями особенными (раќа), то мы этимъ уничтожимъ весь смыслъ христіанскаго ученія, по которому всѣ мы равны и братья, какъ сыны одного Отца Небеснаго».

«Если бы и было разрѣшено Богомъ употребленіе насилія противъ злодѣевъ», говоритъ онъ, — «то никакъ нельзя найти того вѣрнаго и несомнѣннаго опредѣленія, по которому можно навѣрное отличить злодѣя отъ незлодѣя»... («Царство Божіе...», ч. I, стр. 50).

Какая кабинетная теоретичность подстерегла Толстого на пути его исканій «жизненнаго» Евангелія!

Харьковскій авторъ возражаетъ автору «Царства Божія»:

«Что же касается до опредѣленія того, гдѣ будетъ зло, въ защитѣ ли или въ нападеніи на ближняго, то ясно для каждаго, что въ этомъ случаѣ (въ случаѣ физической охраны беззащитнаго отъ нападенія) будетъ сдѣлано только добро и притомъ для всѣхъ трехъ: 1) подвергающійся нападенію будетъ избавленъ отъ зла, которое причинилъ бы ему нападающій; 2) на-

падающему будетъ сдѣлано добро чрезъ недопущеніе его къ совершенію зла ближнему; 3) для защищающаго, добро будетъ состоять уже въ его сознаніи, что онъ не допустилъ совершиться злу и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалъ доброе для двухъ своихъ ближнихъ».

«Заповѣди, какъ объективныя правила, какъ кодексъ закона, обязательны для всѣхъ и на нихъ можетъ и долженъ быть основанъ, какъ нравственный, такъ и государственный и общественный строй жизни христіанскихъ народовъ. Непротивленіе же злу не есть правило, а только высшее состояніе души человѣка, указываемое ученіемъ о любви христіанской, обусловленное степенью нравственнаго развитія, степенью дѣятельнаго усвоенія ученія Христа о любви къ ближнимъ, и имѣетъ чисто субъективный характеръ. Заставить человѣка прощать врагамъ и любить ихъ нельзя, такъ какъ не будетъ дѣломъ христіанской любви то, что сдѣлано вынужденно, внѣшними требованіями, а не добровольно, по внутреннимъ только побужденіямъ, вслѣдствіе внутренней борьбы съ самолюбіемъ, своекорыстіемъ, эгоизмомъ, т. е. вслѣдствіе внутренняго подвига самоотверженія.

Поэтому ученіе Спасителя о непротивленіи злу и не должно быть даже называемо въ собственномъ смыслѣ заповѣдью, требованіемъ объективнымъ».

Конечно. Она есть заповѣдь блаженства. И можетъ выразиться другими, уже не встрѣчающими перетолковыванія, словами: «Не будь побѣжденъ зломъ, но побѣждай зло добромъ».

*
*   *

Такъ всегда понимали эту заповѣдь св. отцы, никогда не смѣшивая ее ни съ воинской службой, ни съ вопросомъ о физической охранѣ слабыхъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ, въ 4-мъ вѣкѣ, такъ говоритъ: «Приведши постановленіе ветхаго закона и прочитавши оное отъ слова до слова, Спаситель присовокупляетъ: Азъ же глаголю вамъ не противитися злу... Что же, скажешь ты, ужели намъ не должно противиться лукавому? Должно, но не такъ, а какъ повелѣлъ самъ Спаситель, то есть готовностію терпѣть зло. Симъ образомъ ты дѣйствительно побѣдишь лукаваго. Ибо не огнемъ погашаютъ огонь, а водою... Далѣе Спаситель требуетъ еще высшаго любомудрія, когда повелѣваетъ обиженно-

му не только молчать, но и подставлять обижающему другую щеку, и такимъ образомъ еще сильнѣе поборать его своимъ великодушіемъ. И это говоритъ онъ не для того, чтобы дать законъ, повелѣвающій переносить обиды, но чтобы во всѣхъ другихъ случаяхъ научить насъ незлобію. Ибо какъ въ томъ случаѣ, такъ и здѣсь не только предписываетъ, чтобы мы одни заушенія переносили великодушно, но чтобы и ничѣмъ подобнымъ мы не возмущались... Предписывая же сіе, Спаситель имѣетъ въ виду пользу и біющаго и біемаго. Ибо обиженный, вооружившись тѣмъ любомудріемъ, которому научаетъ Спаситель, будетъ думать, что онъ не потерпитъ никакого зла; онъ даже не будетъ думать и чувствовать обиды, почитая себя ратоборцемъ и не думая объ ударѣ. А обижающій, будучи постыжденъ, не только не нанесетъ другого удара, хотя бы онъ былъ лютѣе всякаго звѣря, но и за первый будетъ крайне обвинять себя. Ибо ничто такъ не удерживаетъ обижающихъ, какъ кроткое терпѣніе обижаемыхъ. Оно не только удерживаетъ ихъ отъ дальнѣйшихъ порывовъ но еще заставляетъ раскаяться и въ прежнихъ, и дѣлаетъ то, что они отходятъ отъ обиженныхъ, удивляясь ихъ кротости... Но мщеніе производитъ совершенно противныя слѣдствія. Оно обоихъ вводитъ въ стыдъ и дѣлаетъ худшими; а гнѣвъ еще больше воспламеняетъ... Посему Спаситель заушаемому не только запретилъ гнѣваться, но и повелѣлъ насытить желаніе ударяющаго такъ, чтобы вовсе и непримѣтно было, что ты первый ударъ претерпѣлъ невольно. Ибо такимъ образомъ ты безстыднаго поразишь гораздо чувствительнѣе, нежели какъ бы ты ударилъ его рукою, и изъ безстыднаго содѣлаешь его кроткимъ. Но Спаситель хочетъ, чтобы мы показывали подобное незлобіе не только, когда насъ бьютъ, но и когда хотятъ взять отъ насъ имѣніе... Впрочемъ, не просто предложилъ сіе послѣднее правило. Ибо не сказалъ: отдай просящему срачицу, но — хотящему судитися съ тобою; т. е. если онъ влечетъ тебя въ судъ и хочетъ завести съ тобою дѣло... Но если тщательнѣе разсмотримъ слова Спасителя, то увидимъ, что въ нихъ заключается новое предписаніе, гораздо еще высшее. Ибо онъ не только повелѣваетъ любить враговъ, но и молиться за нихъ. Видишь ли, на какія возшелъ онъ степени и какъ поставилъ насъ на самый верхъ добродѣтели? Смотри и исчисляй оныя, начавши съ первой: первая степень — не начинать обиды; вторая — когда она уже причинена, не воздавать равнымъ зломъ обидѣвшему; третья — не только не дѣлать обижающему того, что ты потерпѣлъ, отъ него, но и оставаться спокойнымъ; четвертая — предавать себя самого злостра-

данію; пятая — отдавать болѣе, нежели сколько хочетъ взять причиняющій обиду; шестая — не ненавидѣть его; седьмая — даже любить его; осьмая — благодѣтельствовать ему; девятая — молиться о немъ Богу... Но какъ это возможно, скажешь ты? Ты видишь, что Богъ для тебя содѣлался человѣкомъ; что Онъ такъ уничижилъ Себя, и такъ много пострадалъ за тебя; и еще ли спрашиваешь и недоумѣваешь, какъ можешь ты прощать обиды равнымъ себѣ? Не слышишь ли, что говоритъ Онъ на крестѣ: оставь имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук. XXIII, 34)? Когда больные, находящіеся въ сумасшествіи, наносятъ удары и обиды врачамъ своимъ: то въ сіе то время особенно врачи жалѣютъ о нихъ и наиболѣе стараются объ ихъ излѣченіи, зная, что оная дерзость происходитъ отъ чрезмѣрной болѣзни. Подобнымъ образомъ ты имѣй такое же расположеніе духа къ злоумышляющимъ противъ тебя, и такимъ же образомъ поступай съ обижающими тебя; ибо они болѣе всѣхъ другихъ больны и терпятъ величайшее насиліе. Итакъ освободи врага своего отъ сей жестокой напасти; заставь его бросить гнѣвъ и избавь отъ лютаго демона — ярости. Видя бѣснующихся, мы проливаемъ слезы, а не думаемъ сами подобно имъ бѣсноваться. Будемъ поступать также и съ гнѣвающимися, ибо они подобны бѣсноватымъ, или даже несчастнѣе ихъ, потому что они и бѣснуются, но еще не лишились ума» (Бесѣды на Матѳ. Ч. I, М. 1846, стр. 369—380)...

Это ученіе — чисто духовное ученіе св. отцовъ, ученіе Церкви и нашихъ дней... Не разрушая законовъ міра и не вступая въ единоборство съ нимъ въ его плоскости, Церковь вводитъ свою Божественную Закваску, открываетъ міръ высшей жизни.

Совершенно очевидно, что взявъ отдѣльную духовную мысль изъ Евангелія, Толстой понялъ ее плотски, безъ разума евангельскаго.

И — превратилъ живую, теплую, очень жизненную и необходимую, несущую вѣчную жизнь, мысль, въ обмірщенную, и, въ сущности, вульгарную доктрину «міра сего», — законническій императивъ для человѣчества.

Если отдѣлить Евангеліе отъ Живого Духа Божія, Духа Предвѣчнаго Слова, то даже евангельскія слова обращаются въ прахъ... Такъ, по исходѣ духа человѣческаго, гармоническое тѣло человѣка обращается въ пыль и грязь.

Такова тайна духа.

БОРЕНІЕ СЪ СИМВОЛОМЪ ЦЕРКВИ

«1800 лѣтъ тому назадъ среди языческаго Римскаго міра явилось странное, не похожее ни на какое изъ прежнихъ, новое ученіе, приписавшееся человѣку Христу. . . *) ученіе отрицавшее не только всякія божества, всякій страхъ предъ ними, всякія гаданія и вѣру въ нихъ, но и всякія человѣческія учрежденія и всякую необходимость въ нихъ. Вмѣсто всякихъ правилъ прежнихъ исповѣданій ученіе это выставляло только образецъ внутренняго совершенства, истины и любви въ лицѣ Христа, и — послѣдствія этого внутренняго совершенства, достигаемаго людьми — внѣшняго совершенства, предсказаннаго пророками — царства Божія, при которомъ всѣ люди разучатся враждовать, будутъ всѣ научены Богомъ (?) и соединены любовью, и левъ будетъ лежать съ ягненкомъ»...[1]) «Нѣтъ по этому ученію поступковъ, которые бы могли оправдать человѣка, сдѣлать его праведнымъ. Больше или меньше благо человѣка зависитъ по этому ученію не отъ степени совершенства, до котораго онъ достигаетъ, а отъ большаго или меньшаго ускоренія движенія»... [2]) Но «съ самыхъ первыхъ временъ христіанства появились люди, начавшіе утверждать про себя, что тотъ смыслъ, который они придаютъ ученію, есть единый истинный, и что доказательствомъ этого служатъ сверхъестественныя явленія, подтверждающія справедливость ихъ пониманія. Это то и было главной причиной сначала не пониманія ученія, а потомъ и полнаго извращенія его». [3]) По словамъ Толстого, [4]) началось это апостолами на іерусалимскомъ соборѣ, на которомъ были произнесены «въ первый разъ долженствовавшія внѣшнимъ образомъ утвердить справедливость извѣстныхъ утвержденій эти страшныя, надѣлавшія столько зла слова: «угодно Святому Духу и

*) «Царствіе Божіе», ч. I, стр. 73.

намъ», т. е. утверждалось, — говоритъ Толстой, [5]) что «справедливость того, что они постановили, засвидѣтельствована чудеснымъ участіемъ въ этомъ рѣшеніи Святаго Духа, т. е. Бога. Но утвержденіе о томъ, что Св. Духъ, т. е. Богъ говорилъ чрезъ апостоловъ», продолжаетъ Толстой, [6]) «опять надо было доказать. И вотъ понадобилось для этого утверждать то, что въ Пятидесятницу Святой Духъ въ видѣ огненныхъ языковъ сошелъ на тѣхъ, которые утверждали это. . . Но и сошествіе Святаго Духа надо было подтвердить для тѣхъ, которые не видали огненныхъ языковъ. . . и понадобились еще чудеса и измѣненія (?), воскресенія, умерщвленія и всѣ тѣ соблазнительныя (?) чудеса, которыми наполнены Дѣянія. . .» Такимъ образомъ, по словамъ Толстого, [7]) уже ко времени Константина все пониманіе ученія свелось къ резюме — къ символу вѣры, въ которомъ значится: вѣрую въ то-то, то-то и то-то и подъ конецъ — въ единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. непогрѣшимость тѣхъ лицъ, которыя называютъ себя церковью, такъ что все свелось къ тому, что человѣкъ вѣритъ уже не Богу, не Христу, какъ они открылись ему, а тому, чему велитъ вѣрить церковь» — «Но Христосъ никакъ не могъ основать церковь. . . То, что люди назвали то, что сложилось потомъ, тѣмъ же словомъ, которое Христосъ употреблялъ о чемъ то другомъ (?), никакъ не даетъ имъ права утверждать того, что Христосъ основалъ единую истинную церковь». [1]) Мысль, что Христосъ основалъ Церковь, по мнѣнію Толстого опровергается уже тѣмъ, что существуютъ многія церкви — католическая, православная и протестантская, изъ которыхъ каждая только себя считаетъ истинною, а всѣ другія объявляетъ ложными. Затѣмъ, — рядомъ съ церквами существовали и существуютъ еще такъ называемыя ереси. — Конечно, Толстой становится на сторону послѣднихъ, признавая за ними положительное превосходство надъ Церковію. «Въ томъ, что называлось ересью», говоритъ онъ, [2]) — «и было именно истинное движеніе, т. е. истинное христіанство, и только тогда переставало быть имъ, когда оно въ этихъ ересяхъ останавливалось въ своемъ движеніи и также закрѣплялось въ неподвижныя формы церкви». Въ доказательство своего мнѣнія Толстой ссылается даже на авторитеты «ученаго» (?) историка христіанства E. de Pressensé въ его

---

1) Стр. 74; 2) стр. 75; 3) стр. 77; 4) стр. 80; 5) Ч. I, стр. 80; 6) Тамъ-же; 7) стр. 81.

1) Ч. I, стр. 83; 2) стр. 90.

«Histoire du Dogme» и Готфрида Арнольда — Unpartheyische Kirchen und Ketzer-Historie 1729.

Но признавъ истинное христіанство только въ сектахъ и ересяхъ и — даже не въ одной какой либо опредѣленной ереси, но въ ересяхъ вообще, — Толстой, конечно, долженъ былъ отрицать его въ Церкви. Такъ онъ и дѣлаетъ. Но мало этого, — онъ идетъ по тому же направленію еще далѣе и, наконецъ, приходитъ къ заключенію, что христіанская Церковь есть самое враждебное христіанству учрежденіе и что ничто такъ много зла не дѣлаетъ людямъ, какъ Церковь. «Какъ ни странно это кажется», говоритъ онъ, 1) — «церкви, какъ церкви, всегда были и не могутъ не быть учрежденіями, не только чуждыми, но прямо враждебными ученію Христа... Церкви, какъ церкви, какъ собранія, утверждающія свою непогрѣшимость, суть учрежденія противухристіанскія. Между церквами, какъ церквами, и христіанствомъ не только нѣтъ ничего общаго, кромѣ имени, но это два совершенно противоположныя и враждебныя другъ другу начала... Церковь, кромѣ зла, ничего болѣе людямъ не приноситъ»... «Оба Франциска d'Assise и de Sales, нашъ Тихонъ Задонскій, Ѳома Кемпійскій и др. были», говоритъ Толстой, 2) — «добрые люди, не смотря на то, что они служили дѣлу, враждебному христіанству, но они были бы еще добрѣе и достойнѣе, если бы не подпали тому заблужденію, которому служили».

Православный Символъ вѣры Толстой называетъ «резюме споровъ, происходившихъ на соборѣ» (ч. I, стр. 81). «Нагорная проповѣдь или Символъ вѣры. Нельзя вѣрить и тому и другому». Соотвѣтствуетъ ли объективной истинѣ это противупоставленіе православнаго церковнаго Символа вѣры — Евангелію, можетъ провѣрить всякій.

Вотъ Никео-Царьградскій Символъ и — Слово Божіе: Вѣрую во единаго Бога Отца (ср. Іоан. XIV, 1; XVII, 3; Іак. II, 19; Евр. XI, 6; Рим. Ш, 30; 1 Кор. VШ, 6; Гал. Ш, 20; Ефес. IV, 6; 1 Тим. II, 5 и др.), Вседержителя (2 Кор. VI, 18; Апок. I, 8; IV, 8; XI, 17; XV, 3; XVI, 7. 14; XIX, 6; XXI, 22), Творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ (Матѳ. XIX, 4; Марк. X, 6; Рим. I, 25; Ефес. III, 4; Колос. I, 16). И во Единаго Господа Іисуса Христа (1 Кор. VIII, 6; Іоан. XIII, 13. 14; 1 Кор. XII, 3; Филип. II, 11). Сына Божія (Матѳ. III, 17; Марк. I, 11; Лук. III, 22; Іоан. V, 37; Матѳ. XVII, 5; Марк. IX, 7; 2 Петр. I, 17; Матѳ. XVI, 16. 20; XIV, 33; Іоан. VI, 69; 1 Іоан.

1) Ч. I, стр. 98, 2) стр. 101

I, 7; II, 22. 23. 24; III, 8. 23; IV, 9. 10. 14. 15; V, 5. 10. 11. 12. 13. 20; 2 Іоан. I, 3. 9; Апок. I, 13; II, 18; Рим. I, 3. 4. 9; V, 10; VIII, 3. 29. 32; 1 Кор. I, 9; XV, 28; 2 Кор. I, 19; Гал. I, 16; II, 20; IV, 4. 6; Ефес. IV, 13; 1 Сол. I, 10; Евр. I, 2, 5; IV, 14; VI, 6; X, 29 и др.). Единороднаго (Іоан. III, 16; 1 Іоан. IV, 9; Гал. IV, 4), Иже отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ (1 Іоан. V, 1; Евр. I, 5; V, 5). Свѣта отъ Свѣта (Іоан. VIII, 12; IX, 5; 1 Іоан. I, 5). Бога истинна отъ Бога истинна (Іоан. III, 33; 1 Іоан. V, 20; Рим. III, 4; 1 Сол. I, 9; Евр. IX, 14), рожденна, не сотворенна (Евр. V, 5; I, 5; 1 Іоан. V, 1), единосущна Отцу (Іоан. XIV, 11; XVII, 10; X, 30. 36. 38). Имже вся быша (Іоан. I, 3; Кол. I, 16; Ефес. III, 9; Евр. I, 2). Насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія (Іоан. III, 16. 17; Матѳ. XXVI, 28; Лук. XXII, 19. 20; Марк. XIV, 24; 1 Кор. XI, 24; Матѳ. XX, 28; Марк. X, 45; Іоан. XI, 51. 52; X, 16; 1 Кор. VIII, 11; XV, 3; Рим. V, 18; 1 Тим. II, 5; IV, 10; Тит. II, 11; 1 Сол. V, 9; 2 Сол. II, 13; Евр. I, 14; II, 10; 1 Петр. II, 2), сшедшаго съ небесъ (Іоан. III, 13; VI, 62; Матѳ. XXVI, 64; Іоан. XVI, 27. 28; Ефес. IV, 10) и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы и вочеловѣчшася (Матѳ. I, 18. 20; Лук. I, 35; Іоан. I, 14). Распятаго же за ны при Понтійстѣмъ Пилатѣ и страдавша и погребенна (Матѳ. XXVII, 26. 60; Марк. XV, 15. 45—46; Лук. XXIII, 24—25. 52—53; Іоан. XIX, 16. 42; 1 Кор. I, 23; II, 2. 8; Гал. III, 1; Апок. XI, 8 и др. 1 Петр. II, 21. 23; III, 18; IV, 1; 2 Кор. I, 5; Евр. IX, 26; 1 Тим. VI, 13; 1 Кор. XV, 4). И воскресшаго въ третій день по писаніемъ (1 Кор. XV, 3—4). И возшедшаго на небеса (Марк. XVI, 19; Лук. XXIV, 51; Дѣян. I, 9; Іоан. III, 13; VI, 62; Матѳ. XXVI, 64; Ефес. IV, 10; 1 Петр. III, 22), и сѣдяща одесную Отца (Марк. XVI, 19; Матѳ. XXVI, 64; 1 Петр. III, 22; Колос. III, 1; Евр. I, 3. 13; VIII, 1; X, 12, XII, 2). И паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ (Матѳ. XXV, 31—46; XIII, 49; XVI, 27; Дѣян. I, 11; X, 42; 1 Сол. I, 10; Іак. V, 7. 8; 2 Петр. I, 16; III, 4. 10. 12; 1 Кор. IV, 5; XV, 23; 2 Кор. VII, 7; 1 Сол. II, 19; III, 13; IV, 15; V, 2. 23; 2 Сол. II, 1. 8; Матѳ. XXIV, 44; Апок. III, 11; IV, 8; XXII, 12. 20). Егоже царствію не будетъ конца (Лук. I, 33). И въ Духа Святаго (Матѳ. XXVIII, 19; III, 16; Марк. I, 10; Лук. III, 21; Іоан. I, 32; Матѳ. I, 18. 20; XII, 28. 32; Марк. III, 28; Лук. XII, 10; Матѳ. X, 20; Лук. XII, 12; Іоан.

XIV, 16. 17. 26; XV, 26; XVI, 7—15; XX, 22; 1 Петр. I, 12; IV, 14; 2 Петр. I, 21; 1 Іоан. III, 24; IV, 13; V, 6. 7; Іуд. I, 20; Апок. II, 7. 12. 17. 29; III, 6. 15. 22; XIV, 13; Дѣян. I, 2. 5. 8. 16; II, 4. 17. 33. 38; IV, 8. 25. 31; V, 32; VI, 3. 5. 10; VII, 51. 55; VIII, 15—19. 39; IX, 17. 31; X, 19. 38. 44. 45. 47; XI, 12. 15. 16. 24. 28; XIII, 2. 4. 9. 52; XV, 8. 28; XVI, 6. 7; XIX, 2. 6; XX, 23. 28; XXI, 11; XXVIII, 25; Рим. V, 5; VIII, 9, 11. 14. 26; IX, 1; XIV, 17; XV, 13. 16. 19; 1 Кор. II, 10. 11. 12. 13. 14; III, 16; VI, 11. 17. 19; VII, 40; VIII, 6; XII, 3. 8. 9. 11. 13; XIV, 2; 2 Кор. III, 3; V, 5; VI, 6; XIII 13; Гал. III, 5; IV, 6; Ефес. III, 5; IV, 4. 30; Филип. I, 19. 27; 1 Сол. IV, 8; 1 Тим. III, 16; IV, 1; Тит. III, 5; Евр. II, 4; III, 7; VI, 4; IX, 14; X, 15). Господа животворящаго (Дѣян. V, 3. 4; Рим. IV, 17; VIII, 11; 1 Кор. XV, 45). Иже отъ Отца исходящаго (Іоан. XV). Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и сславима (Матѳ. XXVIII, 19; 1 Іоан. V, 7; Матѳ. III, 16—17), глаголавшаго пророки (2 Петр. I, 21; 1 Петр. I, 10. 11). Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь (Матѳ. XVI, 18; XVIII, 17; 1 Петр. II, 4—8; 1 Кор. III, 10—12; XII, 28; XIV, 4. 12; Ефес. I, 22; V, 23. 25—27; IV, 10—13; 2 Кор. VI, 16; VIII, 1; Филип. III, 6; Колос. I, 18. 24; 2 Сол. II, 4; 1 Тим. III, 15 и др.). Исповѣдую едино крещеніе во оставленіе грѣховъ (Іоан. III, 3. 4; Матѳ. XXVIII, 19; Марк. XVI, 16; Дѣян. II, 38; X, 47. 48; Ефес. IV, 5; 1 Петр. III, 21; Рим. VI, 3. 4; 1 Кор. XII, 13; Гал. III, 27; Колос. II, 12. Чаю воскресенія мертвыхъ (Матѳ. XXII, 32; Марк. XII, 26; Лук. XX, 37; Іоан. V, 25. 28; XI, 25—26; VI, 40. 54; Рим. VI, 5; 1 Кор. XV, 12. 13. 21. 42; Филип. III, 11; Евр. VI, 2; XI, 19. 35) и жизни будущаго вѣка (Іоан. III, 16. 36; IV, 14; Ефес. I, 21; II, 7; Евр. VI, 5; Рим. II, 7; V, 21; VI, 2; VII, 10; Гал. VI, 8; 1 Тим. IV, 8; Евр. VII, 16; 1 Іоан. I, 2; II, 25; III, 14; V, 11. 13. 20 и мн. др.

* * *

«... Нагорная проповѣдь или Символъ вѣры. Нельзя повѣрить тому и другому. И церковниками выбрано послѣднее: Символъ вѣры учится и читается какъ молитва и въ церквахъ, а нагорная проповѣдь исключена даже изъ чтеній евангельскихъ въ церквахъ, такъ что въ церквахъ никогда, кромѣ какъ въ тѣ дни, когда читается все

Евангеліе, прихожане не услышатъ ее». («Царство Божіе»..., ч. I, стр. 180).

На самомъ же дѣлѣ, какъ можетъ, опять, видѣть всякій (въ «Указателѣ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на всѣ дни года»), Нагорная Проповѣдь отдѣльно читается въ храмѣ 13 разъ въ году и множество разъ въ дни, посвященные памяти преподобныхъ, и на молебнахъ во время безведрія, о умиреніи и соединеніи православной вѣры, за творящихъ милостыню и «на всякое прошеніе»...

Левъ Николаевичъ не считалъ для себя нужнымъ провѣрять даже такія свои существенныя утвержденія и свидѣтельства противъ Церкви.

Вспоминается Откровеніе, глава 12, стихъ 10. *)

* * *

Къ началу распространенія идей «Царствія Божія» въ Россіи, произошло обращеніе къ Церкви одного горячаго и искренняго толстовца М. А. С. Всей силой своей молодой увѣровавшей и нашедшей миръ души, онъ написалъ Толстому нѣсколько писемъ, умоляя Л. Н—ча обратить лицо къ Церкви. Эти письма были спубликованы въ отдѣльномъ изданіи. Вотъ одно изъ этихъ искреннѣйшихъ писемъ:

«... Вспомните, Левъ Николаевичъ, мое къ Вамъ письмо изъ с.-петербургской пересыльной тюрьмы, въ которомъ я тогда говорилъ Вамъ, что Вы, какъ Поликратъ, и что на Васъ излилось всевозможное земное счастье: богатство, семейное рѣдкое благополучіе, долголѣтняя, до глубокой старости, спокойная, безмятежная жизнь, всемірная головокружительная слава. Васъ это письмо тронуло до слезъ, писалъ мнѣ тогда В. Г. Чертковъ. Оттого ли это, что писалъ я отъ преизбытка сердца, ибо въ незабвенное то время весь я былъ охваченъ любовью теплою къ людямъ, «страсти мои были придавлены», какъ писали мнѣ съ Аѳона. Но думаю, оттого Васъ тронуло то нѣжное мое письмо, что Духъ Божій Утѣшитель таинственно (какъ Ему свойственно) коснулся Вашего измученнаго сердца, и оно сознало на мгновеніе, что Богъ, дѣйствительно, щедро одарилъ Васъ отъ богатыхъ Своихъ даровъ. Не понималъ я, какъ спасаетъ Богъ. Теперь же мнѣ ясно, что Васъ Онъ хотѣлъ и хочетъ привлечь къ Себѣ Сво-

---

*) («Клеветникъ братій нашихъ, клевещущій на нихъ предъ Богомъ нашимъ день и ночь»).

ею благостью, кротостью, долготерпѣніемъ, любовью, которая для нашего спасенія предала въ руки грѣшниковъ на пропятіе Возлюбленнаго Отчаго Сына. Зачѣмъ Вы не внемлете тихому гласу Божіей любви?

И вотъ Богъ начинаетъ Васъ взыскивать Своею строгою десницею, посылая Вамъ тяжкую болѣзнь и глубокую скорбь въ разлукѣ не только съ любимою дочерью, но и въ разочарованіи, смѣю думать, ею, нарушившею заповѣдь Крейцеровой Сонаты и послѣдовавшею подъ вѣнецъ христіанскаго брака въ православной, обруганной Вами Церкви. Такъ я понимаю причину Вашей болѣзни и я ей порадовался ради Вашей души. Съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ Вамъ то тронувшее Васъ сердечное письмо, съ выраженіями сыновней любви, утекло много воды. Многими скробями лютыми спасалъ мою сластолюбивую душу Господь; благодарю Бога и молю не лишить меня и впредь очистительныхъ скорбей и обидъ. Знаю, что не попасть иными путями въ царство небесное, какъ только «многими скорбями», коими спаслись всѣ святые мученики, пустынники, апостолы, пророки, учители, а также и тотъ разбойникъ, который первый вошелъ въ рай Божій послѣ мукъ крестныхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ прошелъ я сквозь цѣлый рядъ тюремъ, этаповъ и арестныхъ домовъ, испыталъ я уже иныя скорби, о коихъ сказано въ Евангеліи: «радуйтеся и веселитеся, егда рекутъ вамъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще Меня ради»: сладостнѣе этихъ скорбей нѣтъ въ мірѣ, ибо по мѣрѣ, какъ онѣ умножаются — умножается и утѣшеніе отъ Утѣшителя Духа, Который нѣжнѣе матери умѣетъ облегчить скорбящую по-христіански душу. Да, если чѣмъ могу нынѣ похвалиться, похвалюся скорбями, коими облагодѣтельствовалъ меня Господь и далъ познать неисповѣдимую сладость смиренія и глубокія чувства любви къ людямъ — братьямъ, всепрощенія и жалости къ нимъ. Знаете ли, Л. Н., что я слышалъ отъ «православныхъ», которыхъ всѣхъ сплошь я нѣкогда, слѣдуя Вамъ, почиталъ непотребными. Одинъ монахъ мнѣ говорилъ, что въ христіанинѣ должно мудрствоваться то, еже мудрствовалось (мыслилось и чувствовалось) во Христѣ Іисусѣ, то есть въ сердцѣ Богочеловѣка. Что же такое? А то, чтобы имѣть въ тайнѣ сердца своего желаніе дать ближнему ѣсть с в о ю плоть. Дивно, но понятно это, по крайней мѣрѣ à contra verso: въ злыхъ или одержимыхъ злою похотью является чувство, выражаемое: «такъ бы и разорвалъ въ клочки, такъ бы и съѣлъ». . .

Вы написали прегрѣшную подпольную книгу въ доказательство вѣры Вашей, что «царство Божіе внутрь насъ», а я пріобрѣлъ, во внутренней борьбѣ съ Вашими лжеученіями, вѣру, что

и царство сатанино внутрь насъ, и открывается въ отношеніяхъ къ ближнему. Представьте, вообразите своимъ художественнымъ высокимъ умомъ, какъ висѣлъ между небомъ и преисподнею на крестѣ Кротчайшій, Смиреннѣйшій, Безгрѣшный, и какъ молился о распинателяхъ Тотъ, при послѣднемъ вздохѣ Котораго великимъ трусомъ тряслась земля, померкло солнце и увѣровало сердце язычника — сотника, сказавшаго: «во истину это былъ Сынъ Божій»! Неужели Ваше сердце, сердце поэта гуманиста, менѣе чутко, чѣмъ суровое солдатское сердце сотника римскаго? Увѣровалъ разбойникъ, то есть убійца и варваръ, и смиренно сказалъ эти сладкія слова: «помяни мя, Господи, во царствіи Своемъ», — неужели не увѣруете Вы, который умѣли описать подвигъ Наташи Ростовой, смерть князя Болконскаго и многое другое трогательное, надъ чѣмъ я плакалъ въ юношескіе мои годы и что воздвигало умъ мой отъ грубой скотской чувственности къ высшимъ наслажденіямъ поэзіи и поэтическимъ созерцаніямъ («надъ вымысломъ слезами обольюсь» — писалъ А. С. Пушкинъ)? Нынѣ я познаю другую поэзію — поэзію покаянной молитвы, самоокаянанія о ближнихъ, въ томъ числѣ и о Васъ. Мучительно и ужасно жить въ сѣни смертной гордыни, самообожанія, упорства, жестокосердія. «Когда услышите гласъ Его, не ожесточите сердца». О! я помню, какъ одержимый этими злыми демонами, я мучилъ мою бѣдную страдалицу мать. Въ тайнѣ души я всегда любилъ мою мать: въ отрочествѣ я заливался слезами, когда представлялъ ее себѣ во гробѣ, умершею. И мама моя чуяла сердцемъ, что, мучая ее злыми рѣчами, революціонными безтолковыми фанфаронадами, самъ я болѣе ея мучаюсь. Помню: такъ бы кажется упалъ передъ матерью на колѣни, въ слезахъ, цѣлуя ея трудовыя руки, но слезъ не было въ сердцѣ, сердце не раскрывалось, — оно сдѣлалось гнѣздилищемъ падшихъ и нечистыхъ духовъ. Вотъ, милый Л. Н., не тоже ли самое испытывается въ Васъ по отношенію къ Матери-Церкви, простирающей къ Вамъ руки и зовущей къ таинствамъ очистительнымъ: «ядите, сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ» всего міра, а не только В а ш и х ъ, сколь бы велики они ни были. «Пейте отъ нея (чаши) в с и» — въ томъ числѣ и В ы — «сія есть к р о в ь Новаго Завѣта, яже за вы и за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ». Но Вы страшитесь, Вамъ тяжело, совѣстно отдаться въ объятія Матери-Церкви, ринуться, — вспоминая, сколько ругательствъ и хуленій высказано Вами на Церковь Христову въ писаніяхъ Вашихъ (а наипаче въ критикѣ Догматическаго православнаго Богословія). Но это ложный стыдъ. Послѣдуйте доброму примѣру

блуднаго евангельскаго сына. Тотъ самъ пришелъ, а Васъ зоветъ и зоветъ Церковь-Мать, не теряя надежды до послѣдняго дня, всячески ожидая Вашего обращенія. Повѣрьте, Л. Н., что всѣ православные, вѣрующіе люди больше, чѣмъ Вы сами и всѣ Ваши безбожные поклонники, болѣютъ въ эти дни болѣзни Вашей опасеніемъ за погибель вѣчную Вашей души. Не «Миссіонерское ли Обозрѣніе» приняло на свои страницы это мое къ Вамъ письмо? Да и какъ не бояться и не скорбѣть объ участи тѣхъ людей, кои по канонамъ должны быть даже лишены христіанскаго погребенія по церковному чину и молитвъ Церкви заупокойныхъ, кои могутъ умереть въ ожесточеніи, не сознавъ своихъ заблужденій и грѣховъ, въ упорномъ отрицаніи Божества Іисуса Христа, какъ будто отрицаніе это сдѣлаетъ Его менѣе Божественнымъ? Въ томъ-то и Божественность Іисуса Христа, что Онъ, обладая живыми и мертвыми, Онъ, Котораго одно имя, призываемое съ вѣрою, отгоняетъ демоновъ, Онъ, Который имѣетъ власть, разсѣкши насъ съ Вами «полма», ввергнуть въ дебрь огненную, Онъ-то и долготерпитъ, и милосердствуетъ о насъ, «не желая смерти грѣшника», а потому даетъ въ нашихъ тяжкихъ неисцѣльныхъ, казалось, болѣзняхъ отсрочку.

Опытно дознано, что болѣзни, посылаемыя Богомъ, и скорби житейскія исцѣляютъ наши души отъ самообольщенія, самообожанія, гордости, лжеучительства, напоминаютъ о личномъ ничтожествѣ, о смерти, о мученіяхъ адскихъ т а м ъ, — въ мірѣ иномъ, «гдѣ каждому воздастся по дѣламъ его».

Всѣмъ извѣстна, Л. Н., искренность Вашего по природѣ добраго, честнаго сердца, чуткость богато одареннаго Богомъ, но омраченнаго гордостью ума, и я не отчаиваюсь въ надеждѣ, что Вы не уйдете въ другой міръ, не сказавъ со всею искренностью правды о себѣ самомъ, что Вы не отвергнете съ грубымъ и тупымъ упорствомъ любвеобильныхъ попеченій Церкви Христовой, которая Васъ и дѣтей Вашихъ крестила, мνропомазала, благословила на бракъ, многократно питала Кровію и Тѣломъ Богочеловѣка и молится до нынѣ о Васъ. Левъ Николаевичъ! Скоро пробьетъ и д в у н а д е с я т ы й часъ Вашей жизни. . . Не забудьте евангельскихъ словъ Милостиваго Человѣколюбца, что и въ этотъ часъ пришедшій къ Нему «ту же честь обрящетъ». Припомните, Л. Н., спасшагося на крестѣ при послѣднемъ издыханіи «благоразумнаго разбойника». Не поздно и для Васъ покаяніе, а болѣзнующая о заразительныхъ струпьяхъ и смрадныхъ язвахъ Вашего горделиваго лжеучительства Мать-Церковь приметъ Васъ, очиститъ и омоетъ благодатію своихъ Таинствъ, вразумитъ, успокоитъ смятенную Вашу совѣсть. «Любяй неправду ненавидитъ

свою душу»!... Теперь, съ Божьею помощью («безъ Мене же ничего не можете творить», — учитъ слово Божіе, — «безъ Бога ни до порога», — говоритъ православный голосъ народной мудрости), Вы поправляетесь отъ недуга .Подведите же, стоя на рубежѣ двухъ міровъ, спокойно и безпристрастно итоги Вашей борьбы съ Іисусомъ Галилеяниномъ, Котораго Вы, въ сознаніи и воображеніи своемъ, низводили съ высоты Божественнаго достоинства на ступени едва-ли не ниже себя, — и скажите устами Юліана Богоотступника, который вѣдь не ниже Васъ по даннымъ отъ Бога талантамъ: Ты побѣдилъ меня, — «трудно рожну противу прати»!. Посмотрите затѣмъ Л. Н., и на ближайшіе плоды своего противохристіанскаго еретическаго мудрованія. Церковь Христово стоитъ вотъ уже почти 2 тысячи лѣтъ, какъ непоколебимый «столпъ и утвержденіе истины», и будетъ стоять до скончанія вѣка, «ибо и врата ада не одолѣютъ ее». А Ваше яснополянское царство, или вѣрнѣе братство, не устояло и въ теченіе какого-нибудь десятка лѣтъ. Почему? А потому, что оно построено Вами на пескѣ, на болотѣ горделивыхъ страстей. Гдѣ Ваши апостолы, — первенцы и піонеры толстовской секты (всѣ изъ университетской, просвѣщенной молодежи), на которыхъ почивала Ваша любовь и лучшія надежды? Одни, испивъ до дна чашу разочарованія, — оживотворенные, и обновленные благодатію Св. Духа въ Церкви Православной, при посредствѣ слова Божія, ученія святыхъ отцовъ и таинствъ, сдѣлались вѣрными и преданными сынами Церкви и государства, изъ нихъ Аркадій В—чъ Ал—нъ, исходивъ всю Русь, изслѣдовавъ всѣ лжеученія, побывавъ во Св. Землѣ, вернулся въ лоно Церкви и теперь служитъ помощникомъ городского головы г. К—ка, Михаилъ А—чъ Н—въ, издатель Вашего смердящаго злобою на военное званіе и Помазанника Божія, лучшаго изъ царей нашей исторіи, — разсказа «Николай Палкинъ», — состоитъ смотрителемъ одного училища и миссіонерствуетъ среди увлекающейся Вашимъ лжеученіемъ интеллигенціи, во славу православія.

Я, многогрѣшный, исходивъ послѣ освобожденія отъ ссылки per pedes apostolorum весь дикій сѣверъ, до Соловковъ включительно, какъ видите, отдался духовной журналистикѣ и тоже противъ Васъ миссіонерствую, ради спасенія своей грѣшной души.

Молодой, талантливый Г—е, наплодивъ полдюжины дѣтей съ одной крестьянкой, на правахъ толстовскаго гражданскаго брака, послѣ 10-лѣтнихъ мукъ жизни по толстовскому режиму, проклялъ день своего впаденія въ капканъ Вашего ученія и

умчался за-границу; Абаза — единственная надежда у матери, не справившись съ душевною борьбою, съ двоящимися своими мыслями по поводу Вашего лжеученія, — застрѣлился; совращеннаго въ Вашу секту священника Аполлова (какъ ужасно это, что іерей не устоялъ!) Ваши же удержали на смертномъ одрѣ отъ раскаянія, пославъ къ нему П. И. Бир—ва увѣщевать умирать мужественно. (Какое насиліе!). Дрожжина, въ безплодной борьбѣ съ воинской дисциплиной, заѣла скоротечная чахотка въ госпиталѣ исправительнаго баталіона. Шкарвана увлеченіе Вашимъ ученіемъ лишило докторскаго диплома, гражданскихъ правъ и здоровья. Ваше же ученіе десятки духоборъ толстовиковъ (постнистовъ) свело въ могилу, сотни довело до ссылки, а тысячи разорило и выкинуло за бортъ отечества, — въ Канаду, гдѣ теперь они клянутъ свою судьбу (прочтите письмо духобора Гончарова въ ноябрьской кн. «Мис. Обозр.»). В. Г. Черткова, кн. Д. А. Хилкова (оба — единственная надежда своихъ матерей), П. П. Бирюкова, И. М. Трегубова, Е. И. Попова, М. А. Бадянскаго постигла административная ссылка, и они эмигрировали за границу, гдѣ изъ непротивленцевъ сдѣлались озлобленными сѣятелями всякаго противленія, неправды и хулы на Россію и Церковь православную (въ своихъ листкахъ, «Свободнаго Слова», въ которыхъ и Вы мараете свои руки, украшая каждый мизерный ихъ листокъ передовыми статьями). А гдѣ нынѣ толстовскія колоніи опростившихся интеллигентовъ? — всѣ разсыпались, разбрелись. Посмотрите, наконецъ, на свою собственную семью: Магометъ и тотъ прежде всего плѣнилъ вслѣдъ себя жену, а Вы ни супругѣ Софьѣ Андреевнѣ, ни дѣтямъ Вашимъ не могли внушить и привить своихъ заповѣдей, правилъ и началъ жизни, ибо въ самой основѣ ихъ лежитъ фальшь и противорѣчіе. Если уже дѣти Ваши, послѣдовавшіе за Вами, скоро измѣняли (уже не Татьяна-ли Львовна была, казалось, вѣрною послѣдовательницею Вашею!), то гдѣ-же прочность и незыблемость Вашихъ началъ и основъ? Изъ краткаго сего повѣствованія Вамъ ясны должны быть ГОРЬКІЕ ПЛОДЫ ВАШЕГО УЧЕНІЯ.

Неужели Вы, великій художникъ слова и поэтъ, — этому своему окаяннѣйшему антихристіанскому ученію принесете въ жертву свою безсмертную душу, свою судьбу въ вѣчности? Да сохранитъ и вразумитъ Васъ Всемилостивѣйшій Спасъ, имиже вѣсть судьбами! Смотрите сами: Вы свободны, насильно Богъ никого не спасетъ. «Обратитеся ко Мнѣ и Азъ обращусь къ вамъ», говоритъ Господь»!..

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ГОДЫ

«Ты спрашиваешь о Левочкѣ», пишетъ Софья Андреевна сестрѣ въ 1901 г. «Мнѣ грустно тебѣ отвѣчать и на это, такъ какъ я должна тебѣ писать правду. Онъ за этотъ годъ вдругъ совсѣмъ постарѣлъ, исхудалъ, упалъ силами, постоянно чѣмъ нибудь хвораетъ. То болятъ ноги, съ мѣста встать больно, то руки болятъ, сводитъ пальцы; то желудокъ не варитъ. Иногда всю ночь стонетъ: ревматизмъ ли это или перерожденіе артерій, или плохое кровообращеніе — трудно узнать».

Въ іюнѣ Толстой ѣдетъ въ Кочеты, къ дочери Татьянѣ Львовнѣ. Возвращаясь оттуда, чувствуетъ еще большую слабость

«Путешествіе Л. Н—ча», разсказываетъ П. А. Буланже, «отъ Кочетовъ до станціи желѣзной дороги было очень тяжело и мучительно. Въ виду того, что ѣхать въ экипажѣ было очень болѣзненно, Л. Н. предпочелъ пойти на станцію пѣшкомъ, выйдя заблаговременно. Провожатаго онъ отказался взять, не желая стѣснять другихъ, и, разспросивъ дорогу, пустился въ путь. Но, пройдя часа полтора, онъ усталъ, и, кромѣ того, желая взять прямое направленіе, которымъ онъ сократилъ бы версты 3—4, сбился съ дороги. Наступали сумерки. Левъ Н—чъ карабкался съ холма на холмъ, терялъ силы, видѣлъ, что сбивается совсѣмъ съ первоначальнаго направленія. Спустилась ночь, и невдалекѣ отъ себя Л. Н. услышалъ лай собакъ, онъ направился туда и нашелъ пастуховъ на заброшенномъ хуторѣ. Здѣсь онъ узналъ, что значительно отклонился отъ дороги, что до станціи еще верстъ шесть. Тогда онъ сталъ просить достать гдѣ нибудь лошадь — лошади не было. Не возьмется ли кто нибудь проводить его до станціи или, по крайней мѣрѣ, вывести на дорогу? Никто не соглашался, боятся, — въ этой мѣстности много волковъ, и рисковать выходить въ эту темень никто не хотѣлъ. Указали направленіе и съ Богомъ.

Въ темную ночь, усталый уже, не зная дороги, но полагаясь

на свои старыя охотничьи привычки, Л. Н—чъ пустился въ путь, снова выбираясь и спускаясь по холмамъ. Наконецъ, ноги его нащупали наѣзжую дорогу. Онъ остановился и сталъ оріентироваться въ темнотѣ. Видно было, что онъ напалъ на скрещеніе нѣсколькихъ дорогъ. Куда теперь было итти? Зная, что земство въ этой мѣстности ставило на перекресткахъ дорогъ столбы съ надписями направленій, онъ нащупалъ столбъ, но надписи прочесть нельзя было. Къ счастью, оказались въ карманѣ спички, и, зажегши спичку, Л. Н—чъ узналъ, наконецъ, куда надо было итти...»

* * *

Однажды, во время одной изъ трудныхъ болѣзней Толстого, этого періода, Абрикосовъ подошелъ къ постели его, чтобы поправить подушки, и услышалъ отъ Льва Николаевича: «не хорошо мнѣ»... Абрикосовъ спросилъ: «а духовно хорошо?». Онъ отвѣтилъ: «духовно очень хорошо, я пришелъ духовно до такого состоянія, что дальше некуда итти; все состояніе духовное выражается у меня такъ: «Отче мой, въ руки Твои предаю духъ мой. Мой Отецъ, въ руки Твои предаю духъ мой», повторилъ онъ еще.

А нѣсколько минутъ передъ тѣмъ (какъ можно видѣть изъ письма Абрикосова къ его другу Шкарвану), Левъ Николаевичъ началъ разсказывать, что «задумалъ теперь писать свою автобіографію»... «Эту ночь онъ все вспоминалъ свое дѣтство и продиктовалъ 20 пунктовъ С. А—нѣ изъ своихъ воспоминаній. И тутъ же началъ мнѣ разсказывать, какъ отецъ его разсыпалъ золотые: «вотъ изъ этой самой шифоньерки», показалъ онъ, и какъ дѣти подбирали ихъ, какъ они не могли найти одинъ золотой, и отецъ сказалъ, что если они найдутъ его, то могутъ взять его себѣ. Они нашли и не знали, что дѣлать съ нимъ. Думали, думали и рѣшили купить Пелагеѣ Ильинишнѣ курильницу. Тутъ Л. Н. не выдержалъ и началъ смѣяться и плакать при этомъ простомъ воспоминаніи дѣтства. Онъ объяснялъ, что это за курильница была и просто надрывался и трясся весь отъ смѣха. Мнѣ даже страшно было за него».

Такими эмоціями жилъ Левъ Николаевичъ, когда повторялъ слова высочайшаго духовнаго состоянія (если бы дѣйствительно оно было ему свойственно, онъ, конечно, не могъ бы сказать: «я пришелъ духовно до такого состоянія, что дальше некуда итти»)...

«Душевный человѣкъ не принимаетъ (и — не понимаетъ. А. I.) того, что отъ Духа Божія» (1 Кор. II, 14).



Осенью 1902 года жители Ясной Поляны «были встревожены происшествіемъ» (Біогр.). Софья Андреевна записала: «съ 10 сентября на 11-ое у насъ на чердакѣ былъ пожаръ. Сгорѣли 4 балки, и если бы я не усмотрѣла этого пожара, по какой-то счастливой случайности взглянувъ на чердакъ, сгорѣлъ бы домъ, а главное, потолокъ могъ бы завалиться на голову Л. Н—ча, который спитъ какъ разъ въ той комнатѣ, надъ которой горѣло на чердакѣ». Это событіе произошло въ то время, когда (по свидѣтельству Софьи Андреевны) Л. Н. «началъ писать «Обращеніе къ духовенству»...

* * *

Какъ опредѣлили толстовцы мѣсто Толстого въ мірѣ послѣ отлученія?

«*Человѣкъ, ставшій центромъ духовной жизни человѣчества*» (Бирюковъ).

Имя Толстого есть «*имя величайшаго человѣка всѣхъ временъ и народовъ*» (Дунаевъ)...

* * *

«Святое воинство небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь Божью, на землѣ сущую: бѣдствуетъ она, возлюбленная невѣста, нападенія лютыя терпитъ отъ безбожника Льва Толстого и многочисленныхъ его почитателей, признающихъ его за бога и величающихъ»... (Изъ Созерц. Дневника о. Іоанна Кронштадтскаго за 1906—1907 г.).

* * *

«Я для себя знаю, что мнѣ нужно: въ чистотѣ блюсти свое животное, въ смиреніи свое человѣческое и *въ любви свое божеское*». (Письмо къ Черткову).

«Я всерьезъ поставилъ себя предъ лицомъ Бога, или всего, чего я часть измѣняющаяся». (1902 г. Письмо къ Бирюкову).

«Вписалъ *) недурное о томъ, что у христіанскихъ народовъ нѣтъ никакой религіи. Все время въ очень дурномъ, недобромъ расположеніи духа. Воспоминаніе о томъ, что во мнѣ Богъ, уже не помогаетъ» (Дневникъ).

*
* *

«... Мнѣ не гордиться надо прошедшимъ, да и настоящимъ, а смириться, стыдиться, спрятаться — просить прощенія у людей (Написалъ «у Бога», а потомъ вымаралъ). Предъ Богомъ я меньше виноватъ, чѣмъ предъ людьми: онъ сдѣлалъ меня, допустилъ меня быть такимъ. Утѣшеніе только въ томъ, что я не былъ золъ никогда...»

«Формула, резюмирующая сознательную внутреннюю работу Л. Н—ча за 1904 годъ» (Біогр.): «Богъ есть иксъ; но хотя значеніе икса и неизвѣстно, намъ безъ икса нельзя не только рѣшать, но и составлять никакого уравненія. А жизнь есть рѣшеніе уравненія» (Изъ дек. Дневника).

*
* *

«2 октября 1907 г. вечеромъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ М. В. Булыгину, старому единомышленнику своему, содержаніе «Круга чтенія»... Разговоръ шелъ о томъ, что нѣкоторыя чужія мысли Л. Н. включаетъ въ «Кругъ Чтенія» не буквально, а съ нѣкоторыми измѣненіями.

Л. Н. сказалъ: «Прежде я не рѣшался поправлять Христа, Конфуція, Будду, а теперь думаю: да я обязанъ ихъ поправлять, потому что они жили 3—5 тысячъ лѣтъ тому назадъ!». (Запись секретаря — Гусева).

*
* *

4 января 1908 г. въ Ясную Поляну пріѣхалъ священникъ изъ Тулы. Гусевъ спросилъ его, остается ли въ силѣ изданное въ 1900 г. постановленіе Синода не отпѣвать Л. Н. по православно-

*) Въ одно воззваніе.

му обряду въ случаѣ смерти. О. Троицкій отвѣтилъ уклончиво: «Прежде смерти о похоронахъ не говорятъ».

«За завтракомъ Л. Н—ча священнику удалось побесѣдовать съ нимъ» — говоритъ Гусевъ.

«Я читалъ вашу книжку «Христіанское ученіе», — сказалъ священникъ. «Мы съ вами во многомъ сходимся»...

«Да, у васъ есть истина», отвѣчалъ Л. Н. — «Если бы у васъ не было истины, вы бы давно погибли. Но вмѣстѣ съ истиной у васъ и много лжи. Васъ гордыня дьявольская обуяла, что вы знаете истину... И эта ваша увѣренность въ томъ, что вы знаете несомнѣнную истину, разъединяетъ васъ со мною, съ китайцемъ... А я соединяюсь съ нимъ».

Продолженія и конца ихъ разговора я не слыхалъ: онъ происходилъ одинъ на одинъ. Видимо, этотъ посѣтитель былъ очень тяжелъ Л. Н—чу. Сужу такъ по тому, что самъ Л. Н. разсказывалъ за обѣдомъ. По его словамъ, священникъ сказалъ ему, что церковные обряды — это скорлупа на яйцѣ. Если прежде времени сколупнуть скорлупу, то цыпленокъ не выведется.

«Я сказалъ ему», продолжалъ Л. Н., «что скорлупа — это тѣло, цыпленокъ — это духъ, а ваше ученіе — это дерьмо на скорлупѣ. Онъ очень обидѣлся. Я еще рѣзче сказалъ: — не на *д*, а на *г*».

Софьѣ Андреевнѣ очень не понравился отвѣтъ Л. Н—ча священнику. — «Я не люблю дурныхъ, нечистоплотныхъ словъ» — сказала она.

«Это отвратительно, папа, что ты сказалъ» — проговорилъ Андрей Львовичъ.

Сергѣй Львовичъ замѣтилъ, что, по его мнѣнію, С. А. должна была бы сказать священнику, чтобы онъ не пріѣзжалъ.

«Зачѣмъ же я буду это говорить?» — возразила С. А. — «Человѣкъ пріѣзжаетъ съ добрыми чувствами. Мало ли мнѣ кто изъ «темныхъ» не нравится, я бы ихъ вышвырнула изъ дома, а я всѣхъ принимаю. Я священниковъ всегда привыкла уважать».



«Пріѣзжала монахиня, «матушка Анна», далѣе сообщаетъ Гусевъ. «Л. Н. долго разговаривалъ съ нею, затѣмъ ушелъ гулять. Послѣ чаю монахиня хотѣла было уѣзжать, но затѣмъ рѣшила дождаться Л. Н—ча, чтобы проститься съ нимъ. Минутъ черезъ 10 послѣ возвращенія Л. Н—ча я изъ своей комнаты услышалъ громкій и взволнованный голосъ Л. Н—ча, говорившa-

го съ монахиней въ столовой. Выйдя изъ своей комнаты, я услыхалъ, какъ Л. Н. громко говорилъ:

«Каждый день десять казней! . . . И это все сдѣлала церковь! А Христосъ велѣлъ не противиться злу!»

Монахиня возразила, что нельзя слова Христа о непротивленіи злому понимать буквально, какъ и слова о томъ, что надо вырвать глазъ, если онъ тебя соблазняетъ.

«Это сравненіе», такъ же возбужденно, какъ и прежде, отвѣтилъ Л. Н. — «и имъ ничего нельзя доказать, а въ заповѣдяхъ Христосъ прямо говоритъ: вамъ сказано — око за око, а я говорю — не противься злому; вамъ сказано — соблюдай клятвы, а я говорю — не клянись; вамъ сказано — люби ближняго и ненавидь врага, а я говорю — любите враговъ вашихъ. . . Церковь все извратила! . . . Вы поправляете Христа! . . .»

Монахиня начала говорить о томъ, что нельзя же оставлять безнаказанными звѣрскія преступленія. Л. Н. не далъ ей договорить.

«Ну такъ, такъ и сказать, что Христосъ говорилъ глупости, а вы умнѣе его», обезсилѣвшимъ отъ волненія голосомъ крикнулъ онъ. — «Это ужасно!»

Никогда еще не видѣлъ я Л. Н—ча такимъ взволнованнымъ».



Чѣмъ дальше онъ отъ истины творчества, тѣмъ мучительнѣе слово. . . «Хаджи-Муратъ» (1904) — послѣднее «толстовское» произведеніе. «Алеша Горшокъ» (1905) — отблескъ его пламени. Послѣднее художественное произведеніе Льва Николаевича, самое неоконченное и самое несовершенное изъ всѣхъ его произведеній, есть и самое идеологическое, выражающее основную и завѣтную мысль всей его философіи: «Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ» (2-й варіантъ — сентябрь 1910 г.). —

Никогда еще, кажется, не боролось такъ его художественное перо съ истиной Божьей. . . Но и истина Божія никогда еще такъ не побѣждала его правдивую художественную интуицію.

Толстой не могъ правдиво написать неправду. Онъ всегда заходилъ, стилистически, въ свои «непроходимыя болота» (выраженіе Тургенева), когда писалъ религіозную неправду. Оттого, не читаются (почти совсѣмъ не читаются теперь) его «духовныя» сочиненія, начиная съ «евангелія» — живого трупа. Даже не чуткій читатель понимаетъ, что эти книги не Толстымъ писаны. А чуткій читатель не можетъ не видѣть,

что Толстой, геніальный писатель и художникъ, все время побѣждается въ своихъ «духовныхъ» книгахъ и брошюрахъ, кѣмъ-то другимъ, какимъ то сѣрымъ и скучнымъ духомъ. Свое неполное личное участіе въ этихъ «духовныхъ» произведеніяхъ, Толстой, можетъ быть, безсознательно для себя, проявляетъ въ томъ, что пишетъ ихъ *слабо*.

Его изнемогающая художественная интуиція гораздо большую обнаруживаетъ правдивость, чѣмъ его торжествующій разумъ.

Божіе Откровеніе говоритъ человѣчеству: *всѣ въ мірѣ виноваты*.

А Толстой хочетъ крикнуть на весь міръ: «*Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ!*» И — *не можетъ* крикнуть. Ничего не выходитъ... Безсвязная рѣчь...

«Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ».

* * *

«9 апрѣля С. Д. Николаевъ сказалъ, что, по его мнѣнію, ученіе Джорджа потому такъ мало распространено, что нѣтъ такихъ людей, которые слили бы свою жизнь съ этимъ ученіемъ. «Вѣдь Христосъ», сказалъ онъ, «потому именно и имѣлъ такое огромное вліяніе на людей, что онъ слилъ свою жизнь со своимъ ученіемъ».

«Не думаю, возразилъ Л. Н. — *Мало ли людей, которые жили жизнью гораздо болѣе христіанскою, чѣмъ Христосъ*, и не оставили никакого слѣда. *Онъ и ужиналъ, и на ослѣ въ Іерусалимъ въѣзжалъ*... Нѣтъ, я думаю, *его вліяніе объясняется просто тѣмъ, что онъ формулировалъ* ясно то, къ чему шло человѣчество»... *)



Передъ Пасхой 1908 г. Левъ Николаевичъ выразился: «Вотъ Софья Александровна Стаховичъ — умная женщина, а пишетъ мнѣ, выписываетъ стихи Хомякова о воскресеніи Лазаря. Онъ и

*) Гусевъ. «Два года съ Толстымъ».

не воскресалъ никогда, и незачѣмъ ему было воскресать, да если бы онъ и воскресъ, то намъ никакого дѣла нѣтъ до этого». *)

25 мая Гусевъ записываетъ разговоръ Л. Н—ча съ Плюснинымъ: «Если человѣкъ знаетъ, что онъ такое, знаетъ, что въ немъ есть божественное начало, какая ему еще нужна поддержка? То, что онъ можетъ получить отъ другихъ, относится къ тому, что онъ имѣетъ въ себѣ, какъ 1—1.000.000 или какъ 1—100.000.000.

* *
*

20 января 1909 г. Толстого посѣтилъ тульскій епископъ Пареенiй. Узнавъ изъ газетъ объ этомъ посѣщеніи, изъ Москвы, сейчасъ же, пріѣхалъ въ Ясную Поляну сотрудникъ «Русскаго Слова» Спиро. Л. Н—чъ, «желая, чтобы о посѣщеніи Пареенія не ходило ложныхъ слуховъ», разсказалъ этому газетному корреспонденту слѣдующее:

«Въ Тулѣ живетъ генералъ Кунъ, которому тульскій архіерей Пареенiй говорилъ, что ему хотѣлось бы пріѣхать ко мнѣ и поговорить со мною. Кунъ сказалъ объ этомъ Черткову, а Чертковъ передалъ мнѣ. Причемъ архіерей будто бы говорилъ, что онъ не знаетъ только, захочу ли я его принять, и боится, что если приму, то «заговорю»... За эти слова, впрочемъ, не ручаюсь, т. к. слышалъ ихъ изъ третьихъ устъ...»

«Въ одну изъ своихъ обычныхъ прогулокъ», продолжалъ Л. Н. — «я пошелъ въ школу и сказалъ учительницѣ, что если пріѣдетъ архіерей и захочетъ изъ школы придти ко мнѣ, — я буду радъ его видѣть.

Въ день посѣщенія имъ школы, я въ обычное свое время, въ

---

*) «Вѣра, которою спасаемся», говорилъ о. Павелъ Флоренскій «есть начало и конецъ креста и со-распятія Христу. Но вѣра — то, что называется «разумная» —, т. е. «съ доказательствами отъ разума», вѣра по Толстовской формулѣ: «Я хочу понять такъ, чтобы всякое необъяснимое положеніе представлялось мнѣ, какъ необходимость разума», — такая вѣра есть закорузлый, злой, жестокій и каменный наростъ въ сердцѣ, который не допускаетъ его къ Богу, — крамола противъ Бога, чудовищное порожденіе человѣческаго эгоизма, желающаго и Бога подчинить себѣ. Много есть родовъ безбожія, но худшій изъ нихъ — такъ именуемая «разумная» или точнѣе разсудочная вѣра. Худшій, ибо кромѣ непризнанія объекта вѣры («вещей невидимыхъ») она, къ тому же являетъ въ себѣ лицемѣріе, признаетъ Бога, чтобы отвергнуть самое существо Его, — «невидимость», т. е. сверхразсудочность. «Что есть разумная вѣра?» — спрашиваю себя. Отвѣчаю: «Разумная вѣра» есть гнусность и смрадъ предъ Богомъ... Не повѣритъ, доколѣ не отвергнется себя, своего закона».

5 часовъ, передъ обѣдомъ легъ спать и проспалъ дольше обыкновеннаго.

Наконецъ, меня разбудила жена и сказала, что архіерей около часу уже здѣсь — онъ пріѣхалъ, оказалось, вскорѣ послѣ того, какъ я заснулъ.

Съ нимъ было два священника — приходскій и уѣздный, смотритель школы. Я вышелъ и съ удовольствіемъ нашелъ, что первая встрѣча обошлась безъ неловкости: не благословляя, архіерей всталъ и подалъ мнѣ руку.

Также онъ поступилъ и со всѣми домашними.

Послѣ общихъ незначительныхъ разговоровъ, я пригласилъ его къ себѣ и сказалъ ему, что я получаю много писемъ и посѣщеній отъ духовныхъ лицъ, и что я всегда бываю тронутъ добрыми пожеланіями, которыя они высказываютъ, и также его посѣщеніемъ, но очень всегда сожалѣю, что для меня невозможно, какъ взлетѣть на воздухъ, — исполнить ихъ желанія.

Потомъ я сказалъ ему: одно мнѣ непріятно, что всѣ эти лица упрекаютъ меня въ томъ, что я разрушаю вѣрованіе людей.

Тутъ большое недоразумѣніе, такъ какъ вся моя дѣятельность въ этомъ отношеніи направлена только на избавленіе людей отъ несоотвѣтственнаго и губительнаго состоянія отсутствія всякой, какой-бы то ни было вѣры.

Между прочимъ, я въ доказательство этого прочелъ ему изъ составленнаго мною «Круга Чтенія», 20 января, тотъ день, въ который случайно состоялось наше свиданіе. Въ этомъ днѣ были прекрасныя мѣста изъ Чанинга, Эмерсона, Торо и особенно Канта. . .»

Прочитавъ эти мысли, Л. Н. продолжалъ свой разсказъ.

«Я видѣлъ, что это чтеніе произвело на него хорошее впечатлѣніе, что мнѣ было очень пріятно. Но несмотря на то, онъ все таки высказалъ мнѣ упрекъ въ томъ, что моя дѣятельность разрушаетъ вѣру людей. Тогда я разсказалъ ему давнишній случай, очень ничтожный по внѣшности и очень важный по внутреннему для меня смыслу. Я поздно ночью зимой пошелъ пройтись, и идя по деревнѣ, гдѣ огни были потушены, проходя мимо одного дома, въ которомъ свѣтился огонь, заглянулъ въ окно и увидалъ стоящую на колѣняхъ и молящуюся старуху Матрену, знакомую мнѣ съ ея молодости, одну изъ самыхъ порочныхъ, развратныхъ бабъ деревни. Меня поразилъ этотъ внѣшній видъ ея молитвеннаго состоянія. Я посмотрѣлъ, пошелъ дальше, но вернувшись назадъ, заглянулъ въ окно и засталъ Матрену въ томъ же положеніи. Она молилась и клала земные поклоны и поднимала лицо къ иконамъ. Вотъ это — молитва. Дай Богъ намъ всѣмъ молиться такъ

же, т. е. сознавать такъ же свою зависимость отъ Бога, — и нарушить ту вѣру, которая вызываетъ такую молитву, я бы счелъ величайшимъ преступленіемъ... Да это и невозможно. Никакіе мудрецы не могли бы сдѣлать этого.

Но не то съ людьми нашего образованнаго состоянія, — у нихъ или нѣтъ никакой вѣры, или что еще хуже, — притворство вѣры, вѣры, которая играетъ роль только извѣстнаго приличія.

И потому я считалъ и считаю необходимымъ указывать всѣмъ, у которыхъ нѣтъ вѣры, что человѣку безъ этого жить нельзя, а тѣхъ, у которыхъ вѣра ложная, внѣшняя, — освобождать отъ того, что скрываетъ для нихъ необходимость истинной вѣры.

Архіерей ничего не возразилъ на это, но повторилъ, что «нехорошо разрушать вѣру».

Л. Н. подарилъ архіерею «Кругъ Чтенія» со своимъ автографомъ и пачку открытокъ со снимками съ фотографій Черткова. Прощаясь и пожимая ему руку, Л. Н. сказалъ: «Еще разъ благодарю васъ за ваше мужество» и заплакалъ. Посѣщеніе это ему было очень пріятно.

Въ своемъ Дневникѣ, послѣ посѣщенія архіерея, Л. Н. дѣлаетъ слѣдующую запись: «Вчера былъ архіерей. Я говорилъ съ нимъ по душѣ, но слишкомъ осторожно, не высказалъ всего грѣха его дѣла. А надо было... Онъ, очевидно, желалъ-бы обратить меня, — если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по ихъ мнѣнію, зловредное вліяніе на вѣру и церковь. Особенно непріятно, что онъ просилъ дать ему знать, когда я буду умирать. Какъ бы не придумали они чего нибудь такого, чтобы увѣрить людей, что я «покаялся» передъ смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться къ Церкви, причаститься передъ смертью я такъ же не могу, какъ не могу передъ смертью говорить похабныя слова или смотрѣть похабныя картинки, и потому все, что будутъ говорить о моемъ предсмертномъ покаяніи и причащеніи — ложь. Говорю это потому, что есть люди, для которыхъ, по ихъ религіозному пониманію, причащеніе есть нѣкоторый религіозный актъ, т. е. проявленіе стремленія къ Богу, для меня всякое такое внѣшнее дѣйствіе, какъ причастіе, было бы отреченіемъ отъ души, отъ добра, отъ ученія Христа, отъ Бога.

Повторяю при этомъ случаѣ и то, что похоронить меня прошу также безъ такъ называемаго богослуженія, а зарыть тѣло въ землю, чтобы оно не воняло». (Бирюковъ).

*
* *

«4 октября 1910 г. . . . Мы уже сѣли за столъ, по обычаю, около шести часовъ вечера. Л. Н. долженъ былъ придти и присоединиться къ обѣду. Такъ какъ онъ замѣшкался, то начали обѣдать безъ него. Онъ долго не приходилъ. С. А. обезпокоенная, пошла навѣстить его — онъ крѣпко спалъ, она вернулась къ столу. Черезъ нѣсколько времени пошелъ навѣстить его Душанъ и нашелъ, что онъ блѣденъ, и что вообще сонъ его ненормаленъ, и выразилъ опасенiе какихъ нибудь осложненiй. Онъ предложилъ кому нибудь наблюдать за спящимъ Л. Н—чемъ, и я пошелъ и сѣлъ у дверей спальни такъ, чтобы видѣть его лежащимъ на постели.

Черезъ нѣсколько минутъ я замѣтилъ подергиванiе ногъ. Я сейчасъ же далъ знать, и всѣ собрались около постели, т. е. С. А., Душанъ, Серг. Льв. и я, и слуга Илья Васильевичъ.

Со Львомъ Николаевичемъ начались страшныя судороги, сначала въ ногахъ, потомъ во всемъ тѣлѣ и въ лицѣ. Мы всѣ, нѣсколько мужчинъ, старались удержать Л. Н—ча, такъ какъ опасались, что судороги сбросятъ его съ постели на полъ, но не могли препятствовать болѣзненному сокращенiю всѣхъ мускуловъ.

Такiе приступы судорогъ повторялись пять разъ съ промежуткомъ успокоенiя. Были приняты всѣ нужныя мѣры; Л. Н—ча раздѣли, въ промежуткахъ покоя онъ начиналъ бредить. Трудно было разобрать слова бреда. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ складывалъ правую руку въ обычное положенiе пишущей и водилъ ею быстро по одѣялу. Тогда мы постарались вложить ему карандашъ и подставить блокъ-нотъ. Но написать онъ ничего не могъ.

Эти припадки продолжались около часу, и потомъ наступилъ спокойный сонъ. Мы установили дежурство, я остался сидѣть, и черезъ часъ, приблизительно, Л. Н. проснулся, и, увидавъ меня, очень удивился, что я тутъ, спросилъ, отчего, и когда я объяснилъ ему все происшедшее, онъ съ удивленiемъ сказалъ, что онъ ничего не помнитъ». (Бирюковъ).

*
* *

«. . . Я готовъ скорѣе отдать трупы моихъ дѣтей, всѣхъ моихъ близкихъ на растерзанiе голоднымъ собакамъ, чѣмъ призвать какихъ-то особенныхъ людей для совершенiя надъ ихъ тѣлами религiознаго обряда». (Изъ бесѣды съ Наживинымъ — за мѣсяцъ до кончины).

ЖЕНА

Элементъ простой человѣческой жизни сохранялся чрезъ Софью Андреевну въ Ясной Полянѣ.

Было несомнѣннымъ благомъ для Льва Николаевича, что жена его не сдѣлалась толстовкой.

Толстовцамъ и самому Льву Николаевичу казалось наоборотъ, и видѣлось, что Софья Андреевна вноситъ въ жизнь мужа и семьи начало плотское, не-духовное.

Такъ думаютъ и дочери. Даже Татьяна Львовна, наиболѣе умѣренная послѣдовательница своего отца, въ своихъ воспоминаніяхъ, вышедшихъ для Западнаго міра на французскомъ языкѣ, называетъ отца «великой силой духа», а мать характеризуетъ, какъ — «могучую силу плоти». Впрочемъ это, въ ея глазахъ, не осужденіе матери, а лишь объясненіе трагическаго противорѣчія въ жизни ея родителей.

Менѣе снисходительно разсуждаетъ о Софьѣ Андреевнѣ Чертковъ, а за нимъ толстовцы и всѣ толстовствующіе.

Сыновья Толстые больше на сторонѣ матери, кромѣ старшаго Сергѣя, наиболѣе «нейтрально-хладнаго» умомъ и сердцемъ. Юношеское міросозерцаніе Сергѣя Львовича было въ свое время направлено тѣмъ же учителемъ математики В. Алексѣевымъ, подъ вліяніемъ котораго и Левъ Николаевичъ ускорилъ свой отрывъ отъ всякой связи съ Церковью. Сергѣй Львовичъ останется самымъ нейтральнымъ человѣкомъ въ трагическомъ Яснополянскомъ конфликтѣ. Въ своихъ воспоминаніяхъ о матери, онъ сторонникъ «психіатрической» теоріи, и, рядомъ съ «навязчивой идеей» антипатіи къ В. Г. Черткову, будетъ видѣть въ матери другую клиническую черту: симпатію къ А. Танѣеву, извѣстному композитору, другу семьи Толстыхъ, тихій характеръ котораго умѣлъ утишать и успокаивать Софью Андреевну въ трудные періоды ея хамовническихъ и яснополянскихъ страданій.

Левъ Львовичъ въ своихъ воспоминаніяхъ защищаетъ мать.

Онъ ея яснополянскій «рыцарь». Илья, Андрей и Михаилъ Львовичи, въ общемъ, тоже «сторонники» матери.

Надо сказать, воспоминанія всѣхъ дѣтей Толстыхъ, вообще, оставляютъ какое-то неполное и неглубокое впечатлѣніе. Не имъ, конечно, быть судьями, прокурорами, или даже только адвокатами, на раскрывающемся до мелочей міровомъ процессѣ ихъ родителей.

Преп. Серафимъ очень тонко говорилъ, что о грѣхахъ родителей даже молиться нельзя (чтобы какъ либо не осудить ихъ).

Дѣти Толстые, даже въ ихъ стремленіи не осуждать родителей, партійны. Они за своихъ родителей молятся предъ обществомъ и міровой литературой. Александра Львовна молится за отца; Левъ Львовичъ за мать. Яснополянская контроверза вовлекла ихъ сильно въ свою орбиту. Они всѣ выросли среди непримиримыхъ противорѣчій. И не было — не оказалось — ни у одного изъ нихъ высшаго синтеза жизни, въ которомъ прозвучали бы звуки «не отъ Ясной Поляны»...

Левъ Николаевичъ ушелъ изъ міра, не благословивъ своей семьи ничѣмъ, кромѣ «толстовскаго» имени.

Яснополянская жизнь создала въ каждомъ изъ Толстыхъ опрдѣленную жизнеустремительную позицію. Въ этихъ позиціяхъ молодые Толстые были поставлены на подмостки предъ всѣмъ міромъ.

Наиболѣе «жизненная» и практическая — Александра Львовна является и наибольшей защитницей «духовнаго» своего отца. Выбитые изъ колеи, вѣрнѣе, не нашедшіе своей настоящей жизненной колеи, младшіе сыновья Толстые защищаютъ жизненный «укладъ» Софьи Андреевны.

Ни одинъ изъ молодыхъ Толстыхъ, какъ намъ кажется, не сказалъ въ мірѣ глубокаго и духовно зрѣлаго слова въ толстовскомъ дѣлѣ. Между матерью и отцомъ они только подѣлились, обратившись въ ихъ духовныхъ спутниковъ.

Изъ всего, что намъ удалось прочесть и узнать (почти всѣ доступные въ эмиграціи документы), образъ Софьи Андреевны передъ нами вырисовывается въ своей опредѣленности и провиденціальности для Толстого.

Конечно, ни въ какой степени нельзя согласиться съ Татьяной Львовной, что ея мать была въ Ясной Полянѣ рычагомъ «плоти», тогда какъ отецъ былъ мощнымъ «началомъ духа». Это противуположеніе не выдерживаетъ критики и даже грѣшитъ чрезвычайнымъ лгкомысліемъ.

Левъ Николаевичъ былъ совсѣмъ не духовнымъ, а очень плотскимъ человѣкомъ. И плотяность его была не только въ томъ,

что онъ былъ просто сильно связанъ своей плотью и плотью всего міра, но также и въ томъ, что онъ — плотски, а не духовно, все время вырывался изъ плотского міра.

И вырваться не удавалось ему изъ Майи плотского начала, ибо шелъ онъ и выбѣгалъ, изъ этого міра, не Дверью — Христомъ.

«Духовной» его жизнію былъ и оставался міръ литературствованія, — иногда, въ религіозной области, самаго безудержнаго, не оправданнаго реальными его духовными данными.

Софья Андреевна, тоже, — не духовный, плотской человѣкъ, но — безъ плотскихъ фантазій. Она — человѣкъ плотски-трезвый. Въ этомъ, пожалуй, ея наиполнѣйшая характеристика. Плотская трезвость Софьи Андреевны является многообразной въ ея материнствѣ и ея хозяйственности; также въ ея безчисленныхъ заботахъ о рукописяхъ и корректурахъ Толстого... «Войну и Миръ» около десятка разъ она переписываетъ. 13 человѣкъ дѣтей родила. За десятью живыми ходила, всѣхъ лѣчила, за всѣхъ болѣла и уставала. А послѣ отреченія мужа отъ его собственной собственности, взяла на себя все веденіе хозяйства и всю матерьяльную заботу о немъ и о всѣхъ... Толстой, какъ извѣстно, оставилъ себѣ не-собственную собственность, и довольно свободно пользовался ею для личныхъ потребностей. Этой собственностью и владѣла Софья Андреевна. Это была натура неутомимая, жизнедѣятельная и жертвенная. Это была — мать, это была жена. И — вмѣсто отца — центръ яснополянскаго семейнаго и хозяйственнаго матріархата.

Степень ея религіозности, просвѣщенности духомъ Божьимъ не очень велика, но, въ своей естественной правдѣ человѣческой, она духовно выше Льва Николаевича, не исполнившаго этой «естественной» правды и потому шагнувшаго вмѣсто сверхъестественной правды въ правду неестественную.

Если оставить въ сторонѣ писательскій талантъ Льва Николаевича и его умѣніе тонко и увлекательно психологизировать около человѣческой души, и сравнить его Дневникъ съ Дневникомъ Софьи Андреевны, то Дневнику Софьи Андреевны надо отдать преимущество, съ человѣческой точки зрѣнія, какъ человѣческому документу. Какъ таковой, онъ и литературно интереснѣе.

Есть какая то простая жизненная правда въ Софьѣ Андреевнѣ и во многихъ словахъ ея.

Конечно, она говоритъ, иной разъ, безъ вдумчивости, на многое смотритъ безъ религіозной глубины (письмо ея митрополиту Антонію прямо легкомысленно и обличаетъ всю ея свѣт-

скую непросвѣщенность той вѣрой православной, отъ которой она не хотѣла отрекаться). Но сколько простоты, естественности въ ней и «здраваго смысла», — того самаго, котораго Левъ Николаевичъ бралъ своимъ судьею въ разборѣ Евангелія, но котораго не могъ сдѣлать судьей своихъ домашнихъ обстоятельствъ.

Истинное духовное благо было для Льва Николаевича въ томъ, что многіе въ Ясной Полянѣ смотрѣли на него, какъ на хотя и великаго писателя, но, въ сущности, простого человѣка, подверженнаго всѣмъ слабостямъ человѣческимъ, — ничуть не пророка, никакъ не основателя новой «религіи человѣчества» или «настоящаго христіанства»... Это уже было безусловно благодѣтельно для Толстого. Можно безъ труда себѣ представить, что было бы съ его душой, безконечно возмечтавшей о своихъ жизненныхъ задачахъ, если бы съ восьмидесятыхъ годовъ онъ поселился и жилъ только среди своихъ толстовцевъ, заставлявшихъ его и въ Ясной Полянѣ быть, какъ на подмосткахъ, — нецѣломудренно записывавшихъ за нимъ и предъ нимъ всѣ его жесты и слова (Гольденвейзеръ самъ разсказываетъ, какъ онъ геніально ухищрялся все время стенографировать реплики Льва Николаевича, то на ходу, то держа руки подъ столомъ и т. д.).

«Проза» (и подчасъ грубоватая проза) дома и семьи была моральнымъ противовѣсомъ неестественной «слащавости» толстовцевъ.

Младшіе сыновья Толстого, при всемъ своемъ откровенно утилитаристическомъ воззрѣніи на жизнь, были людьми, все таки, духовно болѣе здравыми, чѣмъ Александра Львовна съ ея телятенковскми конспираціями, и Чертковъ съ его безпощаднымъ духомъ и холодной сантиментальностью.

Полушуточное, простосердечное признаніе кого то изъ сыновей (кажется, Андрея Львовича) въ желаніи «выколотить изъ Фальшиваго Купона 100.000 рублей чистоганчикомъ» *) было м. б. менѣе далеко отъ религіозной области, чѣмъ грубые крики на мать Александры Львовны или письма Черткова, развивавшія самую грѣшную сторону человѣческой души Льва Николаевича.

Но «проза» Ясной Поляны не отрезвила Толстого... Онъ замыкался все больше въ себя и въ небольшой кругъ своихъ духовныхъ друзей и послѣдователей, благоговѣвшихъ предъ нимъ и всѣмъ тѣмъ, что было ему дорого.

---

*) «Фальшивый Купонъ» — извѣстный нравственный разсказъ Толстого, написанный въ послѣдніе годы и потому не подлежавшій продажѣ въ пользу семьи.

И, невольно, нарастали въ Толстомъ противленіе и отталкиваніе отъ всего домашняго и семейнаго.

Сперва онъ пытается приложить свою теорію о непротивленіи злу — въ своей семейной жизни. Это не удается. Нереальность этой теоріи, взятой Толстымъ безъ учета всей глубокой плюралистичности жизни и всего многообразія духовныхъ состояній и внѣшнихъ положеній человѣка въ мірѣ, — конечно, сейчасъ же обнаружилась.

И Толстой доженъ былъ наконецъ такъ высказаться въ письмѣ къ лучшему другу: «Въ послѣднее время, «не мозгами, а боками», какъ говорятъ крестьяне, дошелъ до того, что ясно понялъ границу между противленіемъ, дѣланіемъ зла за зло и противленіемъ неуступанія той своей дѣятельности, которую признаешь своимъ долгомъ предъ своей совѣстью и Богомъ. Буду пытаться» (изъ письма къ Черткову отъ 16 сент. 1910 г. «Уходъ Толстого»).

Подъ «боками» здѣсь надо разумѣть, главнымъ образомъ, Софью Андреевну...

Въ душѣ Толстого растетъ ненависть къ женѣ. Не обычная душевная злоба человѣческая, которую онъ болѣе всего боялся проявить въ жизни и которая не совпадала съ его ученіемъ о жизни, но — нѣкое морально-физическое отвращеніе отъ ея человѣческаго лика, слабаго, грѣшнаго и матерьялистическаго.

Ея болѣзненная любовь только усугубляетъ чувство этого отвращенія.

Процессъ супружескаго отвращенія онъ прекрасно описываетъ въ Крейцеровой Сонатѣ. Софья Андреевна, тонко замѣчавшая въ Львѣ Николаевичѣ эти періодическіе приливы любви и слѣдовавшее за ними охлажденіе, видѣла, что всѣ эти малые циклы охлаждающейся любви, расширяясь и другъ друга усиливая, создавали нѣкую пустоту межъ ней и Львомъ Николаевичемъ. И въ эту пустоту жизнь проваливалась все болѣе и болѣе.

Предъ ней, женой, Толстой раскрывался такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, въ ежедневной домашней своей дѣйствительности — («въ туфляхъ», какъ сказалъ бы секретарь Анатоля Франса). Хотя она во многомъ его превозносила и идеализировала, не понимая — какъ понимала Александра Андреевна — того страшнаго религіознаго и соціальнаго разрушительнаго значенія, которое можетъ имѣть въ Россіи его религіозная и соціальная проповѣдь, — однако, она видѣла своего мужа совсѣмъ не на пьедесталѣ «великаго учителя жизни».

Двѣ силы поляризировались въ Ясной Полянѣ.

Одну можно было бы назвать силой неестественной сублимаціи Толстого, и всего, что было связано съ его новыми вѣрованіями и теоріями. . . Гольденвейзеръ глубокомысленно записываетъ самую неумную фразу Толстого; другіе тоже подбираютъ за нимъ то, что совсѣмъ не надо было бы подбирать, даже ради его самого. Это — сублиматоры. . . Во главѣ ихъ стоитъ В. Г. Чертковъ. Ихъ психологія открывается въ такихъ словахъ:

«Если бы Толстой, въ своей личной жизни былъ непослѣдователенъ и далекъ отъ осуществленія своихъ собственныхъ вѣрованій, то и въ такомъ случаѣ онъ все же заслужилъ бы великую благодарность за тотъ громадный не поддающійся никакому измѣренію толчекъ, который онъ далъ развитію человѣческаго сознанія своей умственной работой. — Но судьбѣ угодно было въ лицѣ Толстого создать не только геніальнаго мыслителя, но и великаго подвижника»... и т. п. *)

Другую силу Ясной Поляны можно было бы назвать силой естественной профанаціи, и ее олицетворяла Софья Андреевна.

Въ ея дневникѣ видишь это развѣнчиваніе — сколь взволнованное — «ложной божественности» ея мужа.

Она не можетъ помириться съ тѣмъ, что ея безконечно ею любимаго мужа окружаютъ ложнымъ, искусственнымъ, призрачнымъ ореоломъ великаго религіознаго Учителя и пророка «новаго и чистаго христіанства». Безконечную фальшь и искусственность этой «сублимаціи» она видитъ яснѣе чѣмъ кто бы то ни было въ мірѣ.

И она начинаетъ «профанировать» любимаго человѣка. Это становится и жизненнымъ ея подвигомъ (ею не осознаннымъ) и крестнымъ ея страданіемъ. Ей не надо ничего сочинять. Надо только говорить совсѣмъ инымъ языкомъ чѣмъ Чертковъ и толстовцы и видѣть то, чего они не могутъ или не хотятъ видѣть.

Софья Андреевна «профанируетъ» Льва Николаевича не только въ своемъ Дневникѣ, но и въ разговорахъ со знакомыми въ Москвѣ и въ Ясной.

Толстой живетъ и страдаетъ межъ полюсами пріятной, окрыляющей и близкой его душѣ сублимаціи толстовцевъ, и — мучающей его, жгущей его профанаціи его души Софьей Андреевной.

---

*) Чертковъ, «Уходъ Толстого».

Обѣ силы все время возрастаютъ, въ своей интенсивности, и обостряютъ страданія Льва Николаевича.

Уходя изъ Ясной 27 октября 1910 г., онъ уйдетъ отъ жены; отъ жены, не только какъ отъ человѣка, а какъ отъ нестерпимо-мучительной силы, низвергающей и уничтожающей его «божественное сознаніе», добытое въ душевной борьбѣ, и въ творчествѣ всей жизни.

Сублимированія — часто фанатическаго — ложныхъ цѣнностей, полонъ міръ. Но трудно сказать, была ли въ исторіи человѣческихъ отношеній, въ исторіи жизней и идей, еще когда такая столь благодѣтельная, столь духовно-возвышающая и метафизически облагораживающая профанація души любимаго человѣка, какъ мало еще понятая борьба яснополянской жены.

Толстой не рѣшается оставить Софью Андреевну, хотя мысли объ уходѣ изъ семьи давно ему предносятся и даже иногда, его преслѣдуютъ.

Удерживала Толстого, отъ ухода изъ семьи, несомнѣнно, и — невозможность представить себѣ свою жизнь въ мірѣ, послѣ разрыва съ женой.

Кромѣ этого, положеніе проповѣдника новаго религіознаго откровенія обязывало къ любви, а уйти отъ жены и семьи онъ могъ только нарушивъ ту любовь, къ которой всегда призывалъ. Ниже приводимое письмо Черткова, какъ разъ, утѣшало Льва Николаевича въ томъ, что этотъ подвигъ его замѣтенъ и цѣнится очень высоко... Но, кромѣ опасенія «нарушить любовь», у Толстого несомнѣнно было явное затрудненіе съ вопросами: «гдѣ жить, и какъ жить», — если уѣхать изъ Ясной Поляны.

Не было въ мірѣ мѣста для него.

И намъ сейчасъ нельзя себѣ представить, гдѣ и какъ Толстой могъ бы жить, если бы оторвался отъ Ясной до осени 1910 года. Заграницей? Положеніе политическаго эмигранта (которымъ онъ сразу сдѣлался бы и котораго несомнѣнно облѣпили бы враждебные Россіи революціонные элементы) не было бы радостно для Льва Николаевича, все желавшаго дѣлать ради близости къ народу и служенія народу.

Жить поблизости отъ Ясной было невозможно... Жить приживальщикомъ у Оболенскаго или у гр. Паниной еще менѣе возможно. Войти въ какую либо изъ существующихъ толстовскихъ общинъ Толстой никогда бы не захотѣлъ, ибо видѣлъ какъ хозяйственную, такъ и моральную безплодность общиннаго тол-

ство́вства въ Россіи и самъ критиковалъ это увлеченіе, уважая лишь усилія такихъ единицъ какъ Леонидъ Семеновъ. *)

Стать директоромъ Изд-ва «Посредникъ», окруживъ себя его дѣятелями, это, тоже, не было стилемъ Толстого.

Жить аскетически въ пустыни онъ не могъ, ибо слишкомъ былъ соціаленъ и зависимъ отъ людей во многихъ отношеніяхъ.

Вставало множество непреодолимыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ на этомъ пути и намъ кажется, что только подлинный монастырь могъ подойти для жизни Толстого послѣ его отрыва отъ жены, отъ дома, отъ всего уклада прошлой жизни.

На всѣхъ иныхъ путяхъ Толстой встрѣтилъ бы трудности неразрѣшимыя и непреодолимыя.

Силою всѣхъ обстоятельствъ, оставаясь въ Ясной Полянѣ, онъ все время ожидаетъ какой то возможности уйти, какого то сигнала — къ уходу. Надѣется, что этотъ «помышляемый» уходъ будетъ ему просигнализированъ, какъ обстоятельствами, такъ и тѣмъ «ночнымъ голосомъ», велѣніямъ котораго онъ ищетъ быть послушнымъ.

А до этого «толчка» хочетъ терпѣть, защищаетъ свое «недѣланіе» сопротивленіемъ міру жены, чрезъ слово, письмо, отъединеніе въ свою комнату, отъѣздъ въ Кочеты...

Улавливающій, всегда, нервъ переживаній Льва Николаевича, Чертковъ пишетъ ему въ одинъ изъ такихъ томительныхъ для него дней:

«Для того, чтобы вызвать проявленіе того поведенія и отношенія къ человѣку брату, которыя вытекаютъ изъ исповѣдуемаго Вами жизнепониманія, — и притомъ въ обстоятельствахъ такихъ, труднѣе которыхъ ничего не можетъ быть, — ничего нельзя было придумать лучше, цѣлесообразнѣе, чѣмъ именно то семейное положеніе, въ которомъ Вы сейчасъ находитесь. Кресты, костры, казни, внѣшнія мученія — все это было (!! А. І.), и въ этой области ничего новаго быть не можетъ (!! А. І.). Къ тому же все это происходитъ на подмосткахъ, на виду у всѣхъ, при умиленномъ преклоненіи друзей и единомышленниковъ. А Ваша задача задана Вамъ въ обстановкѣ не только не торжественной и прославляемой, напротивъ, въ обстановкѣ, которую большин-

---

*) Леонидъ Дмитріевичъ Семеновъ-Тянъ-Шанскій. Интереснѣйшая личность, ждущая своего изслѣдователя. Сынъ помѣщика Рязансяой губ., внукъ извѣстнаго ученаго; сначала поэтъ-символистъ и идейный революціонеръ, потомъ убѣжденный толстовецъ, далѣе примкнувшій къ аскетическому направленію «добролюбовцевъ», и, послѣ февральской революціи обратившійся въ церковно-исповѣдническое православіе... Убитъ въ Рязанской губ. въ 1918 г. наканунѣ принятія сана священства.

ство людей считаютъ позорной для Васъ, Вашей ошибкой, несостоятельностью. И, какъ надъ Христомъ глумились, дразня его словами: «слѣзай съ креста, если Ты дѣйствительно Сынъ Божій», — такъ глумятся и надъ Вами теперь, приписывая Вашей винѣ то положеніе, въ которомъ Вы находитесь. Но положеніе Ваше еще совсѣмъ особенно трудное и засвидѣтельствованіе Ваше имѣетъ совсѣмъ особенное значеніе еще и съ другой стороны. Страдать и умирать просто за вѣрность своей вѣрѣ — одно дѣло. Это просто и ясно. Но страдать и умирать за свою вѣру и одновременно съ этимъ вдобавокъ не знать впередъ въ точности, что дѣлать, какъ себя вести, а все время вырабатывать сверхъ всего остального на дѣлѣ правильное отношеніе между любовью къ Богу и любовью къ ближнему, то есть проявляя любовь къ ближнему вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушать любви къ Богу, т. е. по слабости или ради собственнаго внутренняго удовлетворенія не давать себя вовлекать въ то, что не слѣдуетъ — это совсѣмъ другое дѣло, гораздо болѣе трудное». (Изъ письма В. Г. Черткова къ Л. Н—чу. 14 сентября 1910 г. «Дневникъ Гольденвейзера», стр. 289).

На какую высоту возводитъ Чертковъ умирающаго старца! Все остается подъ Толстымъ: всѣ мученики, исповѣдники, святые... Самъ Христосъ претерпѣлъ «муки слишкомъ ясно и просто». Нѣтъ, Толстой долженъ явить міру нѣчто особенное, неповторимое, никогда въ вѣкахъ не бывшее.

Если бы Толстой былъ духовно здравъ, онъ послѣ одного такого письма, отстранилъ бы отъ себя Черткова. «Вырвалъ» бы свой «глазъ». Но, все время смиряющійся по мелочамъ, Толстой пріемлетъ какъ должное, само собою разумѣющееся и естественное это люциферіанское кажденіе.

Надо ли повторять, сколь при этихъ условіяхъ полезна и цѣлительна была для Толстого профанація его учительства Софьей Андреевной.

Ободряемый своими учениками, Левъ Николаевичъ, какъ черепаха въ панцырь, уходитъ въ свое «не-дѣланіе» и вся его жизнь послѣднихъ лѣтъ въ Ясной Полянѣ складывается изъ рѣзкихъ выпадовъ противъ Церкви, государства, властей, столыпинской политики и т. д. и одновременно буддистическаго отрѣшенія отъ всѣхъ семейныхъ трудностей и заботъ. Онъ погруженъ въ уравновѣшиваніе своихъ психическихъ эмоцій, въ осознаніе своего долга, своихъ обязанностей въ отношеніи того Бога, котораго онъ чувствуетъ въ себѣ.

Онъ нерѣдко «жалѣетъ» жену, въ своемъ Дневникѣ (который тотчасъ же переписывается Чертковымъ или Александрой

Львовной). «Безконечно жаль Соню»... пишетъ онъ или говоритъ друзьямъ, «она жалка»; часто осуждаетъ ее, въ формѣ жалѣнія, а иногда грубо говоритъ съ ней и подернутая сѣрымъ пепломъ «не-дѣланія» его душа загорается злобѣщимъ огнемъ гнѣвной страсти. Не исцѣленная до послѣднихъ лѣтъ его жизни эта страсть, какъ вулканъ, все время таится подъ водою его любовныхъ словъ.

Нельзя не вздрогнуть отъ этическаго омерзенія, читая на страницахъ Дневника Гольденвейзера запись одного разговора переданнаго Львомъ Николаевичемъ автору Дневника. Глубоко интимное слово супруги — мужу было передано Львомъ Николаевичемъ Александрѣ Львовнѣ и случившемуся тутъ Гольденвейзеру. Выдавъ сокровенное своей жены, онъ отдалъ и это сокровенное и ее самое на судъ родной дочери и посторонняго человѣка... Какой смыслъ былъ въ этомъ? Только одинъ: желаніе глубже выявить свою жертвенность.

Примѣчательно, что друзья его, столь иногда подчеркнуто поучавшіе и «обличавшіе» самого Льва Николаевича — не обличили его въ этомъ поступкѣ.

Въ болѣзненномъ отношеніи Софіи Андреевны Толстой къ мужу таится много сокровеннаго, не объясненнаго ни родными, ни изслѣдователями.

Отношеніе ея къ Льву Николаевичу, послѣдніе годы и особенно послѣдніе мѣсяцы его жизни, было бы очень неправильно, не религіозно, не соотвѣтственно, если бы Левъ Николаевичъ былъ истинный пророкъ.

Будь Толстой истиннымъ пророкомъ правды Христовой въ мірѣ, пусть обличающимъ міръ и сильныхъ властей, всѣхъ знатныхъ и богатыхъ и мудрыхъ міра сего, но обличающимъ ихъ изъ истины Христовой, — грѣхъ Софіи Андреевны былъ бы великъ.

Но Л. Н. не былъ истиннымъ пророкомъ. Онъ былъ возвѣстителемъ идей «имѣющаго притти» т. е. лже-христа. Онъ былъ его яркій, не осознающій себя но и не скрывающій себя агентъ.

Каково же было духовное состояніе ея — рядомъ съ нимъ? Ее спасало то, что онъ отъ нея отдалился; именно тогда, когда у него начали быть «остановившіеся глаза», въ началѣ его «переворота» и «обновленія» т. е. окончательнаго омраченія. Это и предохранило ее отъ духа его.

Предохранило ее и то, что она явно не сочувствовала религіознымъ пророчествамъ мужа. Она, конечно, очень снисходительно смотрѣла на нихъ, не видя всей сути ихъ. Но всѣ ея дневники и письма показываютъ ея опредѣленное отношеніе къ «толстов-

ству». Сперва это отношеніе было легко-ироническимъ, затѣмъ укорительно-ласковымъ; потомъ стало — удивляющееся, не безъ легкой скорби. Далѣе — осторожное, подозрительное и недоброжелательное. Наконецъ, — мучительное и до невѣроятности болѣзненное.

Мотивы ея отталкиванія отъ толстовства не были религіозными. Это была и чисто женская ревность жены къ непонятному, но мужемъ любимому дѣлу. Она видитъ, что мужъ удаляется отъ нея, какъ отъ чужой по духу, приближается къ другимъ людямъ, окружаетъ себя его понимающими душами... Это было ей особенно мучительно и нестерпимо. Толстовцы воистину «темны» для нея, какъ темна та сторона Толстого, которой онъ закрылся отъ нея, и которою они его отъ нея закрыли. Толстовцы «темны» для нея не только по внѣшнему облику своему, по душевному выраженію, по настроенію, которое она въ нихъ чувствовала. Они «темны», ибо затемняли простоту и налаженность яснополянскаго семейнаго быта, были несоотвѣтственны легкой прозрачности семьи и круга друзей.

«Темность» толстовцевъ вообще, была видна не только ей одной. Многіе откровенно дѣлились съ ней своими впечатлѣніями. Люди могли простить всякія «юродства» Толстому, но ученикамъ его отмщалось всемеро.

Софья Андреевна ихъ не любила. А ихъ вождя — Черткова, «злого разлучника», не могла видѣть.

Чертковъ, дѣйствительно, былъ, въ единеніи съ Александрой Львовной, «злымъ разлучникомъ». Онъ давалъ содержаніе и пытался дать форму свершившемуся отрыву Толстого отъ Софьи Андреевны. Онъ смогъ сдѣлать то, чего не смогла сдѣлать Софья Андреевна, стать другомъ Толстого.

Какъ С. А. во время идиллической яснополянской жизни 60-хъ годовъ умѣла угадывать, «предупреждать» каждое желаніе мужа, и обладала совершеннымъ знаніемъ его домашнихъ привычекъ, такъ Влад. Григ. Чертковъ могъ теперь «предупреждать» и угадывать малѣйшую волю и идею Толстого, и творчески развивая, понимать ея приложеніе къ общественной и личной жизни.

Это какъ разъ было надо Толстому. Это было ему невыразимо цѣнно. Онъ зналъ, что при всемъ своемъ талантѣ и чувствѣ литературной мѣры, онъ легко можетъ увлечься, сдѣлать ненужное, лишнее, или, наоборотъ, не обратить вниманія на что либо цѣнное для развитія своихъ идей на благо человѣчеству, или смалодушествовать предъ чѣмъ нибудь. Чертковъ былъ теперь такимъ-же дружественнымъ цензоромъ, критикомъ,

переписчикомъ и корректоромъ, а также абсолютнымъ цѣнителемъ религіозныхъ сочиненій Толстого, какимъ была С. А. въ художественную эпоху «Войны и мира» и «Анны Карениной». Отрекшись отъ художества, Толстой этимъ самымъ отрекся и отъ своей жены. С. А. это чувствовала во всѣ періоды толстовскихъ отреченій. Съ каждымъ отреченіемъ отъ обычной жизни, онъ отрекался и отъ нея — отъ жены своей.

И особенно мучительно было чувствовать Софьѣ Андреевнѣ, что она видѣла то, чего никто не видѣлъ, и чего никто бы не узналъ въ мірѣ, если бы она не открыла этого міру чрезъ свой Дневникъ, послѣ ея смерти опубликованный.

Подлинная драма ея души, человѣческой и женской, была въ томъ, что Толстой, отходя отъ нея душевно, не отходилъ отъ нея тѣлесно. Душевно онъ отъ нея отталкивался, а тѣлесно приближался къ ней — до восьмого десятка своего. И Соф. Андр. съ ужасомъ и отчаяніемъ жены, женщины, человѣка, видѣла, что всякое измѣненіе отношенія къ ней ея мужа, т. е. всякій начинавшійся періодъ его вниманія, деликатности, уваженія, ласковости въ отношеніи ея — было лишь... подступомъ физіологическаго явленія.

С. А. упорно не хочетъ вѣрить себѣ, своему наблюденію, и видно въ ея дневникѣ, какъ она все время убѣждается въ правильности своихъ предположеній.

И видя это — переживая на своемъ страдальческомъ, неподдѣльномъ опытѣ жизни, — какъ она могла вѣрить Толстому?! Какъ могла она вѣровать въ него?!

Предъ міромъ, и даже въ покаянныхъ дневникахъ своихъ, онъ былъ — одно. А она видѣла другое.

Это была самая большая глубина, на которой она сопротивлялась Толстому, предъ Толстымъ. Сопротивлялась горячо, въ послѣднее время болѣзненно и страшно, не изъ ненависти къ нему, а изъ-за большой, не желающей разбиваться, не желающей умирать, любви.

Толстой этого не могъ не видѣть. И онъ боролся съ Софьей Андр. на той-же большой глубинѣ своего религіознаго и личнаго «я». Онъ чувствовалъ въ ней человѣка самаго опаснаго для всей своей новой жизни, для всей своей новой правды и новой любви, которыя онъ хотѣлъ открыть міру непросвѣтленнымъ своимъ сознаніемъ.

Она будетъ для него самымъ опаснымъ человѣкомъ, не оттого только, что она будетъ судорожными руками жены, матери, въ своемъ яснополянскомъ матріархатѣ держать все, что Толстой захочетъ раздать, отдать, объявить во «всеобщее поль-

зованіе». Не оттого только, что она будетъ, предъ міромъ и его собственной совѣстью, камнемъ, скалой, къ которой онъ, Левъ Толстой, окажется прикованнымъ на всю жизнь, какъ похититель — ему не принадлежащаго огня.

Самое главное и ужасное было для него въ томъ, что она знаетъ его.

Онъ — пронизывающій весь міръ своими маленькими, сѣрыми глазками, онъ долженъ былъ ихъ прятать только отъ одного въ мірѣ человѣка!

Ни въ какомъ Дневникѣ Толстой въ этомъ себѣ не признается... Но это есть самое мучительное въ его послѣднихъ чувствахъ къ ней.

Сдѣлавшись учителемъ человѣчества, онъ остался ея мужемъ.

Толстовцы говорятъ и пишутъ о необычайномъ смиреніи Льва Н—ча, который могъ бы давно уйти отъ семейной жизни и отъ всей суеты міра въ уединеніе, откуда бы звучалъ его голосъ еще сильнѣй и свободнѣй, но... онъ смирялся, «онъ, любящій всѣхъ, не могъ оставить страдать на землѣ ни одного существа»... «Онъ не могъ причинить скорби ближнимъ»... И терпѣлъ. И несъ свой великій крестъ духовной трудности и величія, который (какъ писалъ ему Чертковъ) превосходитъ всѣ мученія святыхъ и Самого Христа. Онъ, Толстой пожертвовалъ славой открытаго мученика и страдальца за свою вѣру, «не желая опечалить ближнихъ». Оставался мученикомъ, безъ внѣшней мученической славы... Такъ писалъ Чертковъ и такъ думали почитатели. И Толстой зналъ, что они должны всѣ такъ думать... Своими конфиденціями передъ ними онъ все время даетъ имъ право такъ думать; онъ толкаетъ ихъ на то, чтобы они такъ думали.

Но лишь одна бѣдная Софья Андреевна знала другое... Знала, что Толстой до самаго послѣдняго десятилѣтія своей старческой жизни былъ связанъ съ ней непобѣдимыми для него самого плотскими узами.

Онъ мучился, онъ отъ этого ненавидѣлъ себя, свою плоть; ненавидѣлъ и ее и ея плоть. Терзался недостаточнымъ своимъ совершенствомъ, которое ему надо было не для Бога, а для себя.

Если бы онъ «въ Бога богатѣлъ», если бы ему не надо было ничего проповѣдывать, что расходится съ волей Божьей; онъ бы спокойно принялъ необычайную силу своей плотской жизни, какъ естественную свою долю. Если бы онъ имѣлъ залогъ истиннаго духа, онъ бы понялъ смыслъ своей плотяности, какъ

«духовный противовѣсъ» своей гордости духовной. Ибо ничто такъ не смиряетъ духа, какъ сознаніе своей подчиненности плоти.

Если бы Толстой былъ христіаниномъ, онъ бы не осквернилъ брака ложной мыслью о немъ. Но, оскверниввъ умъ свой, онъ осквернилъ и бракъ свой.

Что въ томъ, что онъ «не измѣнялъ своей женѣ», какъ и она никогда не измѣняла ему, за 48 лѣтъ ихъ жизни! Софья Андреевна была всежизненно оскорблена нечистымъ взоромъ, которымъ ея мужъ посмотрѣлъ — не на какую либо постороннюю женщину — а на весь свой бракъ съ нею, на всѣ свои отношенія къ ней и на всѣ ея отношенія къ нему, какъ чистой жены и страдальческой матери его детей. Это было убійственно — грѣшно. С. А. это чувствовала всѣмъ сердцемъ своимъ. Но до конца сформулировать это ей не было подъ силу. Это видно, когда читаешь всѣ ея записи Дневника о Крейцеровой Сонатѣ. Сердце ея, земное сердце женщины, честно и просто исполнявшей всю жизнь свой долгъ жены и матери — чувствовало Божью истину лучше и тоньше, чѣмъ слишкомъ повѣрившій въ свой великій разумъ и его разумность, ея геніальный мужъ.

Она не могла этому поддаться. Она должна была съ этимъ бороться, отстаивая самымъ глубокимъ инстинктомъ жизни все то святое, что было въ ней.

Толстой, спасаясь 28 октября отъ охватившаго его страха предъ ней, записалъ, ища нравственнаго оправданія своему бѣгству: «Можетъ быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасалъ себя, не Льва Николаевича, а спасалъ то, что иногда хоть чуть чуть есть во мнѣ».

Онъ не чувствовалъ, что все сопротивленіе, которое С. А. оказывала его теоріямъ, увлеченіямъ и привязанностямъ, было той же защитой въ себѣ того, что у нея оставалось человѣческаго...

Она не могла слиться съ «темными», и — не слилась. Она не могла выдать свою дочь Машу за Бирюкова, и не выдала. Она не могла отказаться отъ Церкви, отъ привычныхъ ей ежегодныхъ причастій, отъ стояній въ тихихъ церквахъ за всенощными, и не отказалась. Она не могла сдѣлать изъ своей Ясной Поляны толстовскую колонію, гдѣ бы у нея и у Льва Николаевича было «все общее» со шведомъ, съ Сютаевымъ, съ Фреемъ, съ Чертковымъ. . . Многаго она не могла принять и не приняла; стойко, твердо, рѣшительно; несмотря на всю свою любовь къ мужу, на сознаніе, что она ему причиняетъ боль; и несмотря на желаніе сдѣлать все для него. Удивительна ея стойкость. Она не была раздавлена Львомъ Толстымъ, — ни

какъ почти до безумія любимымъ человѣкомъ, ни какъ міровой славы художникомъ, ни какъ проповѣдникомъ новаго евангелія.

Воспитанная въ уваженіи предъ Церковью, всѣми ея тайнами и обычаями, она, несмотря на свое гнѣвно-женское письмо митр. Антонію, сохранила это уваженіе до самыхъ дней революціи, когда, повидимому, живѣе и глубже почувствовала истинную вѣру и миръ души.

Она умерла 5 ноября 1919 года, кроткой, смиренной, отрѣшенной отъ всѣхъ цѣнностей земли, поручившей себя молитвамъ Церкви. Умерла молящимся человѣкомъ, предающимъ себя въ руки Божіи; — не въ руки того бога, которому предавалъ себя въ Астаповѣ ея мужъ и «ограниченной частью котораго» онъ себя считалъ, а въ настоящія руки Божіи.

Умерла она православной и завѣщала себя похоронить по православному. Ея дѣти — Сергѣй и Александра исполнили это, предавъ землѣ ея тѣло на кочаковскомъ кладбищѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ одинокой могилы Толстого.

СИМВОЛИКА УХОДА

«Да не будетъ бѣгство ваше зимою»...
Мр. XIII, 18.

Бѣгство Толстого изъ Ясной Поляны, за нѣсколько дней до смерти, было символическимъ раскрытіемъ и завершеніемъ всей его жизни.

Даже близкіе послѣдователи не знаютъ, какъ религіозно понять и оцѣнить этотъ фактъ. «Моя горячая и неизмѣнная любовь къ великому учителю жизни», пишетъ біографъ, «не позволяетъ мнѣ разбирать и критиковать его поступокъ. Преклоняюсь предъ величіемъ его подвига. Трудно судить намъ, гдѣ нужно было проявить болѣе силы самоотверженія, въ томъ, чтобы остаться, или въ томъ, чтобы уйти».

Знаменательна символика этого Ухода.

Толстой ушелъ всецѣло и по существу. Его уходъ никакъ не былъ приходомъ къ чему нибудь. Это былъ уходъ, никуда не ведущій, никуда не приведшій.

Толстой ушелъ изъ Отчаго Дома, изъ «Ясной» своей «Поляны» — ясной своей Церкви, съ ея зеленѣющихъ русскихъ апостольскихъ просторовъ.

Онъ только ушелъ.

Станція «Астапово», гдѣ онъ такъ неожиданно остался, была символомъ того, что онъ остался одинокимъ и непришедшимъ. И покинутымъ, среди міроваго вниманія, любопытно устремленнаго на его послѣднія минуты.

Говорятъ, предъ кончиной человѣкъ видитъ, въ мановеніе ока, всю свою жизнь, со всѣми ея грѣхами и ошибками. Она какъ бы проносится внѣ времени предъ его духовнымъ взоромъ.

Такое видѣніе всей своей внутренней жизни могъ видѣть Толстой отъ 27 октября до 7 ноября 1910 года.

Въ ночь на 27 — всю ночь видитъ дурные сны. (Запись Дневника).

Въ ночь на 28 свершается дурная. мучительная явь... Жена въ его кабинетѣ ночью что то перелистываетъ... Онъ это слышитъ.

«Не знаю почему, это вызвало во мнѣ неудержимое отвращеніе, возмущеніе. Хотѣлъ заснуть, не могу, поворочался около часа, зажегъ свѣчу и сѣлъ. Отворяется дверь и входитъ С. А., спрашиваетъ о здоровьѣ... Отвращеніе и возмущеніе растетъ. Задыхаюсь, считаю пульсъ: 97. Не могу лежать и вдругъ принимаю окончательное рѣшеніе уѣхать...»

«Я дрожу при мысли, что она услышитъ... Ночь — глаза выколи, сбиваюсь съ дорожки къ флигелю, попадаю въ чащу, накалываюсь, стукаюсь о деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и съ фонарикомъ добираюсь до конюшни... Я дрожу, ожидая погони...»

* * *

Почему-то, сразу поѣхали въ Оптину, — прежде всего туда, не зная куда ѣхать, куда бѣжать.

Въ Оптиной и Шамординѣ зароились мысли: не остаться ли гдѣ по близости? Взять избу. . . «Я бы съ удовольствіемъ остался жить тамъ и несъ бы самыя трудныя послушанія, только бы меня не заставляли ходить въ церковь и креститься» — сказалъ онъ въ Шамординѣ монахинѣ Маріи, сестрѣ своей. «Съ большимъ аппетитомъ пообѣдалъ и остальной вечеръ говорилъ спокойно о предметахъ постороннихъ».

Съ пріѣздомъ дочери Александры «спокойствіе его кончилось» (говоритъ племянница Оболенская).

Рѣшилъ ѣхать дальше...

Въ послѣдній вечеръ пребыванія въ монастырѣ. —

«Мы сидѣли за столомъ», вспоминаетъ Александра Львовна, «и смотрѣли въ раскрытую карту, форточка была растворена, я хотѣла затворить ее.

«Оставь», сказалъ отецъ, «жарко. Что это вы смотрите?»

«Карту», сказалъ Душанъ Петровичъ, «коли ѣхать, то надо знать куда».

«Ну покажите мнѣ».

И мы всѣ, наклонившись надъ столомъ, стали совѣщаться, куда ѣхать... Предполагали ѣхать въ Новочеркасскъ...

Были планы ѣхать въ Болгарію или на Кавказъ...

Разговаривая такъ, мы незамѣтно для себя все болѣе и болѣе увлекались нашимъ планомъ и горячо обсуждали его.

Ему вдругъ стало непріятно говорить объ этомъ, непріятно, что онъ вмѣстѣ съ нами увлекся и сталъ строить планы, забывъ свое любимое правило жизни: жить только настоящимъ.

Объ отъѣздѣ больше не говорили. Отецъ только нѣсколько разъ тяжело вздыхалъ и на мой вопросительный взглядъ сказалъ: «Тяжело». У меня сжалось сердце, глядя на него: Такой онъ былъ грустный и встревоженный въ этотъ вечеръ, мало говорилъ, вздыхалъ и рано ушелъ спать.

Около 4-хъ часовъ утра я услыхала, что кто-то стучитъ къ намъ въ дверь. Я вскочила и отперла. Передо мной, какъ нѣсколько дней назадъ, стоялъ отецъ со свѣчей въ рукахъ.

«Одѣвайся скорѣе, мы сейчасъ ѣдемъ. . .»

* * *

«Не могу описать того состоянія ужаса, которое мы испытывали. Въ первый разъ въ жизни я почувствовала, что у насъ нѣтъ пристанища, дома. Накуренный вагонъ второго класса, чужіе и чуждые люди кругомъ, и нѣтъ дома, нѣтъ угла, гдѣ можно было бы пріютиться. . .» (Воспоминанія Александры Львовны).

* * *

Дрожащаго, лихорадящаго, куда-то стремящагося и никуда, въ сущности, не ѣдущаго, его вывели подъ руки изъ душнаго, людьми наполненнаго вагона. И повели въ чужую комнату.

Тамъ онъ сталъ терять память и заговариваться; произносилъ непонятныя слова. Былъ очень удивленъ, что «въ комнатѣ не такъ все, какъ онъ привыкъ».

«Я не могу еще лечь, сдѣлайте такъ, какъ всегда. Поставьте ночной столикъ у постели, стулъ». Когда это было сдѣлано, настаивалъ, чтобы была поставлена свѣча, спички, положена его записная книжка, фонарикъ, все, къ чему привыкъ, безъ чего не могъ жить.

Но и послѣ этого не хотѣлъ лечь.

Его принудительно раздѣли и положили на кровать.

Въ этой спальнѣ начальника станціи онъ сдѣлалъ послѣднюю запись своего Дневника. Это была потребность привыкшей писать руки.

И — продиктовалъ послѣднее свое размышленіе, лихорадочно записавшей дочери:

«Богъ есть неограниченное Все, человѣкъ есть только ограниченное проявленіе Его». И сказалъ: «Больше ничего». Потомъ пожевалъ губами, словно обдумывая сказанное и опять подозвалъ дочь: «Или еще лучше такъ: Богъ есть то неограниченное Все, чего человѣкъ сознаетъ себя ограниченной частью»...

* * *

И пролежалъ нѣсколько дней въ жару, вскакивая и торопясь снова куда-то уйти, бѣжать. Кричалъ дочери: «Пусти, ты не смѣешь меня держать, пусти!» Удержанный силой прибѣжавшихъ, затихалъ...

Писалъ что-то на одѣялѣ пальцемъ. И все хотѣлъ что-то диктовать, высказать, и просилъ прочесть то, что онъ уже продиктовалъ... а этого не было... Ничего не было записано, ибо ничего не было сказано. А онъ волновался, требовалъ непремѣнно, чтобы прочитали его мысли. А мысли эти были лишь его воображеніемъ. И, чтобы успокоить его — открыли книгу общечеловѣческихъ мудрыхъ изреченій и прочли что-то изъ Канта, Марка Аврелія, Шиллера. И онъ успокоился, повѣривъ, что это — его.

Потомъ все говорилъ: «искать, все время искать».

И — «удрать, удрать»...

Метался, страдалъ, задыхался, раздражался... Врачи колоди его, поддерживая угасающую жизнь. Онъ видѣлъ какія-то несуществующія лица...

Ученики его ограждали отъ міра и отъ жены, съ которой онъ прожилъ 48 лѣтъ, и отъ сыновей, которые пріѣхали съ матерью, за пять дней до кончины.

Въ накуренномъ станціонномъ буфетѣ журналисты, собравшіеся, какъ вороны, на его смерть, пили пиво, закусывали холодной ветчиной, обсуждали политическія событія и ловили подробности его умиранія.

Ученики дежурили около него, и нѣсколько врачей окружали его.

Онъ лежалъ, и вдругъ ему стало ясно, что напрасно всѣ эти люди смотрятъ на него. Онъ приподнялся, — словно во весь ростъ — и какъ могъ громко сказалъ: «Одно только совѣтую вамъ помнить: есть пропасть людей на свѣтѣ, кромѣ Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

И впалъ въ забытье.

Софья Андреевна, жившая съ сыновьями въ вагонѣ на запасныхъ путяхъ, ходила около домика, издали заглядывала въ отпиравшуюся дверь и пыталась прильнуть къ окну. . .

*
* *

Изъ Оптиной Пустыни прiѣхалъ старецъ игуменъ Варсонофiй. Въ опубликованныхъ заграницей воспоминанiяхъ «Объ оптинскихъ старцахъ» О. В. Ш., *) обрисовывается съ достаточной ясностью портретъ этого, чудесно призваннаго Богомъ изъ офицеровъ генеральнаго штаба въ иночество, человѣка. Это былъ старецъ, имѣвшiй рѣдкiе духовные дары.

Прiѣхавъ, онъ попросилъ у Александры Львовны разрѣшенiя повидать ее. Александра Львовна отвѣтила запиской: «Простите, батюшка, что не исполняю Вашей просьбы и не прихожу побесѣдовать съ Вами. Я въ данное время не могу отойти отъ больного отца, которому поминутно могу быть нужна». И сообщала о единогласномъ рѣшенiи всѣхъ семейныхъ и предписанiи докторовъ — ничего не «предлагать» отцу и не «насиловать его волю».

О. Варсонофiй тотчасъ же отвѣтилъ, что онъ благодаренъ графинѣ Александрѣ Львовнѣ за письмо, въ которомъ она пишетъ, что воля ея родителя для нея и для всей семьи поставляется на первомъ планѣ. Но сообщаетъ, что графъ выразилъ сестрѣ своей, монахинѣ матери Марiи желанiе «видѣть насъ и бесѣдовать съ нами, чтобы обрѣсти желанный покой душѣ своей и глубоко скорбѣлъ, что желанiе его не исполнилось». Потому онъ проситъ ее «не отказать сообщить графу» о его прибытiи въ Астапово. И такъ заканчиваетъ свое письмо: «и если онъ пожелаетъ видѣть меня, хоть на 2—3 минуты, то я немедленно приду къ нему. Въ случаѣ же отрицательнаго отвѣта со стороны графа, я возвращусь въ Оптину Пустынь, предавши это дѣло волѣ Божiей. . .»

«На это письмо игумена Варсонофiя я уже не отвѣтила. Да мнѣ было и не до того», — пишетъ въ своихъ воспоминанiяхъ Александра Львовна.

*
* *

*) Бѣлая Церковь 1928.

Толстой умеръ очень скоро послѣ этого.

Жену къ нему пустили только во время его послѣдней агоніи. *) Дочь просила ее ни въ чемъ не выдавать своего присутствія. Она сѣла на стульчикъ около хрипящаго его тѣла, безпомощно шептала слова любви и — единственная изъ всѣхъ, окружавшихъ Толстого за эти дни — крестила его.

---

*) Въ своихъ Воспоминаніяхъ, выпущенныхъ въ Прагѣ въ 1922 г., Левъ Львовичъ говоритъ: «Въ день и часъ смерти отца, всѣ три самыя близкія ему женщины — моя мать, сестра Таня и тетя Маша, сестра отца, слышали шаги за дверями, стуки въ стѣну и шумъ за окнами, а я видѣлъ во снѣ такіе страшные сны, что въ ужасѣ просыпался. Я видѣлъ отца измученнаго, истерзаннаго, затоптаннаго въ грязь грубыми руками, въ тѣ самые часы, когда онъ во всяческихъ страданіяхъ умиралъ въ Астаповѣ».

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР ДОСТОЕВСКОГО

«Легенда о Великом Инквизиторе» не только философски, но и литературно-формально — труднейшая часть романа «Братья Карамазовы». Трудна она помимо своей религиозной глубины еще и тем, что в ней происходит передача содержания с трех планов: говорит Достоевский, говорит Иван Карамазов и говорит Великий Инквизитор.

«Легенда о Великом Инквизиторе» это раскрытие в особом аспекте романа «Бесы».

В лице Великого Инквизитора Достоевский вывел того же духа, которого показал в кошмаре Ивана Карамазова. Но если в кошмаре Ивана, является «господин в потертом пиджаке» здесь показывается величественный кардинал, в котором сочетается аскетическая строгость к себе с пафосом организатора принудительного всемирного счастья. Все, что говорит Великий Инквизитор остро противоположно словам Христовым, и от этой противоположности истина Христова приобретает еще большую выразительность. Вслушаемся в «Легенду», чтобы понять Достоевского, и лучше понять самую жизнь.

> «...У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже пере-

водами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину... Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время, — говорит Иван. — У меня на сцене является Он; правда, Он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование придти во Царствии Своем, пятнадцать веков, как пророк Его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец Мой Небесный», как изрек Он и Сам еще на земле. Но человечество ждет Его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку...»

Нет не «прекратились», но лишь чистое сердце, является экраном небесных «залогов». И залоги сердца еще более убедительны, чем залоги внешних явлений.

«Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть, Церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему попрежнему, ждут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бог Господь явися нам», столько веков взывало к Нему, что Он, в неизмеримом сострадании Своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал Он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле,

как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот Он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему Его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию Своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада».

Здесь, молния мысли самого Достоевского прорезывает повествование и в дальнейшем, в самые духовно критические минуты мысль его взвивается среди повести и озаряет мысль Ивана и Инквизитора. Через Инквизитора иногда говорит сам Достоевский, взлетает его светлая мысль, любовь к Богу и вся глубина этой любви... Но тут же злой дух щедро расточает свои мечты и лукавства. Это не противоречит художественной правде; злой дух иногда принужден говорить правду, хоть и ненавидит ее. Особенно принужден, если стоит пред Христом. Итак, речь не о Втором Пришествии Христовом...

«Нет, Он возжелал хоть на мгновенье посетить детей Своих и именно там, где как раз затрещали костры

еретиков. По безмерному милосердию Своему, Он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом, Великим Инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков, ad majorem gloriam Dei.[1] Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают Его. Народ непобедимою силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют Ему: «Осанна!» «Это Он, это Сам Он, — повторяют все, — это должен быть Он, это никто как Он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», — кричат из толпы

---

[1] К вящей славе Господней (лат.).

плачущей матери. Вышедший навстречу гробу соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови».

Ложные пастыри не любят истинных чудес, чудес любви Божьей, будучи готовы создавать ложные святыни и чудеса. Достоевский проникает в сущность клерикализма.

> «Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: «Если это Ты, то воскреси дитя мое!» — восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» — «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, Великий Инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск».

Достоевский вывел Великого Инквизитора не как определенный социальный — или церковный — тип, но как *душу «мира сего»*, которая может явиться и в кардинальской мантии и в грубой одежде, может действовать в различных эпохах и обществах... Этот дух может надеть одежду кардинала так же легко, как и потертый пиджак.

За инквизитором

> «в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и *лицо его омрачилось* (выделено здесь и ниже мною. — А. И.).

(Гениальное выражение сущности клерикализма: омрачение лица от благодеяний Божьих, проходящих не чрез служителя Церкви!)

> «Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально, вся, как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором...»

(образ стадности, послушания не истине, а отвлеченному авторитету, блюдущему порядок). Инквизитор

> «...молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит Пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, Великий Инквизитор, со светильником медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему: «Это Ты? Ты?», — но не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: *Ты ли это, или только подобие Его*, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков...»

Зло трепещет, страшится Истины Христовой, самой ее тени, ибо даже тень Истины имеет силу исцеления. Злу опасен не только сам Христос, но и человек, в котором Христос живет. Монолог Великого Инквизитора произносится перед каждым верующим человеком.

Ложь сгущается по мере того, как дух зла ее высказывает. Но эта ложь озаряется светом Христовым, обнаруживающим эту ложь... Как сатана в пустыне, искушавший Господа, только выявил свое зло и сам себя обличил перед миром, так и слова Великого Инквизитора (это потом понял Алеша Карамазов) — являются «гимном Христу». И всякое самообнаружение неправды в мире, ея самообличение, есть, в сущности, гимн Богу.

Инквизитор говорит образу Спасителя: «...и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли, знаешь Ты это?» Лукавое подобие истины. Верно, что многие так сделали бы и сейчас делают, но — не все, не «все». Инквизитор говорит неправду, что все верующие во Христа люди бросятся распинать своего Господа. Многие, может быть, но не все. Эта поправка убивает весь аргумент диавола.

> «— А Пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?
>
> — Да так и должно быть, во всех даже случаях, — опять засмеялся Иван: — Сам старик замечает Ему, что Он и права не имеет прибавлять к тому, что уже прежде сказано».

Смех Ивана — нехороший. Конечно, это неправда, что «во всех случаях» «Пленник молчит». Даже когда молчит Истина, связываемая человеческой ложью, молчание ее острее всякого слова.

> «Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере: «все, дескать, передано Тобою Папе и

все, стало быть, теперь у Папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел? — спрашивает Его мой старик и сам отвечает Ему за Него — нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы...»

Церковное учение (как православное, так и римо-католическое) основывается на Священном Писании и Священном Предании. Священное Предание не «предание» в светском смысле, а живой опыт Церкви всех ее веков. Священное Писание понятно лишь чрез жизнь во Христе. Предание, есть передание Огня Святого Духа. Если Христос может быть в каждом больном, нищем, страдающем, заключенном и голодном человеке, который просит кусок хлеба, если Господь Сам Себя отождествляет со всеми странниками, больными и заключенными людьми, то сколь более находится Он Сам — в Своих святых, благовестниках, носителях Духа Истины, учителях Церкви. Утверждать, что в течение 15-ти веков не было никакой «вести с неба», это утверждать ложь... Инквизитор, если можно так сказать, «открывает карты духовного зла в мире». Первая карта зла есть ненависть к христианству и особенно ко Христу, Абсолюту истины воплощенной; вторая карта — его подлог, утверждение, что истина Христова «нежизненна», «нереальна», что на нее будто бы можно только, в лучшем случае, любоваться, но жить ею нельзя. Третья карта зла — гордыня, утверждение, что учение Христово — не настоящая любовь к людям, а только он, некий иной, «мудрый дух», заботится о слабых людях и может, будто бы, утешить и спасти человечество от непосильной для него свободы во Христе.

На этой диалектике строились и строятся все социаль-

ные миражи человечества. Душа человека отшатывается от обнаженного зла; *злу надо всегда соблазнять людей видимостью добра, и подобием истины*. Этот обман раскрывается Достоевским. Достоевский защищает Христову безмерную свободу любви, побеждающей зло.

> «Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты *смотришь на меня кротко* и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?»
>
> — Я опять не понимаю, прервал Алеша, — он иронизирует, смеется?»

(Алеша, чистый сердцем, не может понять этой демонической гордыни).

> «— Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только... стало возможным *помыслить в первый раз о счастии людей*. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он Ему, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал предупреждений...».

Опять жало клеветы на Бога и Его мироздание... Человек создан Богом, как сын, с даром чудной *свободы* — *быть с Богом, с Отцом*, быть в духе Отца. Не по необходимости, а свободно быть с Богом, в этом суть молитвы Господней. Но бунтующий Иван говорит, что «человек создан бунтовщиком». Зло приписывается Творцу и тво-

ренье представляется жертвой Творца! Здесь предел богоборчества, доведена до конца мысль, играющая в мозгу многих людей в мире, что «они, люди, не виноваты в своем зле и человек «создан бунтовщиком», — значит не виновен, не грешен ни в чем и, — вина не на нем... Такова диалектика зла; на крючке ее повис Иван. Попадается на этот крючек не мало людей в каждом поколении земли.

И человек никогда не отпадает от Бога, если не усомнится прежде вот в этом основном вопросе: нравственной ценности и ответственности своей свободы.

Гордо говорит дух Ивана-Инквизитора:

> «Ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, Ты передал дело нам».

Спаситель предупредил человечество, что в мире этом действует «князь мира сего», дух зла. И вот, этот дух пришедший, хочет нас уверить, что Господь ему передал все управление миром.

> «Ты обещал, Ты утвердил Своим словом, Ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же Ты пришел нам мешать?»

Демонически извращено Христово слово, сказанное апостолам, что они имеют право «вязать» и «разрешать». Разве своей, человеческой силой они это могут делать? Нет, — только Духом Святым. «Примите Духа Святого...». (Иоанн XX, 22)... Иван отделяя человечество от Бога хочет убедить, что Сам Бог оставил человечеству свободу «отделенности от Бога». Но Господь оставил людям, свободу соединения с Ним, а не отделения от Него! Отделение от Духа Божия (которое в нашей воле), есть

величайшее рабство человека и смерть. И в это рабство и в смерть впадают избирающие вместо Христа — его противника.

Если человек сам по себе имеет власть нравственно все «вязать» и «разрешать», (как хотел Ницше) тогда, конечно, Творец ему будет «мешать» («зачем Ты пришел нам мешать», и т.д.).

> «— А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? — спросил Алеша.
>
> — А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.
>
> «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с Тобой в пустыне...»

Здесь опять ложь Инквизитора: «страшный и умный дух». Не умный и не страшный, а дух самоуничтожения и небытия. Это — пустой и низкий дух. «Байронизировать» его нет никаких оснований. Достоевский хочет, чтобы люди поняли: нет середины между Христом и духом зла. Если человек не принял, как истину и величайшую силу жизни, Слово Евангельское, он подчинится той призрачной правде, входящей во многие человеческие учения, которую представляет собой и социальная теория Великого Инквизитора, столь напоминающая известный нам бесчеловечный тоталитаризм. Глубина лжи открывается в мысли, что можно дать человечеству счастье только «исправив» Евангелие, приспособив истину к слабости человеческой.

> «Мы исправили подвиг Твой — заявляет инквизитор — и основали его на чуде, тайне и авторитете (выделено автором. — А. И.). И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки».

Но ложь действует в мире не через «чудо, тайну и авторитет», а через чудесность, таинственность и авторитетность. Это нечто иное. Понятия чуда, тайны и авторитета извращаются инквизитором. Все извращается духом зла. Человеческая душа жаждет чудесного, но как понимать эту жажду? Она бывает и подлинной жаждой высшего мира, но может быть и исканием только внешних феноменов чудесности, «знамений с неба». Господь хочет, чтобы человек истину Его познавал внутренне, очищаемым сердцем, а не внешними явлениями принужденный покорялся истине. Чудо не во внешнем знамении, факте, а во внутреннем познании Истины. Чуда Господь не отверг, но сделал чудом всю жизнь... А Инквизитор говорит, что только он даст народу «чудо». Он может дать только ложную чудесность.

То же и с тайной. Достоевский верно говорит что, кроме исканий чудесности, ложно-религиозное стремление преклоняется и перед внешней «таинственностью», плотской «эзотеричностью», не зная Божьей тайны. Господь оставил на земле Свою Тайну в жизни и в Церкви. Но она открывается не всем, а лишь чистым сердцам. Только они могут Бога узреть, — не в существе Его (что невозможно и ангелам), но в Его тайнах. Таинства Церкви и есть одно из выражений Тайны жизни человеческой в Боге. Извращая стремление души к таинству настоящей жизни, зло дает вместо тайны «таинственность», которая и проявляется в ложном эзотеризме современных язычествующих учений, влекущих своей внешней таинственностью. Эзотеризм христианский отличен от неверного эзотеризма, укореняясь в откровении Благодати чисто́му сердцу.

То же можно сказать и об авторитете. Авторитет (сам по себе) явление положительное. Авторитетом святости, истины окружено Священное Писание и Предание Церкви. Есть авторитет Истины, правды последней, входящей в мир. Но та «авторитетность», которую хочет ввести Великий Ин-

квизитор, укоренена лишь в слабостях людей и в их неведении.

Достоевский выразил, несомненно, ту мысль, что самими христианами может быть извращено понимание чуда, тайны и авторитета. Авторитет какого-нибудь проповедника может, например, высоко стоять пред людьми только вследствие того, что он «окончил три университета» или изучил десять языков. Является ли все это признаком христианского авторитета? Нет! Или, предположим, люди верят комулибо только вследствие его высокого чина, положения, или красноречия... Все это еще не соответствует религиозному авторитету истины. Подлинный авторитет один: Дух, Истина и Жизнь Христовы, дух Христовой Церкви.

> «Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные... На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей...»

Здесь опять блещет «молния» Достоевского: «И хотя и эта не достроится, как и прежняя, — но все же Ты бы мог избежать...» Инквизитор — строитель духовного Вавилона; и он же свидетельствует истину, что эта башня «не достроится», т.е. обречена на неудачу. (Так бывает, что сами бесы не могут скрыть истины, когда стоят пред Христом).

Инквизитор говорит и далее неправду, что христианство — религия «для избранных», для «нескольких», а многие слабые, которые не понимают истины, должны быть якобы только «материалом» для высоких подвижников духа. На самом деле ведомые Духом Христовым, т.е.

лучшие христиане, *сами являются* «*материалом*» *для многих* «*малых сил*». Это нечто *обратное всей схеме* Инквизитора. Небесная Церковь, благовестники и подвижники духа, есть именно Богом данный «материал», которым духовно питается, возвышается и делается ближе к Богу все человечество.

«Нет, нам дороги и слабые», демагогически говорит инквизитор; он считает, что люди слабые «порочны и бунтовщики, но под конец станут послушными. *Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать*, так ужасно им станет под конец быть свободными!». Таково явное прозрение Достоевским тоталитарного учения. Мы — современники этих «непогрешимых» коллективов и личностей, отбирающих свободу от людей, якобы для их пользы. Инквизиторы не знают, в чем настоящая свобода людей; они слепцы и пешки зла, но думают, что созданы для властвования над массами.

Легенда о Великом Инквизиторе — художественно завершенный образ искусства лжи. Достоевский собрал в фокус все возражения против Бога и дела Христова в мире и выявил это в Легенде.

Один из *центральных пунктов диалектики* зла состоит в том, что оно хочет быть *более милостивым* к людям, чем *Сам Творец*. Все современные мировые социальные соблазны основаны на этой демагогии, якобы любви к человечеству, на желании «защитить человечество от Христа» (от «слишком высокого» идеала). «Слишком много от человечества потребовал» — таков упрек зла Христу. «Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его». Такова демагогия Инквизитора.

«Чем виновата слабая душа», говорит Инквизитор, «что не в силах вместить столь страшных даров?»... Но именно слабая, *осознавшая себя слабой*, душа только и

способна вместить Божьи дары. Великость Божьих даров именно в том, что они входят силой своей, именно в слабую, нищую (не мнящую себя сильной) душу. Благодать ищет не героев, не титанов и прометеев, а «нищих духом», доверчиво-детских сердцем... Этого понять Инквизитор не может, не хочет; его мысль занята всецело земным.

Говоря об инквизиторской заботе о слабых, Достоевский несомненно имеет в виду может быть, и систему индульгенций, которая была в Средние века в Римской Церкви, да и сейчас еще не совсем ушла из римской церковно-юридической психологии и практики. Здесь опять вопрос нравственной педагогики. Что легче человеку, когда ему «облегчают быть слабым», (давая что-то внешнее для спасения), или затрудняют его быть слабым, влекут к высшему, совершенному, держат перед ним все время яркий Свет, Христов, указывая на последнюю заповедь: «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть»... Евангелие держит пред человеком высший Свет, побуждая следовать Свету до конца. Здесь «трудность» Евангелия для многих, желающих его разбавить, заменить. Видя перед собою полноту Божественной истины, чистоты, любви, совершенство разума, воли и чувства, человеческая душа и призвана осознать (в этом предагогика Евангелия) свое ничтожество без Бога, без Его Духа. Душе надо перестать быть самодовольной, сделаться «нищей духом»; став нравственно нищей пред Богом, она получает благодать Божьей силы и усыновляется, идет влекомая, подъятая Божьей силой... Тут основа подлинного, религиозного содержания жизни и совершенствования. Не ослаблением, не затушевыванием заповедей Божьих облегчается нравственное спасение человека, а, наоборот, выявлением высоты Божьего совершенства в мире.

Конечно бывает, что человек, будучи самолюбивым и горделивым, увидев бесконечный нравственный свет перед собой и чувствуя, что не может своими силами стать святым, отказывается от Евангелия, считает его «нереальным», «неисполнимым» и т.д.... Но понявшие что «сила Бо-

жия в немощи совершается», не пугаются последней истины, они считают настоящей реальностью только этот последний свет.

> «То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу?...».

Зло трепещет пред взором Христа. И вслед за этим маска зла сама собою срывается пред молчащим Христом.

> «Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с н и м, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с н и м, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. А, между тем, Ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и

Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за н и м. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией» (выделено автором. — А. И.).

Буквально так произошло в мире.

Инквизитор, строющий тоталитарное государство, продолжает: —

«Но тогда-то и приползет к нам зверь... И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна»! Но тогда и лишь тогда настанет для людей царство покоя и счастия. Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех».

Неложно сказал лишь Спаситель: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»...

«...мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудесами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные,

но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». *Получая от нас хлебы, их же руками добытые*, берем у них, *чтобы им же раздать*, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших!.. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться!»

Инквизитор хочет сделать всех людей «младенцами», *не догадывающимися о своем грехе*. Себя он провозглашает «искупителем» — в отрицании. Мы, знающие, «берем на себя грехи людей»; мы не говорим им, что грех есть преступление, и *этим облегчаем жизнь людей*. Таков предел чаяний антихристианства и смысл «искупления» лжи. Оно есть приобщение души к последней гибели.

Что вдохновило Достоевского на создание повести? Сама жизнь, которую он увидел в ее корнях. И он пожелал выявить в мире зло так, *чтобы виднее стала дорога к Богу*. В 17-ой главе Апокалипсиса ключ к Легенде о Великом Инквизиторе. Эта глава о соблазне вавилонской блудницы, участвующей в развращении мира; она царствует и грешит со всеми царями земными, закрывая от людей небо, устремляя человеческие глаза исключительно к земле, погружая их в похоть физическую и духовную. Но будет Суд над представителями вавилонического учения, которые пытаются хозяйничать в истории без Бога и Сына Божьего. «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ея блудодеяния упивались живущие на земле» (Откр. XVII, 1-2).

Самое глубокое преступление против любви происхо-

дит не в области плоти, а духа. Люди призваны отдавать свое бессмертное сердце Богу. Но, впадая в духовное прелюбодеяние, они отдают сердце одним земным ценностям, материальным задачам и интересам. Правители народов так и «прелюбодействуют», заражая свои страны гордыней автономности от нравственных законов, независимости от Творца.

«И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами», — говорит Иоанн Богослов (Откр. XVII, 3). «Семь голов» это семь смертных грехов, а «десять рогов» есть указание на то, что апокалиптический зверь борется против 10 заповедей Божьих и бодает их...

«Зверь, которого ты видел, — говорится в Откровении Иоанна, — был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Откр. XVII, 8).

Те, которые «удивляются», должны перестать удивляться временной силе беззакония, приняв слова Христовы, что Он будет последним победителем всего.

Великий Инквизитор, адвокат «Вавилона», противления Творцу. «Вавилонический» в истории дух все по разному пытается захватить человечество. Только Именем Христовым, Богочеловеческим, можно защититься от зла. Только наученный Христом человек способен заметить свою ложь и ложь окружающей жизни и пронизать ложь тем острым духовным взглядом, который, как это почувствовал Инквизитор, лежал на нем, когда он говорил перед Христом.

Мы знаем окончание поэмы. Молчавший Христос целует Инквизитора. Инквизитор отпускает Пленника... Некоторые полагают, что в этом финале Великий Инквизитор, тронутый всепрощающей Любовью Спасителя, совершает акт великодушия, открывая двери темницы... Но Инквизитор говорит слова, мучительные для Христа более голгофских гвоздей. Инквизитор говорит Сыну-Божьему: «Сту-

пай, ступай, и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!»

В поцелуе «Легенды» есть правда, и есть и ложь. В нем Достоевский и в нем Иван Карамазов. Правда этого поцелуя в том, что Господь любит всякую Свою тварь, Он любит и ту, которая Его не любит и не хочет любить. Христос пришел грешников спасти. И человечество более-всего нуждается, для своего спасения именно в такой высшей, Христовой, любви. Больной ребенок нуждается в наибольшей материнской любви. Поцелуй Христов и есть призыв к этой Любви, последний призыв пилатов и фарисеев к покаянию. В этом идея Достоевского.

Но поцелуй этот есть и мысль Ивана Карамазова, его последняя, искусительная неправда слияния истины и лжи.



СОКРОВЕННЫЙ КРЫЛОВ

Жизнь Ивана Андреевича Крылова не изобилует внешними событиями, а для постороннего глаза и чужда какимлибо внутренним движениям. Детство и юношество, мало известное, мало вспомянутое, как им самим, так и другими. Период зрелости невзрачный, теряющийся в окружающей обстановке. «Этот человек — загадка великая» — воскликнул о Крылове Батюшков в 1809 году, когда Иван Андреевич дошел до конца первой половины своей жизни. Его странная неподвижность, связанность плотью, равнодушие к окружающей жизни вызывали удивление. Влечение к еде сделало его объектом непрестанных шуток. Крылов казался скептиком в отношении всего.

Одно время Крылов столь же был увлечен азартом карт, как Ф. М. Достоевский — азартом рулетки. Азартная страсть есть, в сущности, не что иное, как непреображенная сила души горячей. Вращаясь среди ничтожных интересов, люди со священным пламенем в душе нередко начинают коптеть. Это было у Достоевского, это было и у Крылова. Достоевский преодолел свое раздвоение. Крылов — не смог. Страсть к картам, будучи угашена благоразумными мерами его друзей, начальников и его самого, заменилась вялой и тягучей страстью, которая именуется в аскетической науке «чревоугодием». Плоть взяла, для внешнего глаза, перевес над душевными движениями и волнениями. Но когда смотришь на портреты Крылова и его бюсты — на этого тучного,

неподвижного человека с печатью такой же неподвижности в чертах его лица, не видишь «плотского» образа. На лице Крылова мы видим печать сосредоточенной думы, мудрости и человечности. Словно в этой горе — алмаз ведения тайн. Пусть алмаз гораздо меньше горы (а для некоторых совсем не заметен среди глыб гранита и глины), но в алмазе средоточие горы.

В детстве это выявилось в любви к матери. Отец умер в 1781 году, когда Крылову шел тринадцатый год. Мать он потерял на 21-ом году. Называл он ее: «первой радостью, первым счастьем своей жизни».

В материалах Пушкина по истории Пугачевского бунта упоминается об отце Ивана Андреевича, как храбром и решительном офицере. В «Русской Старине» за 1876 год Дубровин сообщает: когда после массовой сдачи казаков, перешедший на сторону Пугачева Перфильев убеждал Крылова «не противиться батюшке», Андрей Прохорович, имея вокруг себя мятежников, мужественно сказал: «Перестань ты, Перфильев, злодействовать и быть участником в злых делах разбойника, которому вы служите. Помянул бы ты Бога и присягу свою»... Мать Крылова, Марья Алексеевна, в Твери читала каноны по усопшим. Она была и первым двигателем Крылова к литературе. Несмотря на свое скудное образование, с удивительной чуткостью она исправляла его первые литературные опыты и поощряла всяческими хитростями его изучение французского языка, благодаря которому он встретился с вдохновением Лафонтена и, по выражению Пушкина, стал: «столь же выше Лафонтена, сколь Державин выше Руссо».

Когда просматриваешь литературные произведения Крылова, вроде «Кофейницы», «Филомены», «Почты Духов» — видишь, как слаб и бледен он на путях, которые не были ему даны. Но уже первая его басня: «Дуб и Трость» вызывает восторг такого тонкого литературоведа, как Дмитриев. «Это поистине в а ш р о д», — говорит Крылову Дмитриев после прочтения первой его басни. Служение найдено. «20 лет — говорит Крылов — я искал своей полочки».

«Есть люди, которые живут только по расчетам холодного ума; другие, напротив, движутся одним сердцем. Это — неполные дары природы. Совершеннейшие характеры те, в которых природа уравновесила чувствительность сердца со способностями ума. Крылов, не делавший умышленно зла, честный в высокой степени, не чуждый даже тайных благодеяний и, в полном смысле слова, добрый человек, — принадлежал более к первому разряду, и — физическая ли тяжесть, крепость ли нервов, любовь ли к покою, лень и беспечность, или чуждость семейных связей были тому причиной, что его не так-то легко было подвинуть на одолжение или на помощь ближнему. Он всячески отклонялся от соучастия в судьбе того или другого. Всем желал счастья и добра, но в нем не было горячих порывов, чтобы доставить их своему ближнему. Никогда не замечено в нем каких-либо душевных томлений; он всегда был покоен».

Так говорит один из биографов Крылова.

Душевные томления его не замечались, но было томление творчества, было и томление жизни. Малый, но характерный штрих: однажды Ивану Андреевичу вздумалось превратить свою квартиру в сад. «Он купил до 30 кадок с деревьями: лимонными, померанцевыми, миртовыми, лавровыми и разными другими, и так заставил свои комнаты, что с трудом проходил и ворочался между ними. Но этот эдем его, оставленный без надзора и поливки, завял, засох и в короткое время исчез».

Одной из слабостей его было умение хорошо поесть. «Немногие осмеливались с ним состязаться в этом деле, — говорит его друг, — он выдерживал в гастрономии сильные поединки и всегда оставался победителем». Предсмертная болезнь его произошла как раз от тертых рябчиков в масле. Организм 76-летнего старца не выдержал, но добродушная улыбка не сошла с лица Ивана Андреевича и в конце его дней. Объясняя друзьям причину своей болезни, еще раз он явил, что значила для него басня: он сравнил себя с крестьянином, который навалив на воз непомерно большую поклажу рыбы, никак не думал излишне обременить свою слабую

лошадь только потому, что рыба была сушеная. Это была его последняя на земле улыбка.

Как-то при обсуждении вопроса: «здорово ли человеку ужинать?», Иван Андреевич сказал: «Ужинать перестану наверное в тот день, в который перестану обедать». Вопросы медицинские никогда не могли отвлечь его от обеда. Но раз нечто заставило его покинуть стол после нескольких ложек супа. Что же это, оказавшееся сильнее его непобедимой физической природы?

«На одном литературном обеде, — рассказывает академик Лобанов, — на который был зван Иван Андреевич и который начался залпами эпиграмм некоторых людей против некоторых лиц, Иван Андреевич, не кончивши супу, исчез. Я взглянул — место его пусто! Спрашиваю хозяйку, она отвечает: «Ему сделалось дурно, он вышел вон». Пришедший между тем хозяин говорит то же самое, добавив, что Иван Андреевич, посидевши немножко на крыльце, сказал: Нет, что-то нездоровится, я уж лучше побреду домой», — и ушел. Резкие выходки прекратились, обед продолжался мирно, и вечер прошел приятно. Я тотчас понял моего соседа и на другой день зашел к нему. «Вчера вам сделалось дурно, Иван Андреевич?» — «Да, отвечал он: так, что-то стошнилось». В дальнейшем выяснилось, что тошнота Ивана Андреевича была порядка нравственного. Здесь уже открывается волевая черта Крылова.

«Стошнилось» Крылову еще раз при чтении известного стихотворения Виктора Гюго: “Les Feuilles d’Automne.”

“Enfant si j’etais roi, je donnerais l’empire...”
“Si j’etais Dieu je donnerais les mondes”

«Если бы я Богом был, я отдал бы миры»... и — объясняет, за что отдал бы). Крылов пишет на полях:

«Мой друг, когда бы был ты Бог,
То глупости такой сказать бы ты не мог».

Коса французского романтика нашла на камень реалиста жизни, реалиста веры.

Рядом с его неподвижностью была у Крылова настойчивость. Он пишет, что только начало для него трудно; увлеченный какой-либо идеей, он не останавливался ни перед какими препятствиями.

Неподвижность человека в мире не всегда бывает следствием его лени. Духовное пробуждение нередко начинается с того, что человек теряет вкус к временным ценностям. Прежние потеряны, — новые еще не приобретены. И, перед тем как начать свою чисто-духовную жизнь, человек, расставшийся со своею ветхой жизнью, может некоторое время быть между двух берегов. Нет твердой почвы земной уже, ни небесной еще.

К этому типу людей принадлежал сокровенный Иван Андреевич. Здесь надо было искать причину необычайной его незаинтересованности вещами и делами этого мира, и, вместе с этим, удивительно острого и тонкого его наблюдения над этими вещами, восприятия их, проникновения в этическое бытие мира.

И. А. Крылов был смиренным, трудолюбивым кротом из своей басни «Воспитание льва»: — «великий зверь на малые дела». Так назвал он крота — малое и скромное животное, могущее видеть лишь то, что стоит перед самыми его глазами. Таким кротом — «великим зверем на малые дела» — он чувствовал себя и был в своей воспитательной работе над младенчески простой и царственно глубокой душой русского народа.

Есть пророки, которым дано: «истину царям с улыбкой говорить». Крылов не был таким пророком. Он скорее подобен мудрецу, загадывавшему царям загадки, чтобы их научить и вразумить.

Истину своего большого служения Крылов как-то назвал «истиною вполоткрыта». Было бы неверно думать, что истина «вполоткрыта» есть «полуистина». Нет, это — полная истина, и, иногда, даже более остро проникающая сознание человека, чем целиком открытая и слишком болезненная для гордого, потемненного человеческого сознания.

Крылова так однажды оценил простой читатель: «Читал я басни и Измайлова, но в сравнении с твоими, как небо от земли; ни той плавности в слоге, ни красоты нет, а особливо простоты, с какою ты имеешь секрет писать, ибо твои басни грамотный мужик и солдат с такой же приятностью может читать, хоть не понимая смысл оных, как ученый... Как ты, любезный тятенька, пишешь, пишешь это — для всех: для малого и для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют... Басни твои это не басни, а апостол».

Читатель нечто угадал. И князь Вяземский выразил это в строках, прочитанных им в день 50-ти летия литературной деятельности Крылова, 2 февраля 1938 года:

Мудрец игривый и глубокий,
Простосердечное дитя,
И дочкам он давал уроки,
И батюшек учил шутя...

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело...

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль:
Он баснями себя прославил,
И слава эта — наша быль...

Басня «Василек» в простоте раскрывает притчу о Господе Боге и о человеке немощном, которого другие унижают, считают недостойным великих благодеяний Божиих. Разве это не «человеческое» суждение: «да только те цветы совсем не то, что ты». Перед Богом каждый цветок одинаково прекрасен, но бывает, что человек чувствует себя такой ничтожной тварью, что, впадая в уныние, соглашается, что обращаться к Богу, мучить солнце своей докукой, он не должен. Это — наивная, не имеющая истины мысль. Малое и великое

равно ничтожно перед Богом и одинаково драгоценно Ему, как Его творение.

Чисто религиозное бескорыстие любви Крылов выразил в басне «Лань и Дервиш». Как далеко это воззрение от материализма.

Младая Лань, своих лишась любезных чад,
Еще сосцы млеком имея отягченны,
Нашла в лесу двух малых волченят
И стала выполнять долг матери священный,
Своим питая их млеком.
В лесу живущий с ней одном,
Дервиш, ее поступком изумленный:
«О, безрассудная! — сказал, — кому любовь,
Кому свое млеко ты расточаешь?
Иль благодарности от их ты роду чаешь?
Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?)
Они прольют твою же кровь». —
«Быть может, — Лань на это отвечала, —
Но я о том не помышляла...»

Человеческая душа, укоренившаяся в Божьем добре, не ищет никакой корысти в своем творении добра. Любовь и правда и чистота есть ее дыхание.

В противоположность этому Крылов показывает: «Собачью дружбу».

Человеческая греховность имеет свой корень в отпадении человеческой природы от Духа Божьего. Не может быть ничего скверного в существе созданной Господом Богом природы, которая и ныне есть поле проявления духовной свободы человека. Человеку дано «в поте лица» обрабатывать свою не только физическую, но и душевную землю, на которой растут и добрые злаки, и тернии и волчцы. Такова цель жизни человеческой. Разбирая вопрос борьбы с греховным выражением души человеческой, св. Отцы — опытные психологи — советуют избегать дурных впечатлений, охранять свое воображение, чувство, память, заменяя дурное светлым, нечистое чистым в своей внутренней

жизни. Здесь пролегает путь священной ценности: духовного образа, пения, благоухания, красок, вкушения святыни, — все это атмосфера нравственного охранения и духовного преображения человека. Это Крылов выражает в своей басне «Бочка».

Клеветник у Крылова получает, в аду, первенство и почет больший, чем змея. Опровержение материализма мы видим в басне «Пожар и алмаз». Басня «Дуб и Трость» пластически показывает гордыню и смирение:

Бушует ветр, удвоил силы он,
Взревел — и вырвал с корнем вон
Того, кто к небесам главой своей касался
И в области теней пятою упирался.

Слова тростиночки дубу: «но подождем конца», — этическое предупреждение всякому временному и внешнему человеческому величию.

Басня «Бедный и Богач» направлена против практического материализма, который не лучше материализма теоретического и имеет свою жизненную диалектику, столь же далекую от истины.

В басне «Волк и Кот» происходит, как бы, Суд Божий. Человек сам себе готовит плоды будущей жизни. Акты милосердия вызывают милосердие; акты злобы — отражаются гибельно.

Одна из самых философски глубоких — басня «Водолазы». Тут Крылов разрешает целую проблему религиозной гносеологии. Не лишенная пророческих чувствований, эта басня справедливо может быть названа *притчей*.

И о конце деятельности безбожников Крылов несомненно пророчески говорит:

Плоды неверия ужасно таковы;
И ведайте, народы, вы,
Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,
Чем против божества вооружают вас,
И обратятся все в громовые вам стрелы.

Крылов-лирик столь же мало известен, как Крылов-человек. В полном собрании его сочинений помещено около 40 стихотворений; четверть из них имеют ярко выраженное религиозное чувство и мысль.

До нас дошло свидетельство о том, как сам Иван Андреевич воспринимал свое творчество. В «Отрывках из записок о Крылове» (опубликованных «Северной Пчелой» в 1845 году) Быстров рассказывает: «В Русском Отделении Императорской Публичной Библиотеки, в кипе разорванных книг и журналов нашел я тетрадь стихов, писанных собственною Ивана Андреевича рукою (это было в апреле 1832 года). «В этой тетради есть прекрасная ваша Молитва к Богу», — сказал я И. А. — «Покажите, мой милый». И. А. взял рукопись и стал читать про себя. Какой огонь, какой благоговейный восторг одушевлял в то время поэта! И не одна слеза скатилась на грудь его!»

Стихотворение, первоначально называвшееся «Молитва к Богу» было напечатано в альманахе «Кометы Белы» и вошло в собрание сочинений Крылова под заглавием Подражание Псалму XVII «Возлюблю Тя, Господи, крепость моя».

К Тебе, мой Бог великий, вечный,
Желанья все мои парят;
Сквозь тьму и бездну бесконечны,
Где миллионы звезд горят,
И где, крутясь, миры в пучинах —
Твое величество гласят:
Велик Господь, велик и свят
Вещей в началах и кончинах:
Велик величества Творец...

Стихотворение это, написанное в 1795 году, оканчивается...

Чтоб Бога знать, быть должно Богом,
Но чтоб любить и чтить Его,
Довольно сердца одного.

«...если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста», сказал Господь пророку (Иерем. XV, 19). Одна из главных черт религиозной жизни и человеческого воспитания есть «добывание драгоценного» из окружающих нас малых обстоятельств и фактов жизни. В большей своей части, жизнь земная состоит именно из того, что человек считает «неважным». И религиозная мысль призвана отыскивать во всем, начиная с малого, смысл вечности.

Подобную работу совершал в своем творчестве Иван Андреевич. И оттого его басни вошли в жизнь русского человека. Одно из первых прикосновений души русского ребенка к этическому миру совершается через басни Крылова. Родители и педагоги, может быть, недостаточно учитывают силу нравственного заряда в басенной литературе и заинтересовывают ребенка преимущественно лишь языковой, литературной или сказочной стороной ее.

Начиная с современников И. А. Крылова, некоторые религиозные критики считали сомнительным нравственное достоинство басен Крылова. Более того, басни представлялись им соблазнительными тем, что возводили животных на степень человека, заставляя их говорить человеческие слова. Им представлялось это унижением образа Божьего в человеке. Но эта черта басенного творчества не может быть унизительной для человека. Творец тоже дал твари язык и баснописец лишь перелагает его на язык человеческий. И будет, пожалуй, правдой сказать, что греховные чувства и поступки человека, приписываемые животным, скорее унижают животных... Человек один на земле обладает нравственной свободой. Остальная тварь земная этой свободы, и значит ответственности, не имеет. Кровожадность леопарда не есть его «личный грех». Человек один ответствен за нарушение гармонии мира и всякая, кажущаяся не-нравственной черта животных есть следствие падения человека. Достоевский писал, что никакой зверь не может быть так жесток, как человек. Это правда. Тварь, в своей «отраженной» греховности, не имеет той нравственной грязи, которую несет на себе человек. Наличие же среди ангельского

мира образов животных (например, видение Иезекииля) и участие всей твари в грядущем торжестве восстановления мира дают нам полное религиозное право переводить язык органической и неорганической природы на язык человеческий. Приписывая какому-либо муравью чувства демонической гордыни и низкого тщеславия, баснописец унижает муравья, а не человека. Человека же приводит к суду и самоосуждению.

Воспитательное значение басен Крылова велико. Неудачи в остальных областях литературы показали Ивану Андреевичу его истинное призвание. Крылов был избран будителем нравственного сознания в русском народе-ребенке. Басня, с ее отчетливым нравственным смыслом, есть эхо религиозной притчи. Острое, «соленое» словцо в поэтическом построении, «крылатое» выражение врезываются особенно глубоко в примитивное народное и детское сознание, оставляя нужный след в жизни, производя этический суд человека над самим собою. Басня есть совершенно особый род литературы, по своему определенно дидактическому заданию выделяющийся из всех литературных форм. Литературе дидактическая тенденция всегда вредит, т.е. вредит художественному замыслу произведения его дидактическая нарочитость. В басне же эта нарочитость является самим литературным и художественным достоинством.

Отвлеченная этика чужда человеческому сознанию, тем более детскому и народному. Реальный предмет и образ — круг жизни ребенка. Игрушка — поле первичного осязания мира. Образы, краски, простота линий, конкретность понятий, как необходимый элемент, входят в басню и делают ее «притчей земли». Притчей доброй земли. Еще можно сказать: басня это нравственное обучение абстрактному в конкретном, невесомому в материальном. Мир, привычный человеку мир, через басню приобретает нравственную выпуклость, прокалывается стержнем добра и зла.

В просторечии «басня» иногда отождествляется с чем-то лживым, отрицательным, вымышленным... «Это он говорит басни!»... Но вымышленность не есть еще лживость. Басня

в своей литературной форме открывает истину под видом вымысла; тогда как ложь есть утаивание истины под видом правды.

Притча, как литературная форма, благороднее и религиознее басни. В притче бывает реальным не только дух, но и материя. Притча обращена к духовно-взрослым и поэтому она не пользуется улыбкой. Если Господь Иисус Христос говорил Своим ученикам, что только им «дано знать тайны Царствия Божия», а «прочим — в притчах», то этим Он не говорил, что «притча» Его есть нечто всем удобопонятное. Эти притчи и сейчас многим, даже образованным людям не доступны. Для их понимания нужны чистое сердце и благодатная вера. Притча есть чистый символ реальности. И она есть всегда откровение. Басня же есть философия. Притча — «духовна»; басня — «душевна».

Библейская форма переложения божественных истин на человеческий язык есть форма притчи. Но библейские пророки в некоторых случаях пользуются и поэтической формой, свойственной басне. У пророка Исайи, в 23 главе, стих 4, — море «говорит», у пророка Давида море «видит» и «бежит» (Пс. 103)... Ослица Валаама человеческим языком останавливает религиозно-этическое безумие ложного пророка.

Наиболее яркий пример басенного подобия на страницах Священного Писания можно увидеть в третьей книге Ездры, в главе 3-ей: Вот я отправился — говорит архангел Уриил (вестник Божьих Тайн) — в полевой лес, и застал дерева, держащими совет. Они говорили: придите и пойдем и объявим войну морю, чтобы оно отступило перед нами, и мы там вырастим для себя другие леса. Подобным образом и волны морские имели совещание: придите, говорили они, поднимемся и завоюем леса полевые, чтоб и там приобресть для себя другое место. Но замысел леса оказался тщетным, ибо пришел огонь и сжег его. Подобным образом кончился и замысел волн морских, ибо стал песок и воспрепятствовал им. Если бы ты был судьею их, кого бы ты стал оправдывать, или кого обвинять? «Подлинно, от-

вечал я, замыслы их были суетные, ибо земля дана лесу, дано место и морю, чтобы носить свои волны». Он же в ответ сказал мне: «справедливо рассудил ты; почему же ты не судил таким же образом для себя самого? Ибо как земля дана лесу, а море — волнам его, так обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле, а обитающие на небесах могут разуметь, что на высоте небес». И отвечал я и сказал: «молю Тебя, Господи, да дастся мне смысл разумения»...

Религиозная значимость басен Крылова неравномерна. Есть басни, которые можно назвать чисто христианскими; есть басни полухристианского мироощущения, есть басни и внерелигиозно-бытового порядка. Задача верующих воспитателей и родителей, несомненно, выбирать для заучивания ребенком басни не только лучшие по литературной форме, но и наиболее глубокие, сопровождая их непременно соответствующим комментарием, побуждая к этому углублению в нравственный комментарий и самого ребенка. В этом случае басня принесет максимальный этический плод и явится подлинным «детским богословием», прививкой ребенку настоящего отношения к жизни, а также и к тем, кто не по-настоящему к ней относится. Религиозное воспитание не есть лишь развитие правильного отношения к «правильному» (т.е. ко Господу Богу и людям в их онтологическом аспекте, к природе гармоничной и т.д.), но и развитие правильного отношения к «неправильному» — к искаженному лику природы и человека. Родители и воспитатели должны не только воспитывать сердце ребенка, но и заранее «вооружать» его всеми теми проблемами, которые начнут в нем выявляться при более глубоком соприкосновении с окружающей действительностью, готовя верные решения этих проблем в жизни. Подобное развитие будет созданием христианского мировоззрения в человеке.

Религиозная сторона басен видна и в обнаружении явлений внутреннего мира. Басня обращает человека ко внутреннему миру, его собственному и миру другого человека, учит

считаться с этим внутренним миром, как своим, так и другого человека.

Моральная санкция басни не есть суд, но выявление правды или неправды через улыбку. Иногда горькую, иногда ласковую. Басня не возмущает и не пугает нравственного сознания; она его предостерегает, обостряет и одновременно смягчает, что является удивительно мудрым отношением к злу, таящемуся в горделивых и немощных сердцах человеческих.

В баснях весь мир, весь космос свидетельствует о правде Божией, вложенной в творение. И всякое нарушение этой правды выявляется как уродство, некрасивая, смешная, дисгармонирующая с жизнью судорога. Басня рассказывает и показывает... Вся же светлая педагогика есть гораздо более «показ», чем рассказ.

В своих баснях, вызывающих мягчащую сердце улыбку, Иван Андреевич Крылов явился человеком «пророческих дарований». По смыслу слов пророка Иеремии, он извлек «драгоценное из ничтожного». Он явился тонким воспитателем, а лучше сказать — «напоминателем» простой жизненной правды русскому народу, а эта простая правда есть отражение правды вечной.

РУССКИЙ РЕАЛИЗМ

Возможность правдивости огненное доказательство бессмертия.



Мы лжем не только тогда, когда говорим несоответственное истине, но и когда говорим несоответственно истине (выражаем истину отвлеченно, не в духе истины).



Русский реализм Солженицына может быть понят по-настоящему только друзьями правды последней. Этот реализм экзистенциален, т.е. существенно не-партиен, и не только в отношении какой-либо единой партии. Непартийность этого реализма — в понимании и осуществлении человека в его последней правде.



«Архипелаг Гулаг» — вино русской совести, взбродившее на русском терпении и покаянии. Здесь нет злобы (не мелькнет ни крупинки ее, ни строчки ее, серы дымной). Есть гнев, сын большой любви, есть сарказм и его дочь —

беззлобная, русская, даже веселая ирония. Она у Солженицына и форма плача о человеке.



Приказом Сталина дан был второй срок уже разрушенным каторгой «повторникам» (отбывшим 10 лет в 1947-48 гг.) ...«Какая дикая фантазия (или устойчивая злобность, или насыщенная месть) толкнула теперь Генералиссимуса-победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину ее же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью». (Разрядка моя. А. И.). Один удар иронического слова и — разваливается марксизм.



Мало «говорить правду». Надо, чтобы она сама в нас говорила, источалась, пробивалась из нас, когда мы этого хотим и — когда не хотим. Правда источается из человека чудесно, как вода из камня в пустыне. Осознание нами сухости своей неправды — первая капля правды.



Несправедливость, наказывающая другую несправедливость, кажется нам справедливостью. Так все жаждут Руки Господней.



Ложь в мире летает, уничтожает хлеба, как саранча, оседает пылью на вещах и отношениях человеческих, сидит червяком в плодах, точит ржавчиной всякую крепость, несет яд свой на лепестках и цветах человеческих.



Человек призван не к «инструментальной» только, или «служебной» правде, но и к последней, к Солнцу Правды. Надо ослепнуть и сгореть на этом солнце, чтоб стать человеком.

«Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их» (Мф. XIII, 43).



Мы привыкли к фонарям и лучинам правды, держимся за них. Солнце Правды мешает нам. «Пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. IX).



«В той камере был молодой киевлянин Валентин (не помню фамилии) с большими, по-женски прекрасными глазами, очень напуганный следствием. Он был безусловно провидец, может быть в тогдашнем возбужденном состоянии только. Не однажды он проходил утром по камере и показывал: сегодня тебя и тебя возьмут, я видел во сне. И их брали! Именно их! Впрочем душа арестанта так склонна к мистике, что воспринимает провидение почти без удивления».



Вот каков метафизический анализ ситуации чисток 30-х годов:

...«Уж кстати об ортодоксах. Для такой ЧИСТКИ нужен был Сталин, да, но и партия была нужна такая: большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побывать и палачами других большевиков (уж не считая, как прежде того они все были

палачами беспартийных). Может быть 37-й год и НУЖЕН был для того, чтобы показать, как мало стоит все их МИРОВОЗЗРЕНИЕ, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни, — Россию, где им самим ТАКАЯ расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936-38 годов, то главное отвращение испытываешь не к Сталину с подручными, а к унизительно-гадким подсудимым — омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости».

А теперь метафизический ответ на вопрос правды последней:

«...И как же? как устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному?..».

Ответ таков:

«...Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель — сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет.

Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и совесть остаются мне дороги и важны.

И перед таким арестантом — дрогнет* следствие!

Только тот победит, кто от всего отрекся!» («Архипелаг Г.»). Ложь есть неузнавание образа Божия (в себе и в других).



* Именно дрогнет, — точное слово. Не рассыпется, не прекратится, а — дрогнет, окажется в замешательстве. А. И.

Можно проследить рождение лжи. Она рождается из: гордыни, страха, корысти, суетности, многословия, похоти, тщеславия, бесчувствия, сребролюбия, ревности, зависти, злобы... Ложь выходит и из беспричинной одержимости человека ложью.



Зоркость в видении земных феноменов Солженицын приобрел в отречении от этих феноменов. И только чрез опыт духа открывается земная конкретность. И эмпирия понятна лишь в познании духа. «...Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем. Ты окунаешься в душу воли, толкаешься в запутанном зале. Рассеянно проглядываешь объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться... Слушаешь странные и ничтожные разговоры: о том, что какой-то муж бьет свою жену или бросил ее: а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног...» («Архипелаг Г.»).



Никакой нервности «в Архипелаге», никакой драматичности. Трагичность великая прячется, утаивается стыдливо, по-русски. Книга эта — не истерика и не исторический репортаж. Это не «Я обвиняю!», или «Не могу молчать!», а большая поэма о человеке. Это с деталями повесть и о дьяволе (и дьяволенках).



Ложь многообразна. Она есть измена миру истинных отношений, корыстное понимание людей, вещей и явлений, пристрастие любви или ненависти, самовозвеличивание или отречение человека от бессмертной своей сущности.

Правда последняя еще не кажется правдой для

многих. Последняя правда еще не кажется правдой для многих. Последняя правда проходит в мире кенозис Христов, истощание... Мать праведно укрывает от своего ребенка непосильную для него правду, люди свято утаивают тяжкие вести от больных, человек безгрешно отрицает пред другими (и, главное, перед сбой) свое добро. «Правая рука» — «евангельски — «лжет», преуменьшая, скрывая свои добрые дела от «левой руки». Таковы пути правды последней.



Смирение и скромность не нарушают правды, отклоняясь от земной правдивости. Любовь и великодушие имеют власть эту правдивость нарушать во имя правды последней.



Последняя Правда — выше борений и противопоставлений, выше диалектики. Она сияет и царствует.



Святость иногда целительно привлекает видимость неправды на служение Правде. Греховность убийственно защищает мнимой правдой свою ложь.



В мире есть как бы четыре состояния правдивости: с е в е р н о е, холодное (выявляющееся через отрицание неправды); ю ж н о е, теплое (действующее чрез радость познания и принятия правды); в о с т о ч н о е, (нисходящее с неба на землю); з а п а д н о е (поднимающееся от земли к небу).



О слабости нашей. Мы ограничены даже в своем поклонении Богу. Земля — «слишком высокий уровень» для

нашего поклона. Некуда нам, Господи, поклониться Тебе! Жалким земным поклоном, а то и кивком головы, мы кланяемся Твоей великой правде и любви. Только наш поклон в бездну соответствовал бы нашему ничтожеству без Тебя. Но Ты даешь нам поклоняться Тебе «в духе и истине».



Правду Христову мало желать. Ее недостаточно алкать и жаждать. Без нее надо умирать.



Если человек не священнодействует правды, он ею владеет, как тиран, и опустошает ее, как разбойник. Он мучает правду и мучается ею, как Иерусалим, распинающий Христа.



Некоторые хвалятся Православием. Православие не в том, чтобы хвалиться им, а чтобы стыдиться в нем.



Как писатель уходит из литературы, смотрите — вот сноска страницы 509 «Архипелага Г.»:

«...Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо!.. Да, Алексей Максимович... «Вашим, товарищ, сердцем и именем». Если враг не сдается... Скажешь лихое словечко, а ты ведь уже не в литературе».

Бережением от «лихих словечек» сохраняется слово.



Мы все бываем около Рая, когда осознаем близость Божию к себе и одновременно видим свою отдаленность от

Бога и бесконечную справедливость этой отдаленности от Лица Божьего... Бывает, что люди мучаются не от отлученности, а от недостаточной своей отлученности от Бога: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Чистое мучение веры. Евангелие научило человека скрываться в свою нищету, охватываясь трепетом близости Рая во Христе.



Неправда нашего самооправдания в том, что оно ведет к обвинению другого человека, а обвинение другого приводит к обвинению Бога. Отсутствие славословия Богу и благодарности Ему ведет к демоническому восстанию на Его правду.



Грешник эмбрионально проходит все фазы греха, возлагая ответственность за свое зло на другого человека и на Бога: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне от древа» (Быт. 111, 12). Вот как стал дерзко в истории говорить человек, себя отлучая от Благобытия.



А к человеку так божественно подходит утешающая правда: «...работу этого реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, восторгом и тревогой стал ощущать как постоянное свойство... И всегда этот таинственный реле-узнаватель, в создании которого не было моей заслуги ни черточки (разрядка — моя. Важная заметка — ключевая к пониманию Солженицына), срабатывал прежде, чем я вспоминал о нем, срабатывал при виде человеческих глаз, при первых звуках голоса — и открывал мне этого человека нараспашку, или только щелочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безошибочно, что вся возня оперуполномоченных со снаряжением стукачей стала

казаться мне козявочной. ...Я не читал нигде об этом, и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом и не даем ему развиться в нас». («Архипелаг Г.»).



Это не психология. Это область пневматологии, духовидения. Без такого дара первохристианского («различение духов»*) не могла бы и быть написана книга «Архипелаг ГУЛаг». Нет, не «наседку» камерную увидел тут Исаевич, а самого Краснoперого Петуха, — «духа злобы поднебесной». Тем сильна книга. Впервые духоведение так густо вошло в русскую художественную прозу. Это и есть Русский Реализм.



Крест — не всякая боль. Крест, это — быть со Христом, не только среди страданий, но и неверностей своих (претерпевая их, проходя, не утопая в них).



Насилие отнимает от человека только неистинную свободу и дает людям лишь неистинную победу.



Иаков, борющийся с Богом в пустыне и не желающий Его отпустить, «доколе не благословит», — образ человека молящегося. Трудно человеку, пока не благословит его Господь.

---

* Дар этот более распространен в наши дни в России, чем на Западе. «Когда умножился грех, стала преизобиловать — благодать» («Рим. VI, 20).

И не отпускает он Господа, доколе не благословит его Господь.



Свобода наша в том, что мы можем прийти, со всей своей неправдой — и со всей своей такой малой правдой — на Иордан к Иоанну и открыть Богу свою наготу, нищету. Мы имеем все этот высокий дар — снимать с себя всякое самооправдание. Тут самая глубокая свобода человека — отказ от всякого своего не в Боге богатства.



Если скрылась от нас, зашла солнечная воля Божья, надо направлять свой путь «по звездам» (по заповедям) и «по месяцу» (совести).



Солженицын томится от сознания молчащей Руси. Он будет писать и Патриарху, печалясь, что молчит он о страданиях веры своего народа... Но вот — вспоминает он — его самого везут и ведут на Лубянку. Он шагает с конвоем по молчащей Москве. И молчит.

«...А я — молчу еще по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И еще я в Охотном ряду молчу.
Не крикну около «Метрополя».
Не взмахну руками на
Голгофской Лубянской площади...».

(«Архипелаг Г.»).

Но пришел час, и он крикнул.



Страдальчески добывается правда. Но радость ее покрывает небо и землю.



Читаешь вторую книгу «Архипелага» одним дыханием: двадцать лет она так писалась, — одним дыханием. Второй том — продолжение, но опять все новое (материалы и комментарии). Снова идет к нам этот избыток сердца, от которого «уста глаголют». Когда сердце широко, как его вычерпать? Глаголют и глаголют уста все по-новому о самом важном: о добре, большем, чем смерть. И о бездне зла. Неисчерпаемая человеческая история. Но взята с нового угла, и разговор ведется о последней ситуации человека в мире.

Торопится писатель снять с себя груз и долг большого, трудного свидетельства. Широка и так жива его защита многократно обездоленных людей: униженного человеческого лица. Отточено оружие Солженицына, и он его держит в правой и в левой руке: левой обличает неправду, правой открывает правду. Извержение свежей, крепкой, точной (иногда и до корявости) языковой русской стихии. Разговор идет напрямик, без околичностей. Давится на ходу зло, как лагерная вошь, и отвратительный треск и запах идет по континентам. Автор схватывает зло большое и в малом.

«Архипелаг» Солженицына — дантово видение и хождение. Но без язычника Виргилия. У христиан есть ангелы, на что им Виргилий? Ангелы покажут лучше, что стоит за человеческим злом. Злые духи — вот подлинные лагерщики человечества! И как они выпячиваются, выпучиваются из темных, искривленных человеческих лиц. Руками «можно потрогать» этих бесов — на «стукачах», «операх»,

«придурках», растленных «малолетках», все более растлевающихся в беспощадном, холодном и смертном актерстве «блатных», жителей особого круга — внутри адского. Это художественно и предвидел Достоевский. Солженицын удостоверяет правду пророчества: свиньи гадаринские сверзлись на Россию, пред тем, как утонуть в «мировой» пучине. Не в стилистическом, а в религиозно-художественном замысле преемственность писателя. Все возвращается он к свидетельству «Записок из Мертвого Дома» и человеколюбному путешествию Чехова на Сахалин. Эти классики родили русскую художественную прозу о каторге и о живом человеке на ней. Солженицын завершает это свидетельство 19 века. Но его свидетельство большее. Оно есть свидетельство России о России и пневматологическое суждение о человеке. Такое же оно христианское, как у Достоевского, но расширено и обострено. «Повзрослело» оно после революции. Федор Михайлович не обидится на меня за такое суждение, он теперь знает, что не увидел того, что увидел Солженицын. Такого в 19 веке не было, были другие масштабы. Но он первооткрыватель художественной темы, возвышенной до высоких пределов человечности.

Вслед за Достоевским, Солженицын сопричисляется к разбойнику, распятому на Голгофе рядом со Спасителем, но не хулившему Господа. Он увидел уже рай видения и утешения, еще когда висел на кресте. «Гулаг» — покаяние просветленного страдания. Вдвойне правый (пространственно, и духовно) пригвожденый, и не к одному, а ко всем деревьям «ГУЛ'ага» русский каторжник, верующий во Христа Распятого — носитель совести народа, говорит за народ, как правый разбойник. Нет злобы в его слове, но покаяние и вера.

Нобелевская литературная премия поможет человеку Запада прочитать и то, что выше литературы и, в главах солженицынских увидеть человека и мировое зло более просто, чем увидел Дант в своей возвышенной «Божественной Комедии». Поэтика Солженицына имеет и пневматоло-

гическое измерение, которое было у Достоевского (но не у Чехова).

Средний читатель наших дней, если и видит зверя в себе, то только биологически или «психологически». У Солженицына он теперь может увидеть нечто более важное для себя: зверя «из бездны», высунувшегося в человеческое общество. Грандиозные глыбы грехов, которыми ворочает Дант в «Божественной Комедии», менее ясно показывают зло и менее убеждают в его существовании, чем та запаршивевшая со всех своих концов обезьяна, с таким реалистическим запахом ада, теперь посаженная в клетку русским писателем. Вот довелось, и именно русскому человеку, посадить зверя человекоподобного за проволоку — на поглядение миру.

Нельзя уже психологизировать около этого феномена. Современники наши все тащут к психиатру своего человека. Позвольте, человек не есть только психология, в нем главное — дух и истина. Религия не есть психологизирование или психоаналитическое исторгание из себя причудливых воспоминаний на кушетке. Это явление Духа и Истины, правды и сути человека.

«Архипелаг» — не только книга о лагерях, ссылках и стройках. Это и повесть о всей невообразимой воле человека — русской и мировой, где мы живем и умираем. И воскресаем. Книга берет под верный микроскоп каплю человеческого океана, но она есть книга не об этой капле, а о всем океане.

Довольно мы нашутились и наигрались с разными «чертиками». Начисто исчезли с горизонта нашего лермонтовский демон и врубелевский; рассыпались (аминь, аминь, рассыпься) ремизовские и блоковские «беззащитные», ни к чему не приспособленные, «благожелательные», ленивые и сексуально-томные черти начала века. По миру пошел настоящий дьявол, взрывающий святыни и разламывающий человечество пополам, стирающий в порошок миллиарды душ. Эту «Бога имитирующую», требующую себе поклонения, зловонную и паршивую обезьяну русский писатель за-

гнал крестным знаменем в художественную клетку. Высунувшаяся в мир сила темная теперь сидит за проволокой своего «ГУЛ'ага»... И, чем более верно рассматривают люди этого пойманного зверя, тем яснее видят и свое человечество, всю драгоценность своего человеческого лика, для спасения которого нужен Христос Господь.

Удивительное было в московской «Правде» недавно выступление. Иерарх Русской мученической Церкви выступил с осуждением Солженицына (травимого и высланного). Отказываюсь верить, что он прочел книгу Солженицына и волей своей сделал выпад в «Правде». Русская многострадальность, где тебе конец?! Все идут раковые метастазы по твоей плоти.

В 3-ей главе IV части «Архипелага» Солженицын так пишет: «Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем она была ужасна, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она выпускала яды и отравляла все тело. Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда-нибудь — Бог весть. Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили (недалекую впрочем и от сегодняшней)? И если мерзость эту не полновесно показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в 30-е, 40-е, 50-е годы литературы у нас не было. Потому без всей правды — не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды — обмолвкой, выставленной фразой, довеском, оттенком — и опять получается ложь. Это не задача нашей книги, но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством Архипелага или составляли единый с ним стиль». (стр. 619).

И говорит Солженицын: «Проблема выходит за Архипелаг: ее объем — все наше общество. Весь образованный наш слой — и техники, и гуманитарии, все эти десятилетия

разве не были такими же звеньями кащеевой цепи... Среди уцелевших и процветших, даже самых честных — укажут ли нам таких ученых или композиторов, или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной?»

«Все, что плохого делается на Архипелаге и на всей земле — не чрез самих ли нас делается?»*

* Стр. 254-5.

СТРАСТОЦВЕТ. О ЛЮБВИ.

Человек есть глубинная любовь, которая судит всякую другую в нем любовь. Здесь начало человека.



Христос есть, прежде всего, Спаситель любви. Любовь, Древо Жизни, раскололась на множество щепочек, лучинок любви, только дымящих, но света не дающих, не согревающих. Как вода в песках, пропала в мире любовь.



Нет ничего прекраснее и ничего нет ужаснее любви. Есть Любовь-Жизнь, и есть любовь-смерть. Между ними нет ничего общего. Люди едят крохи Любви-Жизни, — случайная услуга ближнему, минутная рассеянная молитва, два три добрых чувства, слова... Люди съедают караваи любви-смерти, эгоцентрических увлечений и пристрастий. Оттого «не клеится» жизнь. «Не клеится» жизнь этого мира.



Мы любим чудесную Божию любовь, всякий свет ее. Нам радостно любить самое существо любви. Чем глубже,

чище в нас — или в других — эта любовь, тем радость наша совершенней.



Удивительна в мире эта любовь к любви... В сущности, все стоит на пороге любви. Любит, еще не зная любви.



Признак того, что мы любим кого либо, это, когда мы любим тех, кто его любит, и всех, кого он любит. И любя Бога, мы не можем не любить тех, кто Его любит и тех, кого Он любит (все творение).



Любовь питает и взращивает себя чрез любовь к любимому, любовь любимого и любовь всех к любимому. Любовь томится, доколе не раскроется, не осуществится в троичном единстве.



Ревность, это дыхание смерти, возможна лишь в отношении не-истинно любимого. Как в Боге, в любви, «нет никакой тьмы» (Ин. 1, 5). «Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы». Ревнивые убивают любовь, любимых и себя. Любовь убивает ревность.

☆

Но есть ревность со-ответственная Любви, ревность не о любви другого к себе, а — о самой Любви, ее возвышении, спасении... «До ревности любит дух, живущий в нас» (Иак. IV, 5).



Все, что сотворено, есть вместилище и отражение любви, такой высокой и, в высоте своей такой непонятной людям, что она выглядит нелюбовью для малых чувств человека.



Нет иной цели, и смысла жизни, как *вмещать* и *отражать* эту любовь. «Вмещать» — личная жизнь; «отражать» — общественная.



Все заповеданное человеку, сродни Богу. Любит нас Господь, надеется на нас и верит в нас. Какую сильную надо было иметь *веру в человека*, чтобы сотворить его. И была такая вера. Человек ее не оправдал. Второй раз его творит Господь искуплением, «в Духе», вновь верит, надеется на человека его... А мы все отпадаем, все неверны. А Он все поднимает и прощает. Невероятная *вера. Движимая любовью*. Радуемся ли ей? ужасаемся ли ей?



В Божьей любви (как в белом свете), заключен спектр истинных отношений. Выражения не-эгоистической любви бывают иногда до того различны, что люди усматривают в них противоречие, которого нет. Созерцательная любовь не противоречит деятельной любви.



Если ты знаешь, что один человек любит более всего тебя, а другой — Бога, и если второй бесконечно тебе ближе, это значит, что ты недалек от веры в Бога.



Нам радостно не только любить кого либо, но и любить самое существо любви, ее бытие. Чем чище любовь, тем радостней она и совершенней.



Бога нельзя любить немного.



Нелюбовь твердит: «Господи, Господи, за что Ты меня

наказываешь»? А любовь: «Господи, Господи, за что Ты меня милуешь»!



Так мало в мире людей пристрастных к Богу, так мало раненых на смерть любовью к Богу. И столько пристрастных к себе, раненых, опьяненных собой, или другим человеком. Много пристрастных — против Бога. Одно только пристрастие к Богу — высочайшее беспристрастие.



Господа мало — любить! Надо пристраститься к Нему глубиной своего существа, всей силой своего ничтожества.



«Не может человек, увидеть Лице Мое и остаться жив». И не остается «живым», для себя и для этого мира человек, который взглянул в Лицо Христово и увидел Его.



Мы бы не выдерживали, мы бы умирали от любви к человеку, если бы видели его таким, каким он может быть во Христе.



Мы и умираем, когда видим человека, в духе замысла Божьего о нем. Умираем для своего эгоизма.



«Он сказал им: есть ли у вас какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв ел пред ними и сказал им: вот то, о чем Я вам говорил...» (Лук. XXIV). Кусок печеной рыбы, мед, это все, что ел Господь после Своего воскресения. Пища Его, это то, «что мы любим». Он хочет от нас не укуса, не желчи, но пищи нашей. Ему надо от нас то, что есть наша жизнь.



Истинна в мире только радость сопряженная с опьянением любви к Богу.



Притча о Блудном Сыне утаивает последнюю глубину Божьей любви. На самом деле, Отец не только вышел навстречу Блудному Сыну, увидев его возвращающимся, но еще до этого, под видом Странника, «не имеющего где главу преклонить», ходил на то далекое поле, где скитался Его Блудный Сын, и убеждал, уговаривал его вернуться в Отчий Дом; говорил ему, что у него есть Отец Добрый, не

помнящий зла. Иначе блудному, по его растлению, не пришло бы на ум «придти в себя» и вернуться к Отцу... Сам Отец Духом Своим ходил к нему в далекую страну, к его свиньям, убеждал сына вернуться Домой. И потом — вышел навстречу возвращавшемуся. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И в откровении о Своей любви, Господь утаивает полноту ее.



Христианство, это религия *более, чем сыновства*, — религия блудного, *пропадавшего и найденного, глубоко пережитого, радостного осознанного сыновства*.



В огненном раскаянии, евангельский сын нашел себя и Отца. «Отец, я не достоин больше называться сыном Твоим». И все дары, за этим словом сына последовавшие, и все слова любви Отца, ему сказанные, только еще больше, еще глубже утвердили сознание помилованного, спасенного сына, что он не только сын, но сын *такого Отца*. Невозможно себе представить его ревниво оспаривающим, у своего старшего брата, большую степень близости к Отцу... Какие бы тельцы не закалывались для него, какие бы перстни ему не дарились, — сознание *недостойного любви, но принятого в любовь* сына останется с ним навсегда.



Лишь более чем сыновняя душа может так неэгоистически принять и пережить любовь Отца, как пережил ее, все свое забывший и только все Божье увидевший сын.



И «старший сын» прикоснулся блудности, когда отошел от дома Отца «и не хотел войти» (Лук. XV, 28). «Отец же вышед звал его» (как блудного!). Высшее явление любви: выходить к книжникам и фарисеям и звать их.



Бывает целомудрие «от чрева матери», «естественное», выражающееся в отсутствии интереса к жизни пола. Целомудрие истинное, благодатное, не есть только «воздержание», это и невозможность удержать пришествие высшей жизни.



Сила любви равна силе крестноношения.



Искусство связано с переживаниями, которые могут стать призраками духовной жизни. Принадлежа не к плотской и не к духовной, а душевной области, искусство

может быть проводником различного духа в мире. Сама душа бывает носительницей того или другого духа.



Любовь «плотская», «душевная» легко переходит в чувство противоположное. С любовью духовной этого никогда не бывает.



Различие духа, души и тела ясно видно, когда испытывая душевное или плотское влечение к другому человеку, отталкиваются в то же время от его духа.



Есть девственность лица, и есть девственность взгляда, всегдашняя свежесть обращения ко всякому человеку. Не надо привыкать ни к кому, надо в каждом оставлять тайну.



Стенание в том, что зарождение человека совершается вопреки божественной любви. Следствием изначального повреждения является связанность рождения человека не с блаженными состояниями неба, а с мучительными, для светлого духа, животными процессами... «Се бо в беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50).



Зло своею мишенью особенно старается сделать родовую область человека, желая отравить самый источник человеческой жизни. Родовая область воспалена, отравлена у людей. Люди этого не хотят осознавать, они все время подмалевывают, подкрашивают эту область и в искусстве, и в жизни. Но огонь этого воспаления, горечь этой отравы охватывают человека.



Плотское сближение, для духовной природы человека, бывает больше отдалением, чем сближением. Здесь источник многих человеческих страданий и «разочарований».



В истинном безбрачии нет законных минут, когда можно было бы не любить Господа Иисуса Христа всем разумом, всем сердцем и всею волей. Этим светло истинное безбрачие. Тут и сущность иночества.



Грех против плоти познается верой, или опытом. Блаженнейшей верой, или мучительнейшим опытом.



Удивляются люди царям оставившим власть, богачам презревшим богатство, героям ни во что не ставящим человеческую славу. Но всякий любящий Господа своего является таким богачем, царем и героем, все свое оставляющим на всякой молитве, во всяком желании.



Истреби мои слова, Господи, которые Ты не сделал — и не сделаешь — Своими.



Мы обходим Священное Писание, или слишком приближаем к нему свое лицо; и оттого не видим всей его чудесности и правды. Поменьше самодовольно-оптимистического «изучения»; побольше трепетного, молчаливого созерцания.



Чтобы не осудить человека, Господь судит человеческую любовь. Человек срастворился со своей падшей любовью, и сам стал ею, но Творец не судит человека, как погибшую, обмельчавшую любовь. Он отделяет человека от его падшей любви, но — не от Своей Любви. В этом наше спасение. Бог вменяет, во Христе, нам Свою Любовь. Оттого нет для нас иной любви, кроме Богочеловеческой, есть лишь эта Любовь.



Нарушить молитву, не совершив греха, может лишь любовь.

☆

Одно из совершенств любви: *знать меру*, в обнаружении своей близости к кому либо.



«Господи, Ты все знаешь» (Ин. XXI, 16). Источник особой радости.



Смирение удивительно тем, что *восполняет все слабое*, — и слабую веру, и слабую любовь, и слабую верность любви. Оно заполняет бездну между Богом и человеком.



Уныние — клевета на *время*.



Первое явление Церкви: *вселенское сознание*.

Психология «своей колокольни» губит жизнь в сердцах, в церквах. Люди преграждая пути Церкви, отводят ее вселенские струи в свои маленькие ограды. Церковь есть Столп Огненный в народах.



Совершение евхаристии, исповеди и молитва за людей, может выработать у пастыря отталкивание от средних отношений с людьми. Он хочет быть с людьми только в самых глубоких, последних отношениях. Или поддерживать лишь поверхностные (но не «те средние», «душевные», коими полон мир).



Своим невниманием к любви мы роняем Благодать, как Причастие, на пол души.



Вера — болезнь Господом, уводящая с земли.



Прошлое надо зарывать, как труп, в землю — покаяния и богоблагодарения. Иначе оно будет смердеть. Добро смердит тщеславием, зло соблазном и гибелью. Умерщвлен-

ный покаянием, сгнивший в душе грех, делается удобрением небесных зерен.



Молящийся по молитвослову, иногда видит, что не посторонние мысли развлекли его, но молитва, поднявшись из глубины сердца, уже не дает «чужому» слову проникать в ум. Надо тогда молиться самовозникшей молитвой.



В даре богатства какого либо (материального, душевного, духовного) есть — благословение ответственности. Бедность, это — дар малой ответственности. Болезнь и здоровье, ученость и простота, уединенность и общительность, все богато благословением, высотой, глубиной, широтой и святыней.



Ребенок плачет или улыбается — весь. Как и те люди, которые «стали как дети». Во взрослых плачет или улыбается одна какая нибудь сторона. Есть улыбка зрения, улыбка слуха, обоняния; есть чревная улыбка и родовая; есть улыбка высокой печали и истины в человеке.



Деятели церковных приходов не всегда отдают себе от-

чет, сколько времени, слов, энергий они тратят на финансовую и юридическую сторону церковной жизни, как мало времени и сил у них остается для прямого, церковного дела зажжения в душах истины и любви. Ужаснулись бы мы все, осознав ничтожность света, излучаемого чрез нас.



«Плоть» всюду ищет себе поддержки, и в церковной жизни. За каждую копейку хочет благодарности; за малый труд — грамот, «крестов с украшениями», «крестов на клобук». Но не может и часа побыть в богомыслии... Как много «дел» у этой плоти. Читающий в храме о Вечной Жизни изощряется в вибрациях своего голоса, нет ему дела до Слова Божия! Оно — предлог для выявления его самости. Не удивительно, что раскалываются церкви и Дух Св. Церкви отходит от церквей.



Даже самая простая мысль, высказываемая ангелами, бесконечно остра. Дух захватывает от нее. Это соль. «Имейте в себе соль» (Лук. XIV).



Между любящими и ненавидящими нас разница совсем незначительная: отношение к нам. Если мы не преувеличиваем себя, нам легко не обращать внимания на различное отношение людей. Несомненно, кто любит нас, бледно отражает Божью любовь. Ненавидящий нас бледно отражает Божье Правосудие в отношении нас.

☆

И смиренный, и гордый — лучше того, что они сами о себе думают.



В небе вечная молодость мыслей, свежесть желаний, незаходимый праздник истины.



Глубина человека встревоживается и страдает от доброго даже, но молитве не соответственного волнения. Надо чутко блюсти амвон от земной возбужденности. И шумные многолетствования в храме, в сущности, не подходят к тому строю небесной тишины, которая должна, как цветок, открываться в богослужении.



«Когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр. VIII). «Полчаса небесного безмолвия» — время человеческих дел и слов. Небо открыло свою тайну: оно слушает человека.



Гвозди наших рук, распростертых для принятия Госпо-

да (и в Нем — всего), это любовь, пределов не имеющая. Гвозди наших ног, это вера, связавшая путь ко греху.



Можно видеть мир во Христе-Судье, и можно его видеть во Христе-Спасителе. Видящему все во Христе Спасителе, открываются тайны.



В сущности, людям нужно так чувствовать свою близость друг ко другу и общность друг с другом, что не надо им, ни являлась бы у них потребность ни здороваться ни прощаться. Не прощаемся же мы ни с кем, переходя из одного угла комнаты в другой. И когда из другого угла возвращаемся, не здороваемся же мы опять...



«Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Это мера безмерности. Истинное безмерно.



«Я умираю от невозможности умереть» (Слова Св. Терезы Испанской). Такова любовь.



Жертвующий получает от Бога четыре дара: то, что он дает (плод любви); то, чем он дает (орудие любви); то, когда он дает (время любви) и то, что он дает (действие любви).



«Она с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги» (Лук. VII, 45). Иисусова молитва.



Любовь к Богу идет чрез веру в великое Божие Бытие. И любовь к Богу приходит чрез веру в человеческое, от Бога пришедшее бытие.



Говоря о «совершенной радости», бывающей от исполнения нашего прошения Богом (Ин. XV, II), Спаситель сказал о радости в нас бывающей, не от исполнения нашего желания и не от приобретения какой либо ценности (даже духовной); Спаситель сказал о радости от сознания, что именно Бог нам дал этот дар, Господь исполнил наше желание. Лишь ученики Его могут иметь эту радость.



«...Есть некоторые из вас, которые не умрут, доколе не увидят Царствия Божия пришедшего в силе». Не заме-

чать в мире ничего нарушающего Царство Божие, это — вера. Когда Бытие Христово превозмогает душу, все ее цвета соединяя в белый цвет.



«Некто сказал Ему: Господи, неужели мало спасающихся»? (Лук. XIII, 23). Этот вопрос нельзя задавать в праздном любопытстве, без готовности принять всякий ответ. Истинное наше вопрошание Господа всегда таково, не оно идет прежде всего к Богу, но наша вера, готовность услышать всякий ответ и принять его.



Весь Рай открылся людям во Христе. А бездна в мире только приоткрыта.



Как Авраам, мы закалываем свою жертву, надежду, волю... Господи, отвечай нам, не слушая наших прошений. Мы просим Тебя, молимся и плачем ни для чего иного, как только чтобы обратиться к Тебе и молиться Тебе.



Есть богопосвященность, без которой всякая

правда — неправда, всякая любовь — прелюбодеяние. От прелюбодеяния любовь отличается тем, что есть и Третий, Благословляющий. В прелюбодеянии Третьего нет.



Ручей земной любви заражен. Надо бросать соль, как пророк Елисей, и исцелять воду.



Любить надо человека не в его идеале и не в его слабости, не в его добродетелях, и не в его грехах. Любить надо его не «черненьким» и не «беленьким», и не как «часть человечества», и не абстрактно-философически, и не как что то свое, и не за что нибудь и не потому, что его надо любить.



Любовь истинная только в ее неповторимости, единственности и невидимости. Богоподобно-невидим человек.



Питающий другого любовью, питается ею сам еще более. Ценность Духа, есть непрестанный избыток, бесконечное обогащение.



Если бы можно было всех людей живущих, и когда либо живших на земле (и тех, что будут жить) перевидать и перелюбить... Отходить от одних, только, чтобы перевидать и перелюбить других...



Есть острое мучение неистинной близости. И великая радость неистинной отдаленности.



Любовь — единственное, чего нельзя требовать. Можно плакать, когда ее нет и радоваться, когда она есть. Люди ошибаются, требуя любви.



Любовь ко всем подходит. Это — единственное, что ко всем подходит.



Любовь к какому-либо человеку есть и принятие Божьей любви к нему, укрытие в этой любви.



Блаженно любить любовь. Чем глубже и чище эта любовь к любви, тем радость более совершенна и истина ближе.



Не будем любить своей нелюбви. Не будем любить и своей любви, так как она еще не-Любовь.



«В Доме Отца Моего обители многи суть». Каждый человек — неповторимая комната этого Дома.



Любовь думает, что она не любовь. Злоба знает, что она не любовь. Неистинная любовь этого не знает.



Кто не оживляется Любовью, гибнет от нелюбви, или от своей любви человеческой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
(РЕВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОГО)

Книга является IV томом Собрания избранных трудов Архиепископа Иоанна (Шаховского). Она заключает в первой своей части, фотокопическое переиздание исследования «Толстой и Церковь». Вторая часть ее содержит заново просмотренный материал двух глав книги «Письма о вечном и временном» (Нью Йорк, 1960 г.) и, в новой редакции, отдел эпиграфов книги «Записи о любви к Богу и человеку» (Нью Йорк, 1959 г.), соединенных с отзывом на первые книги «Архипелаг ГУЛаг» А. И. Солженицына («Русская Мысль» Париж, №№ 4 апр. и 8 авг. 1974 г.).

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ:

I. « Les Editeurs Réunis »
11, Rue de la Montagne
Ste-Geneviève
Paris (5), France

II. A. Neimanis
8 München 40
Bauerstrasse 28, Germany

III. Victor Kamkin, Inc.
12224 Parklawn Drive
Rockville, Md. 20852, U.S.A.

IV. Bishop's Residence. Office.
2040 Anza Street
San Francisco, Calif. 94118, U.S.A.

**Цена 6.00 долл.
с пересылкой**